

**МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА
Филологический факультет**

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

**Материалы VIII Международной
научно-практической конференции
по сравнительно-историческому языкознанию**

25–27 сентября 2013 г.

**МОСКВА
МАКС Пресс
2013**

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА
Филологический факультет

Современные методы сравнительно-исторических исследований

Материалы VIII Международной
научно-практической конференции
по сравнительно-историческому языкознанию

25–27 сентября 2013 г.



МОСКВА – 2013

*К 150-летию основания кафедры
общего и сравнительного языкознания*

Печатается по постановлению редакционно-издательского совета
филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова

Рецензент:

д. ф. н. проф. *С. Н. Кузнецов*

Редакционная коллегия:

В. А. Кочергина (главный редактор),
А. М. Белов, И. И. Богатырева, О. А. Волошина, В. К. Казарян

Современные методы сравнительно-исторических исследований: Материалы VIII Международной научной конференции по сравнительно-историческому языкознанию: Москва, филологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 25–27 сентября 2013 г. / Ред. В. А. Кочергина – М.: МАКС Пресс, 2013. – 340 с.
ISBN 978-5-317-04565-4

В сборник включены статьи по истории формирования кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания, а также доклады, представляющие собой материалы VIII Международной научной конференции по сравнительно-историческому языкознанию «Современные методы сравнительно-исторических исследований», проводимой кафедрой общего и сравнительно-исторического языкознания филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова (Москва, 25–27 сентября 2013 г.). Сборник предназначен для компаративистов и специалистов в различных областях языкознания.

УДК 81
ББК 81

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

vii

I РАЗДЕЛ. К 150-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ ОБЩЕГО И СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

<i>В. А. Кочергина.</i> Сравнительно историческое языкознание в Московском университете	1
<i>В. К. Казарян.</i> Основные проблемы современной компаративистики на кафедре общего и сравнительно-исторического языкознания	8
<i>А. А. Волков.</i> Риторика на кафедре общего и сравнительно-исторического языкознания	17
<i>А. Н. Качалкин.</i> Деловая речь. Содержание курса специализации «Теория и практика деловой речи»	29
<i>Ю. Н. Марчук.</i> Общее языкознание и машинный перевод	33

II РАЗДЕЛ. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

<i>А. А. Авагян (Гюмри).</i> Проблема грамматической категории рода и средства ее выражения в армянском языке	41
<i>К. В. Bardakjian (Энн-Арбор).</i> The Origins of the Designation Amira	53
<i>А. М. Белов (Москва).</i> (Пра)индоевропейские тоны в свете данных популяционной генетики	55
<i>И. И. Богатырёва (Москва).</i> О когнитивной метафоре в санскрите	63

<i>Е. А. Брызгунова (Москва)</i> . Внутренние законы языка (на материале русского языка)	67
<i>С. А. Бурлак (Москва)</i> . Возникнуть с нуля: сегодняшние изменения и их роль для общей теории	74
<i>М. Браксаторис (Москва)</i> . Мера синкретизма падежных форм имен существительных в словацком и восточнославянских литературных языках на фоне праславянского состояния	79
<i>А. В. Верецагина (Москва)</i> . К вопросу об использовании вторичной номинации при образовании древнегреческих антропонимов	91
<i>О. А. Волошина (Москва)</i> . "Биологическая теория языка" Августа Шлейхера и ее значение для теории компаративистики	96
<i>Н. А. Ганина (Москва)</i> . Отношение древних германцев к мегалитам по данным языка и культуры	112
<i>Е. А. Глебова (Москва)</i> . Изучение пространственных изоглосс западного континуума индоевропейских диалектов и проблема кельто-италийских древних диалектальных связей	120
<i>М. А. Живлов (Москва)</i> . Прибалтийско-финские заимствования в пермских языках: проблемы интерпретации	130
<i>Н. М. Йова (Москва)</i> . Синтаксические средства выражения категории высокой степени признака в греческом языке (диахронический аспект)	133
<i>Г. А. Казаков (Москва)</i> . Процессы сакрализации и десакрализации в лексике	142
<i>Н. Н. Казанский (Санкт-Петербург)</i> . Верификация праязыковой реконструкции	152
<i>А. Kázmérová (Braxatorisová) (Трнава)</i> . Kontrastive distributionelle und semantische Analyse des Adjektivs <i>neu</i> und seines slowakisches Äquivalentes <i>nový</i>	153
<i>А. Н. Качалкин (Москва)</i> . Методы анализа памятников письменности историками и филологами	161

<i>Н. Kitabayashi (Токио)</i> . Concerning the Historical Framework of Proto-Standard English	168
<i>М. А. Косарик (Москва)</i> . Явление метафонии в Романии (к проблематике инноваций и языкового единства)	179
<i>К. Г. Красухин (Москва)</i> . Отечественные и зарубежные подходы к теории языковых изменений	182
<i>Л. П. Лобанова (Москва)</i> . О языкознании Вильгельма фон Гумбольдта	192
<i>А. В. Логинов (Москва)</i> . Гомеровская лексика возмездия в индоевропейской перспективе.	210
<i>Т.А. Михайлова (Москва)</i> . Теория универсальных семантических переходов как один из методов сравнительно-исторического языкознания	221
<i>А. В. Никулин (Москва)</i> . О новом типе прауральских основ	227
<i>Н. Б. Пименова (Москва)</i> . Реконструкция словообразовательных подсистем (случай дивергенции германских ап- и оп-основ)	238
<i>А. А. Поликарпов (Москва)</i> . Факторы замедления и ускорения знакового метаболизма в языке.	246
<i>О. В. Попова (Москва)</i> . Передача на письме смычных согласных аккадского языка в текстах Алаха VII	254
<i>О. М. Савельева (Москва)</i> . О семантике лексемы ἡσυχία: 'спокойствие/тишина', 'исихия', 'рах amabilis'	256
<i>О. М. Сергеева (Москва)</i> . Проблемные чередования с участием /l/: древнегреческие и общеиндоевропейские данные	260
<i>А. В. Сидельцев (Москва)</i> . Диахроническое развитие прилагательного фокуса (на материале хеттского языка)	268
<i>М. Н. Славятинская (Москва)</i> . Избыточная вариативность как главная характеристика древнегреческого языка	279

<i>А. А. Трофимов (Москва)</i> . Закон Зибса и проблема сочетаемости согласных в начале индоевропейского слова	287
<i>А. И. Фалилеев (Санкт-Петербург)</i> . Pannono-Illyrica	298
<i>К. В. Харитонова (Москва)</i> . Функции наречий времени в санскрите и древнеирландском языке	307
<i>Л. М. Хачатрян (Ереван)</i> . Морфологическая полисемия в древнеармянском языке (опыт диахронического исследования)	310
<i>М. В. Федько (Москва)</i> . Лексико-семантическая группа 'власть' в готском и древнеисландском языках (на примере слов со значением 'правитель')	320
<i>М. В. Шершакова (Москва)</i> . Предикативные категории времени и наклонения в готском языке (на материале Евангелия от Марка)	324

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий сборник приурочен к 150-летию образования кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания и содержит материалы VIII Международной научной конференции на тему «Современные методы сравнительно-исторических исследований», проводимой на филологическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова.

В связи с юбилеем основания кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания в I раздел сборника вошли статьи по отдельным специализациям и направлениям деятельности кафедры: сравнительно-историческому языкознанию (В. А. Кочергина, В. К. Казарян), риторике (А. А. Волков), деловой речи (А. Н. Качалкин) и машинному переводу (Ю. Н. Марчук).

II раздел сборника отражает материалы конференции по сравнительно-историческому языкознанию. В компаративистике особое, важное место занимает изучение и применение научных методов, и поэтому нынешняя конференция посвящена этой теме. Несколько докладов демонстрируют теоретические стороны индоевропеистики. Академик Н. Н. Казанский рассматривает способы и пути верификации результатов реконструкции древнейших текстов. В своем докладе К. Г. Красухин излагает различные подходы зарубежных и отечественных лингвистов к теории языковых изменений и детально исследует оппозицию обратимых / необратимых изменений в языке. Т. А. Михайлова, привлекая теорию семантических переходов, в качестве метода сравнительно-исторического языкознания анализирует применение данной теории в диахронической фонологии и семантике. А. А. Поликарпов обращает внимание на теоретические вопросы глоттохронологии. Теоретическим проблемам морфологии посвящен также доклад С. А. Бурлак. Е. А. Брызгунова разрабатывает интегральный подход и сферы его востребованности при изучении языка.

Значительная часть докладов относится к разным лингвистическим аспектам индоевропейских языков. Работы О. М. Савельевой, А. В. Верещагиной, Н. М. Йовы, А. В. Логинова раскрывают отдельные проблемы в сравнительно-историческом и семантико-лексикологическом аспекте древнегреческого языка. М. Н. Славятинская рассматривает вариативность и ее особенности в изучении древнегреческого языка. Доклады А. В. Сидельцева и О. В. Поповой посвящены разным проблемам хеттского языка. И. И. Богатырева представляет работу «О когнитивной метафоре в санскрите» на материале терминологической системы Аюрведы. К. В. Харитоновна предлагает интересную сопоставительную работу о функциональных особенностях наречий в санскрите и древнеирландском языках.

Традиционной рубрикой нашей конференции являются кельтское, германское, романское и славянское направления. В Двух работах (М. Бракаториса и А. Казмеровой) излагаются морфологические проблемы словацкого языка. Н. А. Ганина, обращаясь к языковым и культурным данным, рассматривает отношение древних германцев к доисторическим сооружениям. Н. Б. Пименова излагает словообразовательную реконструкцию в германских языках. Доклады М. В. Федько и М. В. Шершаковой относятся к семантическому и морфологическому аспектам готского языка. Е. А. Глебова представляя кельтоиталийские изоглоссы, анализирует древние диалектные связи между этими языковыми группами.

Работы А. М. Белова, О. М. Сергеевой, А. А. Трофимова раскрывают разные аспекты индоевропейской акцентологии и фонетики.

Отдельная группа статей посвящена истории разных индоевропейских языков. Работы двух лингвистов из Армении Л. М. Хачатряна и А. А. Авагян затрагивают вопросы истории древнеармянского языка. Профессор Мичиганского университета К. Бардакджян анализирует происхождение слова *amira* в армянском языке. Японский профессор Хикару Китабаяши посвятил свой доклад английскому языку. Статья А. И. Фалилеева относится к топонимическим данным и проблеме паннонского языка и его соотношения к иллирийскому.

В сборник также вошли работы по вопросам истории компаративистики. Л. П. Лобанова обращается к лингвистическому наследию В. Гумбольдта, а О. А. Волошина – «биологической теории языка» А. Шлейхера. К историко-филологическому анализу памятников письменности относится статья А. Н. Качалкина. Г. А. Казаков пишет о сакральной лексике.

Две работы посвящены неиндоевропейским языкам. В докладе М. А. Живлова приводятся прибалтийско-финские заимствования в

пермских языках, а А. В. Никулин обращается к морфологической реконструкции прауральского языка.

В. К. Казарян

I РАЗДЕЛ

**К 150-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ ОБЩЕГО И
СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ**

СРАВНИТЕЛЬНО - ИСТОРИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

В. А. КОЧЕРГИНА

Наша кафедра – одна из старейших в Московском университете. С ее именем связано развитие сравнительно-исторического языкознания в нашей стране. Ни одна область науки о языке не испытала на себе в такой степени воздействия событий общественно-политической жизни России, как сравнительно-историческое языкознание.

Сейчас мы отмечаем столетие кафедры, на которой имеем счастье работать.

Остановлюсь кратко на истории нашей кафедры. В ней можно наметить несколько периодов. Начальный – это период становления гуманитарных наук в созданном в 1755 году Московском университете; далее – период, связанный с именем Ф.Ф.Фортунатова и началом формирования Московской лингвистической школы; далее следует период, охватывающий бурные годы начала XX века вплоть до 40-х – 50-х годов и, наконец, период трудного возрождения.

Современное состояние компаративистики будет освещено в докладе В.К. Казаряна, я же кратко остановлюсь на более ранних годах.

По уставу 1804 года в Университете выделяется словесное отделение, на котором преподаются «классические языки», восточные и новые (французский, немецкий, английский). Далее, согласно Уставу 1835 года, были организованы «кафедра истории и литературы славянских наречий» и «кафедра восточной

словесности». Во главе последней встал профессор А.В. Болдырев. О нем и его трагической судьбе я рассказывала на Ломоносовских чтениях прошлого года. Болдырев преподавал арабский, персидский и древнееврейский языки. Одним из его учеников был Павел Яковлевич Петров, который через двадцать лет после окончания университета в 1851 году был приглашен занять кафедру восточной словесности. В 1863 году по новому Уставу Университета эта кафедра была переименована в кафедру сравнительно-исторической грамматики индоевропейских языков. П.Я. Петров оставался во главе этой кафедры до 1875 г.; года смерти. Теоретических курсов он не читал, но в своей преподавательской деятельности был провозвестником идей сравнительно-исторического языкознания периода первого расцвета.

У Петрова учились многие выдающиеся русские филологи XIX века, среди них Ф.Е. Корш, Вс. Ф. Миллер, Ф.Ф. Фортунатов. С именем Фортунатова связана дальнейшая история кафедры сравнительно-исторической грамматики индоевропейских языков. Филип Федорович Фортунатов поступил на историко-филологический факультет в 1864 г., окончил его в 1868 г. и по рекомендации профессора П.Я.Петрова был оставлен при факультете для подготовки к профессорскому званию. Ф.Ф. Фортунатов сдал магистерский экзамен и с 1871 по 1873 гг. был командирован в Европу. В 1875 году появляется его магистерская диссертация «*Samaveda-Aranyaka-Samhita*» с приложением «Несколько страниц сравнительной грамматики индоевропейских языков». Этот очерк явился первой теоретической работой по сравнительно-историческому языкознанию на русском языке. В 1876 г. Фортунатов вступает в должность заведующего кафедрой. Он впервые начинает читать оригинальные теоретические курсы: сравнительное языковедение (общий курс), сравнительная фонетика и сравнительная морфология индоевропейских языков. В лекциях привлекался материал в основном четырех языков – санскрита, древнегреческого, латинского и старославянского. Впервые Фортунатов вводит преподавание

литовского языка. Так создается система преподавания лингвистических дисциплин, необходимых для подготовки языковеда-компаративиста. Лекции Ф.Ф. Фортунатова были сложны, но его слушатели, будущие известные лингвисты, не пропускали ни одной лекции. В 1884 году возглавляемая Фортунатовым кафедра была переименована в кафедру сравнительно-исторического языковедения и санскритского языка.

Целостная система общетеоретических взглядов Ф.Ф. Фортунатова нашла наиболее полное выражение в его последнем курсе, прочитанном перед отъездом в Петербург (он был избран в Российскую академию наук штатным ординарным академиком по отделению русского языка и словесности). Этот последний теоретический курс дает полное представление об общей лингвистической концепции Ф.Ф. Фортунатова. Позже курс был издан в виде книги под названием «Сравнительное языковедение. Общий курс». Рукопись книги была подготовлена к изданию профессором М.Н. Петерсоном и издана только в 1956 году.

Преемником Ф.Ф. Фортунатова после его отъезда в Петербург стал Виктор Карлович Поржезинский. Он был непосредственным слушателем лекционных курсов Ф.Ф. Фортунатова и участником его семинаров. Став во главе кафедры, профессор В.К. Поржезинский сохраняет всю систему преподавания лингвистических дисциплин, созданную Ф.Ф. Фортунатовым, но особым курсом становится курс «Введение в языковедение», позже к этому курсу были добавлены практические занятия. Как теоретическое введение в науку о языке, курс «Введение в языковедение» делается обязательным не только в университете, но и в педагогических институтах и на Высших женских курсах, где Поржезинский читал этот курс, а его ученик М.Н. Петерсон вел практические занятия. Этот курс затем становится книгой, наиболее популярным учебником тех лет. В.К. Поржезинский ввел изучение готского языка. В 1909 г. по инициативе В.К. Поржезинского создается особое отделение индоевропейского сравнительно-историчес-

кого языкознания, на которое было принято 12 человек. Это отделение давало прекрасную лингвистическую подготовку, но было самым трудным: из 12 человек, поступивших на него, окончивших было двое – Н.С. Трубецкой и М.Н. Петерсон.

Дальнейшая судьба сравнительно-исторического языковедения в Московском университете была непростой.

В предреволюционные и первые революционные годы исследования по сравнительно-историческому языковедению «вызывали мало сочувствия в широких кругах демократически настроенной интеллигенции, ориентировавшихся на общедоступность искусства, прагматизм культуры и утилитарность науки» («Из филологического наследия». Вестник МГУ. Серия 1Х, 1992, №3). В 1913 году согласно новым учебным планам было упразднено отделение сравнительно-исторического языкознания. В 1918 году начинается период реформирования высшей школы. В 1919 г. на основе гуманитарных факультетов Московского университета создается факультет общественных наук (ФОН), а филологический факультет и кафедра сравнительно-исторического языкознания прекращают свое существование.

Еще в начале 1918 года по давней инициативе Ф.Ф. Фортунатова было учреждено Московское лингвистическое общество. Председателем общества стал профессор В.К. Поржезинский. В общество вошли ведущие ученые Московской (Фортунатовской) школы, работающие в различных областях, – русисты, классики, германисты: С.И. Соболевский, А.А. Шахматов, А.М. Пешковский, Д.Н. Ушаков, М.М. Покровский, А.М. Селищев и другие.

Секретарем общества был М.Н. Петерсон. Общество просуществовало до весны 1923 года. Его работа была свидетельством большой общественной значимости деятельности лингвистов Московского университета. Так, в 1919-20 гг. им удалось спасти исторически сложившийся русский национальный алфавит от замены его латинским шрифтом (таков был план Научного Отдела Наркомпроса тех лет).

За годы недолгого существования в Московское лингвистическое общество вступают молодые, талантливые ученые – Д.Е. Михальчи, Р.О. Шор, М.В. Сергиевский, К.А. Ганшина, с

деятельностью которых связана дальнейшая история кафедры сравнительно-исторического языкознания филологического факультета МГУ.

Со второй половины 20-х годов начинается период отечественного языкознания, отмеченный укрепляющимся социологическим направлением и все большим сближением его с «новым учением о языке» Н.Я. Марра. В эти и последующие годы сравнительно-историческое языкознание было объявлено «политически неприемлемым для советского общества» (Современное положение на Лингвистическом фронте». М., 1927). В список буржуазных индоевропеистов попали лингвисты фортунатовской школы Ушаков, Петерсон, а также Богородицкий, Пешковский и другие. Подготовка специалистов по сравнительно-историческому языкознанию фактически прекратилась.

В 1934 г., в год смерти Марра, в Историко-философском институте был открыт литературный факультет и было изменено название института. Он стал называться Институтом философии, истории и литературы (ИФЛИ). Лекции по языкознанию там начали читать М.Н. Петерсон и Р.О. Шор. Они же преподавали классические языки и санскрит. В декабре 1941 года ИФЛИ был слит с Московским университетом и был воссоздан филологический факультет. Однако работа по сравнительно-историческому языкознанию на нем не была восстановлена: руководителем организованной тогда кафедры общего языкознания числился в 45-48 гг. маррист акад. И.И. Мещанинов.

Однако на нашей кафедре подготовка по сравнительно-историческому языкознанию в 40-50-е годы все же продолжалась. Скромно, бескорыстно этим занимался профессор М.Н. Петерсон и близкие ему по взглядам русист П.С. Кузнецов, германист А.И. Смирницкий, романист К.А. Ганшина и очень немногие их ученики. Кроме курса «Введение в языкознание» профессор Петерсон в эти годы готовит и читает курс «Сравнительно-исторической грамматики индоевропейских языков», курсы старославянского, древнегреческого, латинского языков для компаративистов, готовит «Очерк литовского языка», преподает санскрит. Когда в 48-50 гг. гонения на ученых,

не признавших «новое учение о языке», усилились, профессор М.Н. Петерсон оставался почти без работы.

В феврале 1949 г. было принято Инструктивное письмо Минвуза, предписывающее изменение вузовских программ и учебников по языкознанию. 12 апреля 1950 года Постановлением Президиума АН было запрещено всякое сравнительно-историческое и сопоставительное исследование языков.

В мае 1950 г. на страницах газеты «Правда» началась дискуссия по языкознанию. Дискуссия освободила языковедение от догм марровского «нового учения о языке». Языковеды вновь обрели возможность обратиться к сравнительно-историческим исследованиям, но в начале 50-х годов наука о языке не избежала влияния культа личности: теоретическое языкознание на ряд лет было фактически заменено толкованием работы «Относительно марксизма в языкознании».

Положение со сравнительно-историческим языкознанием после дискуссии осложнилось еще и тем, что в итоге господства марристов целое поколение отечественных лингвистов утратило, за небольшим исключением, необходимую подготовку для занятия сравнительно-историческим языкознанием.

Курс сравнительной грамматики индоевропейских языков на нашей кафедре не читался почти двадцать лет. Только с 1971 года, когда во главе кафедры становится профессор Ю.В. Рождественский (сам он, заметим, не компаративист), чтение курса сравнительно-исторической грамматики индоевропейских языков возобновляется. Лектор, профессор О.С. Широков, основное внимание в курсе уделяет вопросам сравнительно-исторической фонетики, он же подготовил учебник по введению в языкознание, изданный уже после смерти автора.

За 70-е годы сравнительно-историческое языкознание интенсивно развивается, на кафедре появляются аспиранты, сравнительно-исторический метод начинает использоваться для изучения неиндоевропейских языков. Важнейшими задачами сравнительно-исторического языкознания становятся дальнейшая разработка его ключевых проблем, включая синтаксис и

семантику; пересмотр и уточнение ряда положений традиционной компаративистики (в частности, вопрос о системе смычных в германском, армянском, греческом и др. языках в связи с появлением «глоттальной теории»). Далее, рассмотрение спорных вопросов в союзе с учеными смежных специальностей (напр., проблема прародины индоевропейцев); использование приемов сравнительно-исторического метода при изучении языков других семей, и многие другие вопросы. Сравнительно-историческое языкознание постепенно становится одним из центральных направлений лингвистических исследований.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ КОМПАРАТИВИСТИКИ НА КАФЕДРЕ ОБЩЕГО И СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

В. К. КАЗАРЯН

Современная компаративистика, как и индоевропеистика, отличается от предыдущих периодов применением типологических методов для проверки результатов реконструкции.

Если сравнительно-историческое языкознание XIX века из-за отсутствия других лингвистических дисциплин обходилось собственными разработками процедур и методов, то в 60-х и 70-х годах XX века картина изменилась. В результате динамического развития общего языкознания, ареального языкознания и типологической лингвистики, в распоряжении индоевропеистов оказываются современные и мощные инструменты для верификации результатов реконструкции праязыковых форм и лексем (Иванов, 1988, 5; Одри, 1988, 183).

Современное индоевропейское языкознание, словами Э.А. Макаева пользуется следующими принципами (Макаев, 1965, 3-4):

- а) внедрение принципов системного анализа в сравнительно-историческом методе;
- б) углубление метода внутренней реконструкции;
- в) внедрение принципов «пространственной лингвистики»;
- г) внедрение принципов типологических исследований.

Выступление Р. Якобсона на VIII конгрессе лингвистов с формулой: «A conflict between the reconstructed state of a language and the general laws which typology discovers makes the reconstruction questionable: Противоречие между реконструированным состоянием какого-либо языка и общими законами, которые устанавливает типология, делает реконструкцию

сомнительной» (Jakobson, 1958, 23) обобщает подход, который признавался многими компаративистами нового поклонения. Этот постулат подтверждается также Дж. Гринбергом: «... no diachronic process can be posited which could lead to a synchronic state which violates a universally valid synchronic norm: ... нет такого диахронического процесса, результатом которого оказалось бы синхронное состояние, не соответствующее универсальным закономерностям» (Greenberg, 1966, XXIII). С другой стороны, данный постулат не всеми компаративистами нового поколения принимается. Немецкий индоевропеист Г. Дункель оспаривая утверждения Якобсона и Гринберга о приоритетности типологических данных по отношению к результатам сравнительно-исторической реконструкции, обращает внимание на то, что если данные реконструкции не подтверждаются данными какого-нибудь естественного языка это не говорит о том что, такой язык вообще не существовал. Во-первых, не все языки мира были равномерно и основательно изучены, и, во-вторых, многие языки исчезли не оставляя каких-либо следов (Dunkel, 1981, 564). В конце своей статьи он резюмирует, что типология и сравнительная реконструкция (Historical reconstruction) должны развиваться независимо друг от друга.

Советские лингвисты Т.В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов, и американский лингвист П. Хоппер независимо друг от друга, с помощью привлечения типологических достижений в области фонетики, выдвигая «Глоттальную теорию», предлагают пересмотреть систему смычных согласных в индоевропейском.

Еще в начале XX века Х. К. Уленбек основываясь на единстве форм именительного и винительного падежей в существительных среднего рода выдвигает предположение о возможной первоначальной эргативной конструкции индоевропейского языка. (Uhlenbeck, 1901) Данное утверждение в дальнейшем развивается и находит подтверждение в типологических изысканиях середины XX.

В современной лингвистике больше уделяется внимание к носителям индоевропейского языка, и с помощью составления

семантического словаря общеиндоевропейского языка, проводятся попытки реконструкции окружающего мира (флора и фауна, ландшафт) индоевропейцев, духовной и материальной культуры, индоевропейского общества.

Одним из актуальных вопросов современного индоевропейского языкознания становится проблема прародины индоевропейцев. Для решения этой сложнейшей проблемы индоевропейстики привлекаются методы и данные современной археологии, палеоантропологии и генетики.

Лингвисты и археологии прибегая к разным методам, выдвигают обновленные гипотезы о первоначальном местонахождении индоевропейской общины во времени и в пространстве. Американский археолог литовского происхождения Мария Гимбутас, связывая индоевропейцев с Курганной (Древнеямной) археологической культурой, указывает на Северное Причерноморье как на предположительную прародину. Английский известный археолог Колин Ренфрю, сравнивая сходство культур Западной Анатолий и Европы эпохи неолита, приходит к выводу, что прародина индоевропейцев была на западе Анатолий и первая волна миграции индоевропейцев была в VIII-VII тысячелетиях до нашей эры.

В современной индоевропейстике присутствует также третья теория локализации индоевропейской прародины. Известные отечественные лингвисты Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Иванов, в 80-х годах выдвигают Армянское нагорье в качестве предположительной прародины. В ряде публикации (Гамкрелидзе, Иванов, 1980, 1981, 1984) в журналах и позже в фундаментальной работе «Индоевропейский язык и индоевропейцы» (1984) выступают с обновленной версией малоазийской прародины индоевропейцев. Реконструируя фонетическую систему и семантический словарь индоевропейского праязыка, они приходят к выводу, что индоевропейцы должны были жить на территории, где могли контактировать с семитами и картвелами. Таким образом, реконструируя язык и культуру индоевропейцев, Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Иванов попытались определить границы прародины на территории Малой Азии.

Основные вопросы современной компаративистики всегда были в центре внимания ученых и преподавателей кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания МГУ имени М. В. Ломоносова.

В семидесятих годах XX века, с приходом О. С. Широкова (1973) и В. А. Кочергиной (1984) на кафедру ОСИЯ, активизируется направление сравнительно-исторического языкознания. Ученики М. Н. Петерсона В. А. Кочергина и О. С. Широков, продолжают традиции фортунатовской школы на кафедре и воспитывают новое поколение компаративистов (К.Г. Красухин; Е.А. Глебова; В.В. Борисенко; В.К. Казарян; И.И. Богатырева; О.А. Волошина, И.А. Герасимов и др.), которые развивают научнопреподавательскую деятельность в традициях кафедры.

О. С. Широков (1927-1997) выпускник классического отделения филологического факультета МГУ, читал лекционный курс «Введение в языкознание» и отдельные спецкурсы по разным проблемам индоевропейского языкознания: «Сравнительно-историческая грамматика индоевропейских языков», «Введение в балканскую филологию» а также курсы по индоевропейским языкам в рамках сравнительно-исторического языкознания: греческому, санскритскому и хеттскому. Профессор О. С. Широков в своих курсах раскрывал основные вопросы современного индоевропейского языкознания, уделял особое внимание сравнительной фонетике, сравнительной грамматике, проблеме прародины индоевропейских языков. В своих курсах и научных трудах, О. С. Широков разрабатывал разные аспекты общеиндоевропейского языкознания: фонетическую систему индоевропейских согласных (Широков, 1975а, 1975б, 1984, 1981, 1988), проблему локализации индоевропейских древних диалектов (Широков, 1969, 1983, 1977, 1980), балканистику и вопросы балканского вторичного языкового родства (Широков, 1964, 1986, 1990, 1991), армяно-греческие (Широков, 1977, 1983) и Балто-албано-славянские этногенетические связи (Широков, 1960, 1963, 1984), историю греческого языка (Широков, 1976, 1982).

В. А. Кочергина после защиты кандидатской диссертации в 1951 г. начала работать на кафедре общего и сравнительно-исторического языкознания и, хотя позже перешла на кафедру немецкого языка филологического факультета и в ИВЯ (ИСАА), не прекращала связи с кафедрой и читала курс по санскриту. В. А. Кочергина в 1984 г. возвращается на родную кафедру. Профессор Кочергина автор учебника «Введение в языкознание» (Кочергина, 1970, 1979) а также учебника санскрита (Кочергина, 1956, 1994), которые многократно переиздавались. В. А. Кочергина также автор первого полнзначного словаря санскрита на русском языке (Кочергина, 1978).

В. А. Кочергиной на кафедре ОСИЯ были прочитаны курсы «Словообразование в европейских языках» и «Введение в компаративистику». В 1997 году с докладом В. А. Кочергиной на ученом совете Филологического факультете образуется специализация «Сравнительно-историческое индоевропейское языкознание». Усилиями В. А. Кочергиной программа новой специализации составляется соответственно с задумками Ф. Ф. Фортунатова. В целях всесторонней подготовки компаративистов в программе вошли как теоретические курсы: «История сравнительно-исторического языкознания», «Сравнительно-историческая фонетика», «Сравнительно- историческая морфология», «Сравнительно-исторический синтаксис», «Сравнительно-историческая лексикология», «Диалектное членение индоевропейской языковой общности и вопрос о локализации индоевропейской прародины», так и отдельные спецкурсы по так называемым опорным языкам: «Санскрит», «Древнегреческий язык», «Латинский язык», «Хеттский язык», «Старославянский язык», «Литовский язык», «Древнеармянский язык», «Авестийский язык», «Древнеперсидский язык».

В 1997 году кафедра общего и сравнительно-исторического языкознания под руководством В. А. Кочергиной организует первую всероссийскую конференцию по сравнительно-историческому языкознанию. Ученные разных университетов и

научных учреждений выступают с докладами по разным проблемам современного индоевропейского языкознания. В дальнейшем рамки этой конференции расширяются, как в тематическом аспекте, так и в языковом:

1. Первая всероссийская конференция по проблемам сравнительно-исторической индоевропеистики (3-6 февраля 1997, Москва)

2. Проблемы сравнительно-исторического языкознания в сопряжении с лингвистическим наследием Ф.Ф. Фортунатова (1998, Москва).

3. Древние языки в системе университетского образования: их исследование и преподавание (Январь 2000, Москва).

4. Сравнительно-историческое исследование языков: современное состояние и перспективы (22-24 января 2003, Москва).

5. V Международная конференция по сравнительно-историческому языкознанию: Лингвистическая компаративистика в культурном и историческом аспекте (31 января -2 февраля 2006, Москва).

6. VI Международная конференция по сравнительно-историческому языкознанию: Языковые контакты в аспекте истории (29-31 января 2008, Москва).

7. VII Международная конференция по сравнительно-историческому языкознанию: Синхронное и диахронное в сравнительно-историческом языкознании (31 января – 2 февраля 2011, Москва).

Нынешним сборником открывается очередная VIII международная конференция на тему «Современные методы сравнительно-исторических исследований», которая пройдет в сентябре 2013 г. на филологическом факультете МГУ.

Литература

Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Древняя передняя Азия и индоевропейская проблема. Временные и ареальные характеристики общеиндоевропейского языка по лингвистическим и культурно-историческим данным // Вестник древней истории. № 3, 1980.

Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Миграция племен-носителей индоевропейских диалектов с первичной территории расселения на Ближнем Востоке в исторические места их обитания в Евразии // Вестник древней истории. № 2 1981.

Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. К проблеме прародины носителей родственных диалектов и методам ее установления // Вестник древней истории. № 2, 1984.

Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси, 1984.

Иванов В.В. Современное индоевропейское сравнительно-историческое языкознание // Новое в зарубежной лингвистике. Выпуск XXI. Новое в современной индоевропеистике. Москва, 1988.

Кочергина В. А. Введение в языкознание: Материалы к курсу для востоковедов. М., 1970

Кочергина В. А. Введение в языкознание. М., 1979 (2-е изд.: 1991; 3-е изд.: 2004).

Кочергина В. А. Санскритско-русский словарь. М., 1978 (2-е изд.: 1987; 3-е изд.: 2005)

Кочергина В. А. Начальный курс санскрита. М., 1956; Кочергина В. А. Учебник санскрита. М., 1994.

Макаев Э.А. Проблемы и методы современного сравнительно-исторического индоевропейского языкознания // Вопросы языкознания, 1965, № 4.

Одри Ж. Типология и реконструкция. // Новое в зарубежной лингвистике. Выпуск XXI. Новое в современной индоевропеистике. Москва, 1988.

Широков О.С. Общеиндоевропейский и армянский консонантизм // 1984

Широков О.С. Диалектные различия индоевропейского консонантизма в диахроническом аспекте // 1975

Широков О.С. Развитие трех серий шумных согласных в диалектах общеиндоевропейского праязыка и проблема индоевропейско-переднеазиатских фонологических контактов // 1975

Широков О.С. Реконструкция праязыковых изоглосс общеиндоевропейского диалектного континуума. 1988

Широков О.С. Современные проблемы сравнительно-исторического языкознания. Москва, 1981.

Широков О.С. Введение в балканскую филологию. 1990

Широков О.С. Вопросы балканского вторичного языкового родства (применение статистики в диахронической фонологии) 1964.

Широков О.С. Албано-балто-славянский и германский (опыт славянской и индоевропейской глоттохронологии). 1963

Широков О.С. Албано-балто-славянское единство (обоснование данными фонетики). 1960

Широков О.С. Балто-албано-славянские глоттогенетические связи по этимологическим данным. 1984

Широков О.С. Армяно-греческие этногенетические контакты по данным сравнительно-исторической фонологии. 1977

Широков О.С. Греко-армянские лексические встречи и проблема малоазиатской прародины. 1983

Широков О.С. Греческий язык. 1982

Широков О.С. Дифференциальные признаки греческих шумных согласных. 1976

Широков О.С. Гипотеза о малоазиатском происхождении греков. 1969.

Широков О.С. Источники наших знаний об изоглоссах общиндоевропейского диалектального континуума. 1977.

Широков О.С. Место армянского языка среди индоевропейских и проблема армянской прародины (Автохтонность армян по данным сравнительно-исторического языкознания). 1980.

Широков О.С. Палеобалканские глоттогенетические связи. 1986.

Широков О.С. Палеобалканские этнические связи по данным фригийской лексики. 1991.

Dunkel G. E. Typology versus reconstruction // *Bono Homini Donum Essays in Historical Linguistics, in Memory of J. Alexander Kerns*. 1981.

Greenberg Joseph и др. Memorandum Concerning Language Universals // *Universals of language*. Cambridge, MA, 1966; русский перевод: Меморандум о языковых универсалиях // *Новое в лингвистике*. Москва, 1970.

Jakobson Roman. Typological studies and their contribution to Historical comparative linguistics // Actes du 8e Congrès International des Linguists. Oslo, 1958; русский перевод: Типологические исследования и их вклад в сравнительно-историческое языкознание // Новое в лингвистике. Выпуск III. Москва, 1963.

Uhlenbeck C. C. Agens und Patiens im Kasussystem der indogermanischen Sprachen // Indogermanische Forschungen. XII, 1901. Русский перевод: Agens и Patiens в падежной системе индоевропейских языков // Эргативная конструкция предложения. Москва, 1950.

РИТОРИКА НА КАФЕДРЕ ОБЩЕГО И СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

А.А. ВОЛКОВ

Родословное древо кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания восходит к кафедре красноречия – оратории и стихотворчества, образованной в составе философского факультета в 1755 году. В течение XIX века происходит последовательное сужение предмета занятий и, соответственно, названия кафедры: кафедра российской словесности и истории русской литературы, кафедра восточной словесности, кафедра восточных языков, кафедра сравнительной грамматики, кафедра сравнительного языковедения и санскрита, отделение сравнительно-исторического языковедения. Эта картина несколько напоминает генеалогическое древо индоевропейских языков, в особенности если учесть, что каждая из ветвей, как кафедра российской словесности, или кафедра восточных языков, разветвляется в целый букет научных подразделений. Это не было ни случайностью, ни чьей-либо прихотью: филологическая наука XIX века бурно и экстенсивно расширялась и энергично ветвилась, образуя все новые разделы. В веке XX мы видим иную, довольно смутную, картину: кафедра общего и сравнительно-исторического языкознания, кафедра языковедения, кафедра общего языкознания, кафедра общего языкознания и сравнительного языкознания, наконец, снова кафедра общего и сравнительно-исторического языкознания. При всех этих процессах дивергенции и конвергенции, однако, остается некое первоначальное состояние, которое и называется риторикой.

Развитие филологии было развитием методов исследования. По мере того как строгое научное исследование языка делало успехи в частных областях, происходило сначала выделение определенных формирующих научно-исследовательскую методологию областей, а затем, по мере того как другие области науки о языке осваивали новые методы исследования: сравнительно-исторический, типологический, структурный, - обнаруживается тенденция к объединению.

Действительно, что такое языкознание и что такое лингвистика? Может ли языкознание быть сведено к лингвистике? Не лингвистический ли редукционизм приводит науки, изучающие словесность, к постмодернизму? И не является ли постструктурализм с его «смертью автора», «смертью текста» и «смертью читателя» разрушением принципов научной абстракции, позволяющей строить научную историю литературы и научную филологическую герменевтику? Но именно такой подход к словесности отражает методологическую позицию лингвиста¹.

Как бы ни описывали коммуникацию, в ней выделяются три компонента: отправитель, высказывание, получатель. Эти компоненты можно как угодно дробить, выделять в них различные составляющие, дополнять их, скажем, средой в том или ином смысле и т.п., но здравый смысл без них обойтись не может. Однако, как говорится, *latent fundamenta*: где исследователь, который наблюдает эту коммуникацию, или, по крайней мере, имеет ее в виду, когда выводит фонетический закон или строит реконструкцию?

Первый фундаментальный вопрос филологического знания: как организовано основание коммуникации посредством языка, каким образом любые члены данного речевого коллектива могут строить новые осмысленные высказывания, понимать друг друга и строить диалог?

¹См.: Ванхузер Кевин Дж. Искусство понимания текста. (1998) – Черкассы: Коллквиум, 2007. С.272- 280.

Ф. де Соссюр был первым, кто внятно сформулировал принципы лингвистического исследования: (1) приоритет позиции исследователя в построении научной теории, (2) абстракции участников коммуникации, (3) абстракции речевой фактуры («субстанции»), (4) абстракция строения высказывания как произведения слова и его места в литературной традиции. Исследователь-лингвист занимает срединную, нейтральную позицию и с этой позиции наблюдает высказывания различных участников языкового общения. Он выделяет фрагменты высказываний, группирует их по определенной модели синтагматико-парадигматических отношений и строит теоретическую модель системы языка в различных планах (синхроническом и диахроническом) и на различных уровнях (фонологическом, морфологическом, лексическом, синтаксическом) генерализации фактов. Здесь-то и возникает вопрос о достаточности лингвистической методологии для описания языка, о правомерности редукции языковедения, то есть науки о языке к лингвистике, но также и вопрос, почему именно риторика оказывается первоначальной формой научной рефлексии языка не только в пределах Московского университета, но и в истории науки о языке в целом?

Такие области языкознания, как стилистика, лингвистическая поэтика, история литературного языка, история языка художественной литературы, словом, «внешняя лингвистика», как и история литературы в собственном смысле, требуют иной позиции исследователя и иного типа научной абстракции.

Второй фундаментальный вопрос науки о языке: как авторский замысел создает завершенное произведение слова, как язык организует культуру общества, то есть исторически сложившуюся систему хранимых обществом и воспроизводимых произведений слова?

Исследователь становится филологом – «квалифицированным читателем», который рассматривает классы произведений слова, понимает, используя выводы, полученные в ходе собственно лингвистического исследования. Такие понятия, как поэзия, проза, стиль, фигура речи, образ, размер, символ, художественный прием, композиция, становятся инструментами научной абстракции, на основе которой осуществляется группировка

материала. В отличие от лингвиста, изучающего через факты речи отношение отправителя и получателя, языковед-филолог занимает позицию получателя речи и изучает отношение автора к произведению слова. Результатом исследования филолога становится язык как исторический продукт творческой деятельности речевого коллектива, как факт культуры. Но достаточны ли эти две последовательные позиции?

Во-первых, в отношении «отправитель – высказывание – получатель» мы имеем незаполненную позицию, а во-вторых, что самое важное, эта позиция представляется как завершающая наукоучение о языке: имеется знание о системе языка и о продукте речевой деятельности общества – использовании и развитии этой системы. Но недостает знания о доминанте развития языка: связи культуры, то есть продукта творчества с целью и процессом творчества. С позиции риторики ставится третий фундаментальный вопрос филологического знания: как следует строить влиятельное для частной аудитории высказывание в условиях, когда известны система языка и литературная традиция?

Именно позиция риторики создает этику филологического знания в целом. Определяющие понятия риторики – этос, пафос и логос. Этос – совокупность требований, предъявляемых обществом автору произведения слова; пафос – авторский замысел произведения, содержащего решение значимой для общества проблемы; логос – совокупность уместных языковых ресурсов, используемых создателем высказывания. Риторика строит модель операций со словом, посредством которых создается целесообразное высказывание (изобретение, расположение, элокуция), но, равным образом, – теорию речевых отношений в обществе, исходя из которой норма построения высказываний различного рода приобретает культурное обоснование.

Таким образом, построение полной системы языкознания как филологической науки предполагает теоретическое представление языка с трех логически возможных позиций исследователя – нейтральной позиции лингвиста-наблюдателя, исследующего отношение «отправитель – получатель» высказывания; позиции филолога-герменевта, исследующего отношение

«автор-произведение» с точки зрения получателя высказывания; позиции ратора, исследующего отношение «произведение-аудитория» с позиции создателя высказывания.

В 70-х – начале 80-х годов на кафедре общего и сравнительно-исторического языкознания складывается школа риторических исследований, созданная Ю.В. Рождественским². Научные взгляды Ю.В. Рождественского сложились под сильным влиянием историко-типологической концепции культуры Н.И. Конрада³ и учения о языке акад. В.В. Виноградова. Задача научной риторики, по Ю.В. Рождественскому, состоит в общественном управлении, в формировании морали, в формировании стиля, в исследовании психологии речетворчества⁴.

Непосредственным предшественником Ю.В. Рождественского был акад. В.В. Виноградов. В ряде ранних работ, в особенности в книге «О языке художественной прозы» (1930)⁵ В.В. Виноградов сделал попытку восстановить предметную область филологии, используя идеи русской науки о языке, высказанные до появления так называемой «натуральной школы». Эту работу отличает сознательно языковедческий подход к теории литературного языка и к теории литературы. «Поэтика стиха и прозы, – по мысли В.В. Виноградова, – находились всегда в тесной связи с традициями риторики»⁶. Действительно, определяющей стилистической категорией литературы оказывается образ писателя, который с отделением собственно «поэзии» как художественного творчества от «прозы» соответственно выделяет из себя «образ автора» и «образ ратора», при этом образ ратора исторически предшествует образу автора. Поэтому выделение категории образа автора через отграничение ее от образа ратора в рамках

² Публикации проф. Ю.В. Рождественского и его учеников, положившие основание риторическим исследованиям в СССР и России, см. в работе: Хазанова О.Э. Школа общей филологии акад. Ю.В. Рождественского (Избранная библиография). – к 80-летию Ю.В. Рождественского. М., Добросвет, 2007. С. 279-297.

³ Конрад Н.И. Запад и Восток. М., «Наука», 1972.

⁴ Рождественский Ю.В. Теория риторики. М.: Добросвет, 1997. С.68.

⁵ Виноградов В. В. О языке художественной прозы. М.-Л., Госиздат, 1930. С.

⁶ Виноградов В.В. Там же. С. 98.

общего представления об образе писателя оказывается первостепенной теоретической задачей. Тип образа писателя, по существу и определяет границу поэзии и прозы⁷.

Риторика и поэтика «рассматривают разные типы литературных структур» и разные «формы бытия» литературного произведения: если поэтика обращается к литературному произведению «отрешенно» от его «убеждающей и внушающей тенденции», то риторика обращена к получателю речи. Риторическая методология связана с анализом образа ротора и «исследует литературное произведение по законам читателя». Кроме того, риторика рассматривает действенное слово «не только в сфере литературы, но и далеко за ее пределами»⁸. Риторика и поэтика частично перекрещиваются в области жанрового состава литературы, но вместе с тем в область компетенции риторики входят внелитературные сферы словесного творчества. В.В. Виноградов ставит задачу риторического анализа в общем теоретическом плане как «определение тех форм слова, принципов построения, на которых основано языковое «внушение», «убеждение» слушателя», как специфические, по его мысли, особенности риторики, чтобы затем «выделить в особые круги исследования социально-языковых форм в быту и риторические формы в литературе»⁹.

Впервые Ю.В. Рождественский публично высказался о риторике и ее значении в истории культуры, в общественной жизни и в науке о языке в 1970 или в 1971 году на семинаре Проблемной группы по семиотике филологического факультета МГУ. В статьях и докладах Ю.В. Рождественского этого времени «О семантических особенностях текстов массовой коммуникации»¹⁰, или «Проблемы влияния и эффективности средств массовой информации»¹¹, «Общественно-языковая практика и теория

⁷Виноградов В. В. Там же. С. 84.

⁸Слова «объект» и «предмет» понимаются здесь как равнозначные.

⁹Виноградов В.В. Там же. С.100.

¹⁰Рождественский Ю.В. О семантических особенностях текстов массовой коммуникации. – Материалы научного семинара «Семиотика средств массовой коммуникации. Часть 1. М, Изд-во МГУ, 1973. С. 290-296.

¹¹Рождественский Ю.В. Проблемы влияния и эффективности средств массовой информации. – Роль языка в средствах массовой информации. М.. ИНИОН, 1986.

языка»¹², в учебном пособии «Введение в общую филологию»¹³ сформулированы основные принципы исследований в области риторики.

Первый период занятий риторикой на кафедре общего и сравнительно-исторического языкознания можно назвать периодом освоения и восстановления традиции исследования. Он напоминает ситуацию в сравнительно-историческом языкознании начала пятидесятых годов после «свободной дискуссии о языке», когда пришлось восстанавливать научную культуру: готовить новое поколение исследователей, переводить научную литературу и писать обобщающие работы. Первые диссертации по риторике были защищены С.В. Неверовым¹⁴, Л.П. Олдыревой¹⁵ (1978) и О.П. Брынской (1979)¹⁶, Н.А. Безменовой¹⁷, В.А. Аннушкиным¹⁸ В.Н. Радченко¹⁹ и др. Так сложилось первое поколение научной школы риторики Ю.В. Рождественского. Одновременно на кафедре Ю.В. Рождественский, А.Н. Качалкин, Ю.Н. Марчук, несколько позже А.А. Волков читали спецкурсы по общей филологии, риторике, семиотике, культуроведению²⁰, формируя комплекс учебных дисциплин, необходимых для подготовки филолога-специалиста по риторике.

¹²Рождественский Ю.В. Общественно-языковая практика и теория языка. – Научная конференция «Ломоносовские чтения». – М.: Изд-во Московского университета, 1975

¹³Рождественский Ю.В. Введение в общую филологию. М.: «Высшая школа», 1979.

¹⁴Неверов С. В. Основы культуры речи современной Японии (теория языкового существования) М., 1975. Докт.дисс.

¹⁵Олдырева Л.П. Именования речи (на материале американских словарей компании Мэриам Уэбстер). М., 1978. Канд. дисс.

¹⁶Брынская О.П. Основные черты американской риторики новейшего времени. М., 1979. Канд. дисс.

¹⁷Безменова Н.А. Краткая история французской риторики. М., 1985. Канд. дисс.

¹⁸Первая русская «Риторика» начала XVII века. М., 1975. Канд. дисс.

¹⁹Радченко В.Н. Американская наука об ораторском искусстве в XX веке. М., 1986. Канд. дисс.

²⁰Рождественский Ю.В., Волков А.А., Марчук Ю.Н. Введение в прикладную филологию. – М., Изд-во Московского университета, 1988.

Второй период занятий риторикой на кафедре общего и сравнительно-исторического языкознания можно обозначить как время философско-теоретического обоснования риторики как области языковедческих филологических исследований. В работах Ю.В. Рождественского «Введение в культуроведение»²¹, «Общая филология»²² и в вышедшем в 2005 году учебном пособии Ю.В. Рождественского и А.В. Блинова «Введение в языкознание»²³ построена и обоснована общая картина филологического знания. Культуроведческая концепция Ю.В. Рождественского строится на основе классического понимания культуры как исторически сложившейся системы идей, произведений, моделей деятельности и индивидуальных кондиций человека, сохраняемых обществом. Культура в собственном смысле противостоит деятельности общества и сопрягается с ней, поскольку упорядоченная деятельность общества возможна лишь на основе культурного наследия. Язык и словесность выступают в качестве основы культуры, но развиваются в ходе речевой деятельности общества образование исторических стилей, характерных для литературы, искусства, науки, политики и т.д. Соответственно, развитие культуры языка, определяемое формированием новых фактур речи (устная, письменная, печатная речь, массовая коммуникация) и соответствующих информационных технологий является, по существу дела, семиотическим инструментарием развития культуры общества и составляющих его культурных группировок. Система словесности в виде рядов (родов, видов, жанров) словесности и правил обращения с текстами организуют речевую деятельность общества. Внутренние правила относятся к созданию и толкованию произведений слова, внешние – к обращению с ними: хранению, передаче, группировке и т.д. Риторика выступает как важнейшая модель организации речевой деятельности, поскольку она организует построение и истолкование в основном прозаической речи.

²¹Рождественский Ю.В. Введение в культуроведение. – М.: ЧеРо, 1996.

²²Рождественский Ю.В. Общая филология. – М.: Фонд «новое тысячелетие», 1996.

²³Рождественский Ю.В., Блинов А.В. «Введение в языкознание». – М.: Издательский центр «Аквадемия», 2005.

При этом, в различных культурно-письменных ареалах²⁴ формируются учения о речи, аналогичные риторике²⁵.

В 1996 году выходит монография А.А. Волкова «Основы русской риторики»²⁶, в которой впервые представлена полная система классической риторики: теория ратора, учение о риторической аргументации, система риторического построения. Систематическое изложение риторики позволило четко выявить и определить основные направления дальнейших конкретных исследований в области риторики.

В 1997 году выходит монография Ю.В. Рождественского «Теория риторики».²⁷ В «Теории риторики»²⁸ обобщаются идеи Ю.В. Рождественского, высказанные в его предшествующих работах, и дается изложение системы риторики, в рамках которой автор представляет предмет и состав категорий риторики. Следует отметить некоторые особенности этой работы, в которых отразился характер научного и философского мышления Ю.В. Рождественского. Подобно системе категорий грамматики, система категорий риторики была разработана еще в античности. Категории риторики тесно связаны с методологией построения высказывания. Они строятся в последовательности движения мысли от замысла к реализации завершенного целесообразного высказывания: «изобретение», «расположение», «элокуция», «действие». С развитием риторики содержание этих категорий изменялось, поскольку изменялась языковая ситуация: развитие общественно-языковой практики определяет содержание эмпирической базы риторики. В «Теории риторики» дается обоснование системы категорий риторики применительно к современному состоянию общественно-языковой практики. Здесь особенно значима логически организованная сеть понятий риторики.

²⁴Волков А.А. Грамматология. – М.: Изд-во Московского университета. 1982. С. 24-33.

²⁵Рождественский Ю.В. Теория риторики. С. 36-39.

²⁶Волков А.А. Основы русской риторики. – М.: Издание филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 1996.

²⁷Рождественский Ю.В. Теория риторики. – М.: Добросвет, 1997.

²⁸Рождественский Ю.В. Теория риторики. Издание 2-е, исправленное. – М.: Добросвет, 1999, – 482с. Здесь и далее «Теория риторики» цитируется по этому второму изданию – А.В.

Такая единая система категорий риторики является научной картиной современной речи в условиях развития массовой коммуникации и связывает факты массовой коммуникации с культурой, что представляется особенно значимым в условиях современного развития стилей. «Теория риторики» является фундаментальным исследованием, в котором предмет риторики определяется как система речевых отношений в обществе. Такое широкое понимание предмета риторики дает систематизированную картину объекта исследований и открывает широкую перспективу дальнейших исследований и преподавания риторики. Широкое понимание предмета риторики допускает различные частные концепции и исследования с позиций риторики объективной, убеждающей, научной, бытовой, художественной и т.д. речи.

Система риторики, разработанная Ю.В. Рождественским, в силу жесткости и связности категорий и фиксации ключевых связей объектов, очевидно, открывает возможность прогнозирования речевых отношений в научном смысле, то есть установления нетривиальных зависимостей составляющих повторяющихся коммуникативных ситуаций – и тем самым конструирования конкретных систем речевых коммуникаций. Классическая риторическая модель, собственно говоря, и предназначена для описания условий и техники создания новой ситуации посредством убеждающего слова. Но эта модель, безусловно, нуждается в серьезном дополнении – в теоретической модели фона новации, которой не располагала классическая риторика и которая предложена в работах Ю.В. Рождественского.

Третий, настоящий, период занятий риторикой на кафедре характеризуется развитием базовой теории риторики, разработанный акад. Ю.В. Рождественским. В 2003-2004 годах формируется специализация «Риторика и общая филология» с системой спецкурсов, семинаров, практических занятий. Разрабатываются учебные пособия и создаются исследования по истории риторики и частным ее разделам и дисциплинам.

В 1999 году выходит монография проф. В.А. Аннушкина «Первая русская риторика»²⁹, а 2002 году – учебное пособие

²⁹ Аннушкин В.А. Первая русская «Риторика» XVII века. – М.: «Добросвет», 1999.

«История русской риторики»³⁰. В 2001 году А.А. Волков издает учебное пособие «Курс русской риторики»³¹. В 2002 году выходит монография Е.Л. Пастернак «Риторика» Б. Лами в истории французской филологии»³², посвященная одному из самых влиятельных филологических сочинений, образующему единый комплекс рационалистической теории языка наряду с «Грамматикой Пор-Рояль» А. Арно и К. Лансло и «Логикой» А. Арно и П. Николя. В 2002 году выходит монография А.К. Соболевой «Топическая юриспруденция»³³, в которой рассматриваются строение и топика риторической аргументации в области права. В 2003 году выходит учебное пособие, но в реальности фундаментальная монография А.П. Романенко «Образ ратора в советской словесной культуре» в которой творчески развивается теория образа ратора³⁴. В 2008 году – учебное пособие по риторической аргументации в судебной речи Ю.В. Шуйской³⁵. В 2009 году – монография А. А. Волкова «Теория риторической аргументации»³⁶. В 2012 году В. В. Смолененкова издает учебное пособие «Основы риторической критики»³⁷, имеющее принципиальное значение для теории риторики: теория анализа и оценки произведений риторической прозы, ориентированная на традицию толкования русской прозаической речи – была своего рода «недостающим звеном» в отечественной литературе по риторике, где предшественником В.В. Смолененковой был только акад. В.В. Виноградов.

³⁰ Аннушкин В.А. История русской риторики. М. «Флинта», 2002.

³¹ Волков А.А. Курс русской риторики. – М.: Издательство храма св. муч. Татианы, 2001.

³² Пастернак Е.Л. «Риторика Лами» в истории французской филологии – М.: «Языки славянской культуры», 2002.

³³ Соболева А.К. Топическая юриспруденция. – М.: «Добросвет», 2002.

³⁴ Романенко А.П. Образ ратора в советской словесной культуре. М.: «Флинта», «Наука», 2003.

³⁵ Шуйская Ю.В. Аргументация в судебной риторике. – М.: Издательство «КДУ», 2008.

³⁶ Волков А.А. Теория риторической аргументации. – М.: Издательство Московского университета, 2009. (Второе издание: «Добросвет», 2012).

³⁷ Смолененкова В.В. Основы риторической критики. – М.: Макс-Пресс, 2012.

Таким образом, риторика, как в аспекте научной значимости темы, так и в плане интенсивности исследовательской работы и преподавания, занимает важное место в деятельности кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания.

ДЕЛОВАЯ РЕЧЬ. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ДЕЛОВОЙ РЕЧИ»

А.Н. КАЧАЛКИН

Деловая речь в ее устной и письменной форме рассматривается в специализации и научно-исследовательской работе авторов как целостная речевая структура, обеспечивающая деловое общение.

Практика той и другой форм общения имеет в русском обществе многовековую историю. Знания специфических черт делового общения дает возможность эффективнее контактировать в официальной, управленческой, коммерческой, производственной деятельности.

В курсе «Теория и практика деловой речи» различаются культура деловой речи как самостоятельная дисциплина и как индивидуальная практика речи, обсуждается влияние стиля времени (жизни) на деловой функциональный стиль и индивидуальный стиль речи.

Специализация предполагает изучение документных систем: деловой письменности, деловых писем, собственно документов. По отношению к документам разработана и используется классификация их по жанрам: указ, приказ, распоряжение, инструкция; отчет; заявление и ходатайство. Документы рассматриваются и в историческом плане, с точки зрения становления документной системы, сложения и функционирования приказной канцелярии, коллегиальной, министерской, советской канцелярий.

Деловое письмо оценивается как эмбриональная или же выродившаяся форма документа. При анализе текстов делового

письма они ставятся в связь с текстами устной речи, породившей письменный текст. Разбираются виды деловых писем, способных к порождению документов: информирующие, предлагающие, уведомляющие, понуждающие, но так же и неопределенные по виду деловые письма.

Детально рассматриваются отличительные черты стиля деловых бумаг: специфические значения общеупотребительных слов, особенная терминология, специфическая лексика и фразеология, привлечение особых конструкций предложений и способы связи между ними; стилистическая специфика отдельных жанров деловой письменности, их традиционные и этикетные средства, идущие от сложившейся практики ситуативные слова и словосочетания: определенные лексико-семантические разряды существительных, формы субъективной оценки; слова, относящиеся к имущественному положению человека, его производственной деятельности и другие подобные; стабильные лексико-грамматические модели.

С опорой на материалы объемной кафедральной коллекции древнерусских, старорусских и современных документов (свыше 7000 единиц) анализируется степень обработанности формуляров, целенаправленный отбор лексико-грамматических средств, соотнесение в текстовом отношении законодательных кодексов, частно-правовых актов, заявлений и частно-управленческой письменности; различия в приемах изложения от обстоятельств, назначения документа, адресата и адресанта (кто он: сам его отправитель, писец-профессионал или случайное лицо); совокупность языковых особенностей, характеризующих с разных сторон индивидуальность составителя делового текста; традиционное и индивидуальное: особые личности исполнителей, вырабатывающих в рамках традиций свой особенный слог; свертывание и контаминация сложившихся формул.

Самостоятельное внимание уделяется рассмотрению традиционного формуляра русского документа в отличие от американского формата: расположение составных частей документа,

строение композиционной схемы документа как схемы приоритетов: время, действующие лица, обстоятельства действия, последствия, проблема, решение. Через формуляр исследователи стараются постигать отражение в документе определенного образа мыслей, своеобразного тезауруса понятий и их иерархии.

Основное внимание, естественно, уделяется текстовым формам документа, но наряду с ними участники семинаров знакомятся с табличными, графическими, анкетными и смешанными формами, предпочтениями тех или иных форм для действительности документа и удобства документооборота.

Развивающаяся в более быстром темпе (чем это предполагалось) глобализация потребовала активного использования международных стандартов в деловом общении, в особенности в письменной его форме. В этих условиях встал вопрос об эквивалентности/без эквивалентности слов в вариантах описания одинаковых или идентичных обстоятельств и ситуаций. В связи с этим рассматриваются причины семантических лакун в понятийном и словарном составе языков, обсуждаются трудности адекватной передачи значения переводимого слова, межъязыковые омонимы, слова, имеющие два или более противоположных по смыслу значений; в практической части – частные случаи добавления коннотаций к деловым терминам и ключевым словам.

Отдельными аспектами специализации являются стиль ведения переговоров (в России пребывающий пока в процессе становления); отражение в языковых процессах принципов рыночной экономики и ориентации на западные модели развития; согласование разных видов деловой прозы для проведения в жизнь управленческих решений и влияния их на культуру управления.

Специализация «Теория и практика деловой речи» знакомит слушателей и с такими разновидностями деловой прозы, как научная, техническая, информативная в их сходстве и различиях. Сообщаются сведения об объеме, темпах роста, разнообразии специальных тем, правилах чтения научной и технической литературы и приемах создания специальных литературных текстов.

Для деловой речи особенно важна задача владения ключевыми словами, надежно и убедительно передающими сущностное

содержание авторского замысла, поэтому ряд тем касается особенности ключевых слов в их отличии от доминант, наиболее регулярных в деловой речи, организующих тематическое содержание текстов различных жанров.

ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ И МАШИННЫЙ ПЕРЕВОД

Ю. Н. МАРЧУК

Что общего между ними?

Рассмотрим две основных составляющих, которые позволят нам ответить на этот вопрос.

1. Языкознание и перевод.

2. Машинный перевод как центральная проблема искусственного интеллекта.

Эти две темы исчерпывающим образом (если только можно исчерпать научную проблему) освещены в трудах Ю.В. Рождественского. Он неоднократно возвращался к теме перевода – как обычного (человеческого), так и машинного. См., например, его работы (Рождественский 1979, 2003; Рождественский и др. 1988).

Языкознание как наука и язык как средство коммуникации тесно связаны с переводом. Рассмотрим простой пример.

Учитель физики объясняет ученику устройство и принцип действия некоторого физического аппарата. Чтобы проверить, правильно ли понял ученик то, то ему говорили, учитель спрашивает ученика : «Повтори». Ученик рассказывает своими словами все то, что он понял из объяснений учителя. Разве это не перевод того, что было сказано учителем , на язык, которым владеет ученик? Можно спорить о том, что это слишком широкое понятие о переводе, но все равно, в ситуации имеет место перевод.

Классификация переводов может строиться на самых разных основаниях, и это еще одно доказательство того, что перевод и языкознание неотделимы. Юрий Владимирович дает точную классификацию переводов, опираясь не на модели переводов, которых великое множество, а на характерные особенности переводов как литературных произведений. Так, художественный

перевод – это такой вид перевода, который официально допускает варианты, перевод документов как раз никаких вариантов допускать не имеет права, устный перевод не хранится в памяти людей и т.п.

В нашем обществе Интернет и другие коммуникационные линии сделали возможным установление связей в реальном времени практически каждого грамотного жителя Земли с любым другим грамотным человеком. Распространение информации, в первую очередь научно-технической, но также и всякой другой – политической, юридической, текущей, социальной и пр. – решающим образом определяет прогресс человечества и каждой нации в цивилизованном обществе. На пути информации есть и будут барьеры – политические, географические, экономические (стоимость коммуникации), таможенные, коммерческие (сохранение коммерческой тайны), военные (сохранение государственных секретов) и другие. Однако самый главный барьер на пути информации – языковой. Народы мира говорят на разных языках. Чем более продвинута данная нация на пути цивилизации и экономического развития, тем большую цену она готова платить за право общаться на своем языке. Такую формулу предлагают современные руководители информационных служб, обозревая состояние рынка информационных услуг и сферу коммуникации.

По Ю.В. Рождественскому, исследование текста включает три ступени: а) анализ конкретных условий его возникновения, содержащий проблемы авторства и аудитории, б) изучение условий вхождения текста в данную культуру, его роль в данной области культуры, отношения данного текста к другим текстам, проявляющиеся в содержании и языковой форме текста, в) общие исторические закономерности понимания и истолкования текстов на фоне развития культуры, прогресса в знаниях и речевом общении, технического прогресса в создании текстов (Рождественский 1979).

Общелингвистические положения теории перевода связаны с общими положениями филологии.

Перевод в этом понимании требует углубленного анализа исторической эпохи, культурных ценностей, соотношения реальных,

герменевтического анализа текста. Так, сделать древний китайский текст понятным современнику чрезвычайно трудно, тем более трудно добиться того, чтобы этот текст оказал на современника такое же воздействие, как и на своего древнего читателя. Переводчик фактически один такую задачу решить не может. Собственно в задачу переводчика входит, по мнению Ю.В. Рождественского, точная передача стиля.

Пример: перевод Рабле на русский язык может стать возможным и понятным только при приблизительно десятом бытовании этого перевода в русской культуре. Перевод в этом смысле есть явление социальное, и если в культуре нет соответствия (оно и создается часто благодаря переводу), то нет и собственно перевода как такового, а требуется истолкование, объяснение, применение других средств воздействия на читателя. Задача перевода состоит в создании текста, построенного на текстовых, а не на языковых эквивалентностях. Поэтому идеальным переводом с точки зрения теории перевода в рамках филологической науки является перевод буквальный, подстрочник, такой перевод, в котором есть минимум приспособления культур и свободного толкования. Перевод будет тем ближе к оригиналу, чем меньше будет различий в картинах мира двух языков, по мнению Ю.В. Рождественского.

Здесь мы и подходим к машинному переводу как центральной проблеме искусственного интеллекта, как ее обозначил Ю.В. Рождественский. Что нужно для хорошего адекватного (как говорят) перевода и для того, чтобы самым точным был бы перевод буквальный:

- (1) найти переводной эквивалент слова в словаре общепотребительной лексики или в специальном;
- (2) установить тип контекста, в котором слово встретилось в тексте (ближайший контекст или сочетаемость слова);
- (3) определить широкий контекст, в котором находится данное слово (словосочетание). Пример: газетная статья на политическую тему или выступление политического лидера с трибуны («террористов будем мочить в сортире»);

- (4) подбор соответствующего выражения в выходном словаре или, в крайнем случае, объяснение, но в таком случае мы отходим от буквального перевода.

Все это может сделать человек-переводчик, и он это делает, создавая перевод любой квалификации из названных Ю.В. Рождественским вариантов. Но чтобы научить компьютер решать подобные задачи – требуется действительно создание искусственного интеллекта. Никто еще не знает, что это такое и как его делать.

Современные системы машинного перевода, которых много в Интернете и которые действуют для разных языковых пар, выполняют довольно важную работу. Даже перевод с ошибками может оказаться полезным там, где нужно знать хотя бы приблизительно, о чем идет речь в документе. Иногда при ограниченном типе текстов число ошибок незначительно и машинный перевод пригоден даже при отсутствии пост-редактора. Активно развиваются системы машинного перевода с многих языков, см., например (Challenges 2012). Современные системы машинного перевода исследованы П.Н. Хроменковым в его книге *Современные системы машинного перевода* (Хроменков 2005).

История машинного перевода – долгая и интересная. Появление мощных вычислительных машин вдохновило ученых-лингвистов на создание разнообразных теорий, в том числе и чисто лингвистических, некоторые из них имели признаки фантастики. Однако практика заставила реализовать пока что единственный эффективный путь к созданию систем: использование переводных соответствий (Марчук 2010). Одна из актуальных проблем, которые стоят на пути более качественного машинного перевода – решение вопроса о типологии текстов, подлежащих переводу.

Альтернативы машинному переводу нет. Или мы будем продолжать платить большие деньги за «человеческий» перевод и ждать, когда он осуществится в течение нескольких дней или месяцев, или мы так или иначе в практическом ключе решим задачу изобретения элементов искусственного интеллекта для повышения качества современного машинного перевода.

Литература

Марчук Ю.Н. Модели перевода. М.: Академия, 2010.

Рождественский Ю.В. Философия языка. Культуроведение и дидактика. Современные проблемы науки о языке. М.: ГрантЪ, 2003.

Рождественский Ю.В., Волков А.А., Марчук Ю.Н. Введение в прикладную филологию. М.: Изд-во МГУ, 1988.

Рождественский Ю.В. Введение в общую филологию. М.: Высшая Школа, 1979.

Хроменков П.Н. Современные системы машинного перевода. М., 2005.

Challenges for Arabic Machine Translation. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 2012.

II РАЗДЕЛ

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ПРОБЛЕМА ГРАММАТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ РОДА И СРЕДСТВА ЕЕ ВЫРАЖЕНИЯ В АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

А. А. АВАГЯН

Язык – это средство выражения мышления, с помощью которого проявляются языковая мыслительная деятельность носящего его народа (нации или племени), особенности, присущие данному языку. Языковой материал позволяет определить общественные и социальные вопросы носящего этот язык народа в конкретный период времени или в целом. В этой связи внимание было уделено исследованию и открытию особенностей средств проявления грамматической категории рода в армянском языке. Данный вопрос сегодня интересует не только лингвистов, но и тех, кто занимается гендерными вопросами (гендерная лингвистика)¹. Правда, языки группируются в языковые семьи на основе имеющихся между ними определенных фонетических, лексических, грамматических и генеалогических общностей, однако, каждый из языков, принадлежащих к одной и той же языковой семье, кроме общих, имеет и проявления, свойственные только ему, которые обусловлены внутренними закономерностями данного языка, менталитетом носящего его народа, социально-историческими и гражданскими обстоятельствами.

Во второй половине 19 века со стороны представителей сравнительно-исторической лингвистики (Г. Хюбшман, из его

¹ Наша задача, однако, не в комментировании вопроса в гендерном свете, а в открытии дальнейшего развития, формирования, трансформации языковых особенностей (грамматических классов) армянского языка, унаследованных из индоевропейской языковой семьи, или достижений и грамматических различий от нового языка-основы.

последователей А. Мейе и другие) окончательно была определена индоевропейская природа армянского языка и решен вопрос о вступлении его в отмеченной языковой семье в качестве самостоятельной ветви.

Армянский, как описывает Г. Ачарян, стоит между арийскими, греческими и славянскими языками и не соотносится с другими европейскими языками². Однако, как и другие индоевропейские языки, армянский также на пути самостоятельного развития значительно отошел от своего начального состояния, приобретая новые закономерности, которые вытекают из языковых требований. Индоевропейский язык-основа имел богатую систему спряжения и склонения, которые существенно отличают их от систем современных индоевропейских языков, имел особые окончания для мужского, женского, среднего родов и единственного, двоякого и множественного чисел, «причем» в языке-основе рода предметов различались в зависимости от их признаков, воспринятых со стороны общественности: так, например, *реки* (боги рек) считались живыми существами мужского пола, а *"мать-земля"*, плодородные деревья – существами женского пола. В дальнейшем, когда человечество меняет свое отношение к предметам, укрепляются его отвлеченные навыки, также меняет свои представления о родах, но значимые показатели родов не исчезли, а перешли в формы, выражающие грамматический смысл»³. Сказанное свидетельствует о том, что грамматика армянского языка и те элементы лексики, которые являются основой для создания новых слов, в основном имеют индоевропейское происхождение, в процессе своего развития подверглись различным воздействиям, однако не изменили свою индоевропейскую природу. Несмотря на все это, старый армянский язык не имел номинальных родов, и говоря о роде существительного в основном имели в виду дифференциацию «одушевленного и неодушевленного»⁴. В современных

² Г. Ачарян. История армянского языка, часть I, Ер. 1940, стр. 31.

³ См. С. Казарян. История армянского литературного языка, т. А, Ер., 1961, стр. 36.

⁴ Там же, стр. 180

языках, принадлежащих индоевропейской языковой семье, сохранились лишь отдельные черты этого языка-основы. Как заметил С. Казарян: «Армянский язык значительно упростил грамматическую систему индоевропейского языка-основы, устранил много грамматических категорий и неопределенностей грамматических форм, *грамматические рода*, двоякое число и так далее⁵. В то время, как во многих современных индоевропейских и семитских языках есть грамматический род, и предметы и явления делятся на мужской, женский и средний рода (русский, немецкий), или мужской и женский рода (французский язык). Вместо такой классификации в армянском языке классификация предметов и явлений осуществляется в соответствии с тем обстоятельством, показывают они лицо или нет. Появление грамматического рода связано с познанием мира, что и нарушает прежнее представление человека об одушевленности и неодушевленности предметов, об отнесении их к мужскому или женскому полу. «С этого момента грамматический род теряет свою логическую основу: человек осознает, что существительные могут иметь естественный род, и это понимание выражается в языке различными способами. Такое знание естественного рода и его выражение в языке само собой противопоставляется существующим до этого подразделениям, в результате чего прежнее подразделения теряют свою логическую основу и трансформируются в чисто грамматическую категорию. Принадлежность существительного к мужскому, женскому или среднему роду больше не означает, что данное существительное в действительности мужчина, женщина или же нейтрально. Эти грамматические рода получают чисто грамматическое формальное значение, так же как и в современном русском, французском, немецком и во многих других языках»⁶.

Фактически, грамматический род в результате развития общественного сознания лишается на своем прежнем уровне основы

⁵ С. Казарян, там же.

⁶ Э. Агаян. Основы языкознания, Ер., 1987, стр. 485-486.

на соответствующих логических категориях, и «вследствие признания действительного рода на более высоком уровне сознания, лишается логической основы и становится лишь грамматическим явлением»⁷. Именно поэтому многие языки, которые прежде имели грамматический род, в дальнейшем утратили его, тогда как для выражения смысла и категории естественного пола создают все новые средства. «Армянский язык, который в древнем периоде имел грамматический род, уже в 5-м веке потерял его, однако для выражения идеи естественного рода имеет и разработал различные средства»⁸, к которым в свое время подробно обратился А. Багратуни, в дальнейшем А. Мурвалян и Г. Джаукян. К этим способам относятся суффикс *-uhi*, такие слова, как *kin* (женщина), *tʰamard* (мужчина), *aru* (самец), *ēg* (самка), *ašakertuhi* (студентка), *kin groç* (женщина-писатель), *aru vagr* (самец тигра), *maur* (мать) *maur arj* (мать-медведь), а также отдельные слова для каждого пола (*tari*: самка голубя, *hav* : курица, *ez* : вол, *hoç*: овен и т.д.).

Армянский язык с момента своего формирования постоянно разрабатывался и совершенствовался. В 5-ом веке образовалось два направления для разработки армянского языка⁹: одно из этих направлений предпочитало умеренно пользоваться греческим и другими языками, а представители второго направления разрабатывали армянский, подражая греческому, тем самым формируя эллинистический армянский язык. То обстоятельство, что в армянском изначально существовала семантическая дифференциация рода, как восприятие реальности и результат логического воспроизводства, неоспоримо. Так: в древнеармянском языке были такие слова, как *dšxo*, *bambiš* (королева), *açaxin*, *spasuhi* (горничная) и в противоположность этим формам — *ark'a*, *t'agavor* (король, царь), *spasavor* (слуга, официант), как названия лиц мужского пола, но это не значит, что прежде армянский имел грамматическую категорию рода, что долгое время хотели внести в него грамматисты послемесроповской эпохи, которые, в большинстве являясь латинистами и представи-

⁷ Э. Агаян. Там же.

⁸ Э. Агаян. Там же.

⁹ См. Г. Ачарян, История армянского языка, часть II, Ер., 1951, стр. 108.

телями эллинистического направления, хотели в соответствии с этими языками разработать и «урегулировать» грамматическую систему армянского языка. Так, армянский переводчик Дионисия Фракийского способом подражания греческому языку различает три рода существительных – **мужской, женский и средний**. Однако приведенные армянскими толкователями грамматики примеры показывают их попытки формально отличить род в армянском языке, чего у них не получилось, т.к. они хотели увидеть эти формальные различия в словах, имеющих разные значения; фактически, желая определить род, они ориентировались на значение слова.

Так, Григорий Магистр, чей труд «Толкование грамматики» является компиляцией армянского перевода грамматики Фракийского с незначительными изменениями и прибавлениями, считает, что среди домашних животных к мужскому роду относятся следующие: *ezn* (вол), *euĵeru* (олень), *nĵug* (конь) и т. д.; к женскому – *tak^{ci}* (овца), *ayc* (коза), *kov* (корова), *erinj* (телка); к среднему – *aloĵ* (самка козы), *bis* (маленький ягненок), жеребенок и другие. Разница между этими словами лишь только смысловая и найти формальное различие невозможно. Обращаясь к такому подходу Гр. Магистра, Г. Джаукян в своем труде «Грамматические и орфографические труды в древней и средневековой Армении» (5–15 вв.) пишет: «Григорий Магистр критикует то место в переводе грамматики Дионисия, где суффиксы **-men**, **-ey**, **-iĉ**, **-gēn**, **-eĉ** и **-ak** считаются показателями мужского рода, отмечая, что, допустим, **-ak** не всегда выступает частицей, выражающей мужской род, этой частицей могут заканчиваться такие слова, которые обозначают животных женского пола: *матак* (кобыла), *йоватак*. В армянском Магистр рода дифференцирует не так, как в греческом – по притяжательным частицам или окончаниям слов, а по полу животных или личностей, которые обозначают слова, т. е. слова различаются в зависимости от их природного пола. С этой точки зрения он выделяет общие (нарицательные) имена, которые обозначают животных или лиц без дифференциации родов, и имена, которые различаются по дифференциации родов, так, например, слово *arĵar* означает крупный рогатый скот вообще, а *ezn* (вол), *kov* (корова) и *mozi*

бычок – мужской, женский и средний. Магистр приводит многочисленные примеры, отмечая, что их в армянском языке больше, чем в греческом; не имея или имея очень мало грамматических назначений, армянский в необходимых случаях создал отдельные слова для обозначения родов»¹⁰. Та же идея у Н. Адонца¹¹, обзор труда которого также был осуществлен Г. Джаукяном.

В сущности, в армянском не было и нет грамматической категории рода, нет и показателей для ее выражения, и для выражения женского рода использовались слова обозначающие лиц женского пола (*kin* (женщина), *ayjik* (девочка), *duxt* и т.д.), и суффикс *-uhi*, который не употребляется со словами, обозначающими предметы или явления. Причем, в армянском переводе грамматики Фракийского отмечены четыре суффикса, выражающих значение женского пола: *-uhi*, *-ni*, *-uy*, *-uyš*, как мы уже отметили, только первый имеет данное значение, остальные его не имеют.

С аспекта флективных частей речи армянского языка наиболее примечательны замечания толкователя Анануна (Безымянный), в которых он отвергает различия во флективности частей речи армянского и греческого языков. Он также отвергает несвойственные армянскому языку понятия *грамматического рода* и двоякого числа¹². Созданная им теория имени дополняется Аракелом Сюнеци, который впервые исправил ошибку, связанную с тем, что, как в причастиях, так и в отглагольных существительных и вообще существительных видели глагольный род¹³. Изучив имя и глагол, в своем труде («Грамматического искусства») он представил их сходства и различия, отметил наличие рода у глаголов, а у существительных – отсутствие признаков воздействия или принятия.

¹⁰ Г. Джаукян, Грамматические и орфографические труды в древней и средневековой Армении»(5 – 15 вв.), Ер., 1954, стр. 219-220.

¹¹ См. Н. Адонц, Дионисий Фракийский и армянские толкователи, Петроград, 1915, стр. 239-243.

¹² Г. Барсемян. Учение о частях речи армянского языка. Ер. 1980, стр. 28.

¹³ См. Г. Джаукян. Указ. раб., стр. 316.

Излагая свои толкования взглядов греческого грамматиста и его предшественников, армянские авторы утверждали или же отвергали правоту этих взглядов, обращаясь к собственным доводам и лингвистическим примерам. За это время, оставаясь верным оригиналу, они или попытались в наш язык внести факты и грамматические категории, которые чужды структуре армянского языка, или, полемизируя, отвергали неприемлемое, уточняли и дополняли неоконченное, опираясь на различия между армянским и греческим языками, дав начало развитию армянской грамматики и ее мысли.

Грамматики 13 - 15 вв. постепенно очищают парадигму имени армянского от грецизмов, уточняя его грамматические признаки

Грамматике, которая была подобна греческой, последовала грамматика, подобная латинской, и в этот период с аспекта исследуемого нами вопроса в истории мысли армянского грамматического учения особенно примечательна роль грамматики Франческо Риволы (17 в.), («*Grammaticae armenae libri quattuor*». 1624 г.). Она создана в период возрождения и в дальнейшем по примеру распространенных грамматик¹⁴ преследует практические цели, имеет в виду читателей, использующих латинский и лишена теоретических важных новостей. Тем не менее, Ривола из грамматических категорий (акциденций) имени исследовал *род*, склонение и число. Как отмечает Г. Джаукян, «сравнив армянский язык с латинским, приходит к выводу, что он не имеет специальных дифференциальных признаков, исключение составляют лишь слова с суффиксом *-uhi*, который предназначен только для лиц женского пола»¹⁵.

Вершиной оригинальных грамматик армянского языка и вообще грамматик грабара является грамматика Арсена Багратуни. В его труде «Грамматика армянского должна развиваться» (1852), который состоит из четырех книг и одного приложения, серьезное внимание уделено вопросу, обсуждаемому в нашей статье. Багратуни, говоря о роде имени, замечает, что в армянском он выражается в трех формах: *расхождением в смысле*

¹⁴ Г. Джаукян. История грамматики грабара, Ер., 1974, стр. 10.

¹⁵ . Г. Джаукян. История грамматики грабара, стр. 14.

слова – если слово обозначает лиц мужского пола, значит оно мужского рода, если же лиц женского пола, то оно женского рода, а все остальные – среднего рода; в случае **тождественности в смысле слова** прибавляется какое-нибудь соответствующее слово, которое обозначает различие пола: *ayr mard* (мужчина человек) – *kin mard* (женщина человек), *aru aṛyus* (лев самец) – *matak aṛyus* (лев самка) и **женский пол** показывают следующие слова и частицы: *urhi* и *uhi* (для собственных и нарицательных имен), *anoyš* (ануш – А.А.) и *duxt* (только для собственных имен)¹⁶. А. Багратуни отмечает, что форма *anoyš* (ануш) образует женский лишь только из собственных имен, так, *Vardan* или *Vard* – *Vardanuhi*, *Varduhi*, *Xosrov* – *Xosrovanoyš* и т. д., он даже приводит примеры препозитивного употребления – *Anoyšvram*, и в приложении объясняет, что они означают дочь или сестра данного имени¹⁷. Форму *anoyš* Багратуни считает исконно армянской в отличие от формы *urhi* (девушка), которая, по его мнению, является арабской формой, об этом в дальнейшем отметил и Г. Джаукян¹⁸.

С заимствованной из персидского языка частицей *duxt* Багратуни приводит следующие примеры: *Xosrovdux*t, *Ormzdux*t, *Sandux*t, *Vardandux*t, к чему в дальнейшем Г. Джаукян добавляет, что «... составная *duxt* (дочь) употребляется только в собственных именах»¹⁹, а суффикс «-*uhi*» употребляется только после имен лиц, будь то имена без суффиксов или же с суффиксами. ... Данный суффикс также находится в середине аффиксальных и флективных частиц, т.е. он находится между суффиксами и окончаниями»²⁰.

Характеризуя армянский в послемесроповскую эпоху, Г. Ачарян, обращаясь к частице женского рода **-*uhi***, выражает свое мнение по поводу того, что «такое употребление частицы **-*uhi***

¹⁶ А. Багратуни, «Грамматика армянского должна развиваться», Вена, 1852, стр. 37-41.

¹⁷ Там же, стр. 41.

¹⁸ Г. Джаукян, История грамматики грабара, стр. 463.

¹⁹ Г. Джаукян, Семасиология и словообразование современного армянского языка, Ер., 1989, стр. 142.

²⁰ Г. Джаукян, там же, стр. 189.

(т. е. создание женского рода из любого слова) – это искусственный прием ученых и не является исконно народным»²¹.

Несмотря на некоторые недочеты, все же идеи, выдвинутые А. Багратуни, впоследствии стали предметом серьезного внимания, на основе которых окончательно уточнились средства и приемы выражения естественного пола, существующих показателей и слов определенных групп, при этом, не имея в армянском языке грамматической категории рода.

Среди лингвистов 20-го века А. Мурвалян, Г. Джаукян и другие основой для своих исследований взяли положения, выдвинутые Багратуни²².

Из всего этого можно сделать заключение о том, что армянский в древнейшие времена, возможно, имел грамматическую категорию рода, которую в процессе своего развития не сохранил, и в письменном литературном языке, переданном из 5-ого века, для различения естественного пола мы уже видим только смысловые лексические проявления, которые присутствуют и сегодня, но отдельных показателей для различения рода не было и нет, каковые есть в таких индоевропейских языках, как немецкий (определенные и неопределенные артикли для мужского, женского и среднего родов *der-ein, die-eine, das-ein*, причем в немецком кроме артиклей есть суффиксы для мужского (*er*), женского (*in*), и среднего (*chen, lein*)), в русском (*он, она, оно*), во французском (для мужского и женского - *le* и *la*), а также в латинском, древнегреческом и т.д., в которых четко дифференцированы понятия мужского и женского пола, благодаря соответствующей аффиксации. Английский также утерял категорию рода, сохранив ее лишь в третьем лице местоимения (мужской – *he* *hɪ*, ‘он’, женский – *she* *ʃi*, ‘она’, а естественный пол выражается так же, как и в армянском языке).

Таким образом, на основании вышеизложенного, можем сказать, что в армянском существует два способа для выражения естественного пола: **словообразовательный** (суффиксы *-uhi*,

²¹Г. Ачарян, История Армянского языка, часть II, Ер., 1951, стр. 108.

²²См. А. Мурвалян. Словарный состав армянского языка, Ер. 1955, стр. 303-304. Г. Джаукян. Семасиология и словообразование современного армянского языка. Ер. 1989, стр. 142, 189, 310.

*dux*t) и лексико-семасиологический (смысловые группы слов, каждая из которых соответствует своему роду и виду).

В армянском есть лишь одно полнозначное лексическое деление по роду: *kin* (женец) и *tyamard* (мужчина). Такое же смысловое различие есть в ряде названий животного мира, как:

tari (самка голубя) – *varužan* (самец голубя)

kov (корова) – *с^сul* (бык, вол)

однако такое различие общераспространенного проявления не имеет и охватывает частичные факты²³.

С точки зрения постановки вопроса особое внимание необходимо уделить исследованию имен (женских), рассмотрению особенностей их образований и значений как на прошедших языковых стадиях, так и в настоящее время.

Мы уже отметили, что армянский не имеет суффиксов-показателей для выражения исконно женского значения, исключение составляет заимствованный из персидского языка суффикс *-uhi*, который употреблялся и сейчас употребляется в значении «девушка, женщина, лицо женского пола», из обычных имен образуя имена женского пола.

До заимствования суффикса *-uhi* в древней Армении для создания женских имен активно использовали слово *dux*t, что означало дочь. Корень данного слова также заимствовано из пехлевийского или персидского, поскольку в этих двух языках имеет одну и ту же форму – *dux*t, эта форма есть и в курдском языке. Как отмечает Г. Ачарян, этот корень в данных языках «подобно армянскому, используется для построения **женских собственных имен**»²⁴.

Если в начальный период в таких именах, как *sahakadux*t, *Ša-ahandux*t, *Ormizdux*t, *Varazdux*t, *Vardandux*t и др. корень сохранял свое основное значение, а именно дочь Саака, Шаана, Вормизда, Вараза, Вардана, то в течение времени в результате омрачения смысла, слово приобрело суффиксальное значение,

²³ см. А. Авагян, Гендер и лингвистика, сборник материалов VI республиканского конгресса студентов и молодых преподавателей, Ер., 2007, стр. 2.

²⁴ Г. Ачарян, Армянский Корневой словарь, т. 1, Ер. 1971, стр. 682

которое, прикрепляясь к мужским именам, создает много женских имен – *Zrvanduxt*, *Mihranduxt*, *Sanduxt*, *Kcupyiduxt* и т.д. Однако, если сравнить эти два показателя, создающих женские имена, можно увидеть следующие различия:

- (1) Корень или суффикс *duxt* в настоящее время нежизнеспособен, это окаменелая форма, которая сохранилась лишь в архаизмах, суффикс *-uhi* жизнеспособен и сегодня.
- (2) *Duxt* присоединяется только к мужским именам, создавая из них женские имена, тогда как суффикс *-uhi* создает лишь женские имена:

а) от имен мужского пола создаются имена для женского пола:

Tigran – *Tigranuhi*,

Armen – *Armenuhi*.

б) от некоторых прилагательных создаются женские имена и названия:

Srbuhi – *surb* (в зн. святая) жещина;

Aznvuihi – *azniv* (в зн. честная) женщина;

в) женские имена создаются из имен наций или племен:

turk^c (турок) – *t^rrk^cuihi* (турчанка),

hay (армянин) – *hayuhi* (армянка)

leh (поляк) – *lehuhi* (полка)

italacⁱ (итальянец) – *italuhi* (итальянка)

г) от нарицательных имен, выражающих занятие, профессию, состояние, межличностные отношения создаются нарицательные имена женского пола:

usanoy (студент) – *usanoyuhi* (студентка)

nkarič^c (художник) – *nkarc^cuihi* (художница)

usucⁱič^c (учитель) – *usuc^cč^cuihi* (учительница)

išxan (князь) – *išxanuhi* (княжна)

xoharar (повар) – *xohararuhi* (повариха)

geyjuk (крестьянин) – *geyjuhi* (крестьянка)

Таким образом, можно прийти к выводу, что армянский язык, в отличие от некоторых индоевропейских языков, не имел конкретного показателя (ей) для выражения естественного пола, за исключением заимствованного из персидского языка суффикса

-uhi, но имел и сохраняет лексическую и семантическую дифференциации, которые, однако, не могут служить основой для искусственного различения грамматической категории рода, что и пытались сделать латинисты и представители эллинистической школы.

Литература

- Агаян, Э. Основы языкознания. Ер., 1987.
- Ачарян, Г. История армянского языка, часть II. Ер., 1940 1951.
- Ачарян, Г. Армянский Корневой словарь, т. 1. Ер. 1971.
- Авагян, А. Гендер и лингвистика, сборник материалов VI республиканского конгресса студентов и молодых преподавателей. Ер., 2007.
- Багратуни, А. Грамматика армянского должна развиваться. Вена, 1852.
- Барсегян, Г. Учение о частях речи армянского языка. Ер. 1980.
- Джаукян, Г. Грамматические и орфографические труды в древней и средневековой Армении (5-15 вв.). Ер., 1954.
- Джаукян, Г. История грамматики габара. Ер., 1974.
- Джаукян, Г. Семасиология и словообразование современного армянского языка. Ер., 1989.
- Казарян, С. История армянского литературного языка, т. А. Ер., 1961.
- Мурвалян, А. Словарный состав армянского языка. Ер. 1955.
- Хачатрян, Л. Введение в языкознание. Ер. 2008.

THE ORIGINS OF THE DESIGNATION 'AMIRA'

K. B. BARDAKJIAN

This paper will in two parts look into the etymology of the designation *amira* (ամիրա) which nearly two hundred enterprising Armenians, in residence in Constantinople, claimed and carried as an honorific title.

In the first part of this paper, the rise and circulation of the designation *amira* will be traced in its Western Armenian context in the Ottoman capital of Constantinople, with a discussion of the place and role of its well-to-do and influential bearers as unofficial partners of Armenian Patriarchs of Constantinople, whose office was formally sanctioned in 1461 by Mehmet II soon after his conquest of the Byzantine capital. The amiras served the sultans and the highest echelons of the Ottoman government as heads of imperial institutions (e.g. the Imperial Mint), or chief officers (such as Imperial Architects) or, more commonly, as bankers to the Ottoman leadership. This brought them personal gain and prestige, but no political role, power or influence whatsoever in the governance of the empire. By contrast, the amiras held unlimited and rather arbitrary sway over the administration of the Armenian community, always in partnership with or collaboration of, the Armenian Patriarchate, the religious institution that led the Armenian *millet*.

In the second part of this paper, the various etymologies suggested for *amira* will be reviewed in the light of the Armenian and Ottoman social-cultural realities in the eighteenth and nineteenth centuries, as referred to above. A large number of historians and observers have almost unanimously concluded that the Armenian form *amira* (ամիրա) derived from the Arabic *amīr* (أمير). With no explanations to *amira* being a feminine Arabic form, some observers have traced it back to the title *Amīr al-Mū'minīn* (أمير المؤمنين) of the period of Arab occupation of Armenia. H. Ačaryan has found that it could

be a loan from Syriac *amīrā* ܐܡܝܪܐ, itself a loan from Arabic *amīr*. This paper will argue that the Armenian *amira* has nothing to do with the suggested Arabic forms and will demonstrate that, although they have been falsely construed as ‘homonyms,’ they are in fact two arbitrarily juxtaposed ‘homonyms’ of two altogether different Arabic words.

(ПРА)ИНДОЕВРОПЕЙКИЕ ТОНЫ В СВЕТЕ ДАННЫХ ПОПУЛЯЦИОННОЙ ГЕНЕТИКИ

А. М. БЕЛОВ

Аннотация. Доклад посвящён проблеме ареального размещения языков, содержащих явления, которые нередко рассматриваются (или могут рассматриваться) как реликты доисторических тонов, в свете новейших данных популяционной генетики. Указывается на сходность ареалов распространения этих языков и расселения народов, имеющих высокий процент носителей гаплогруппы I.

1.

В настоящее время, как и в прежние годы, очень многие исследователи склонялись к мысли о возможном существовании фонологических тонов в индоевропейской предыстории. Помимо представителей Московской акцентологической школы, преимущественно поддерживающей это положение (Дыбо, 1973, 2001; Зализняк, 1985), такому решению в разные годы симпатизировали С. Д. Кацнельсон (Кацнельсон, 1966), Л. Г. Герценберг (Герценберг, 1981), Ф. Кортландт (Kortlandt, 1986), А. Лубоцкий (Лубоцкий, 1991) и другие учёные. Так, Л. Г. Герценберг исходил из той эмпирической данности, что известные нам индоевропейские языки вполне чётко распадаются на два ареала: это языки, сохранившие разнородные рефлексy тонов (к которым можно относить такие явления, как мелодическая корреляция ударения или корреляцию толчка), и языки, в которых такого не наблюдается (им, однако, свойственно последовательное сохранение серии придыхательных).

Однако даже те авторы, которые не придерживаются гипотезы о (пра)индоевропейских тонах, как правило, всё равно не могут

пройти мимо того факта, что часть индоевропейских языков содержит в себе те или иные «тональные явления»¹

Что обыкновенно относят к «тональным явлениям»?

Как правило речь идёт о языках с ударением, которое традиционно классифицируется как музыкальное: среди языков Европы его обыкновенно обнаруживают в древнегреческом², сербо-хорватском (особенно в его чакавских диалектах), литовском и латышском языках; традиция нередко причисляет к этой группе ещё и скандинавские норвежский и шведский диалекты, имеющие фонологическое противопоставление *акцент 1 vs. акцент 2*; известное число авторов (в том числе и Л. Г. Герценберг) были склонны рассматривать в этой связи и датскую корреляцию толчка. Из и.-е. языков, находящихся не на территории Европы, особое внимание исследователей привлекал ведийский, который, по традиционной версии, тоже имел «музыкальное» ударение. Вопрос о нём будет рассмотрен отдельно.

Можно ли как-то обобщить перечисленные явления в более строгих категориях, отказавшись от неопределённого термина *тональные явления*? Мне представляется, что можно. Так, в работах (Белов, 2009, 2011) были сформулированы категории фонологической кратности, а также силлабических и вокалических мор – т.е. различных типов просодической двусоставности: в одном случае (вокалических мор), эта двусоставность реализуется линейно, давая возможность для просодического контраста между «началом» и «концом» слога, тогда как в другом такого контраста не наблюдается. Таким образом, под категорию вокалических мор может быть подведено не только музыкальное ударение, но и ряд случаев этимологических тонов и корреляция толчка. Таким образом мы имеем достаточное основание для объединения (по крайней мере, в теории) языки с толчком и с музыкальным ударением.

¹Здесь специально использован этот нечёткий и обтекаемый термин, позволяющий учесть мнения различных авторов. Нестрогость, впрочем, не следует понимать как беспомощную попытку соединения несоединимого: ниже мы сможем существенно уточнить это понятие.

²Вопрос о «музыкальном» характере латинского ударения рассматривается в (Белов, 2009), где даётся отрицательное решение этого вопроса для классического времени.

При этом вопрос о том, что такое музыкальное ударение, может тоже решаться по-разному. При наиболее строгом подходе (как, например, в работе (Garde, 1968)) мы должны будем сохранить этот термин за древнегреческим и хорватским (в чакавских диалектах), а также японским языками. Наш подход, основанный на наличии/отсутствии вокалических мор, не противоречит этому, оставляя открытым дискуссионный вопрос о том, есть ли вокалические моры в литовском и латышском. Впрочем, ряд соображений позволяет думать, что они там есть (Белов, 2011, 114).

Некоторым особняком в этой схеме оказываются норвежский и шведский. В работе (Клейнер, 2002) убедительно показано, что современные акценты этих языков должны рассматриваться не как «музыкальное ударение» в традиционном смысле, но как результат различной членимости слова, восходя тем самым к явлению фразовой акцентуации³. С другой стороны, сам автор признаёт (Клейнер, 2002, 85), что в случае акцента 2 речь идёт о морфологически неразложимых *двусложных* последовательностях, тогда как исконно фразовые явления уже «спустились» на уровень слова. Кроме того, в этих языках (а также в фарерском и исландском) наблюдается явление так называемого *слогового равновесия*, которому имеются различные трактовки (Клейнер, 2002, 92 слл.). Всё это ещё не делает упомянутые языки имеющими вокалические моры (и музыкальное ударение) в строгом смысле, но заставляет задуматься о причинах такого их явного «тяготения» к принципам фонологической кратности, что, видимо, следует искать в их предыстории.

Таким образом, за расплывчатым выражением *и.-е. языки с тональными явлениями* (в Европе) в действительности лежит иерархия:

древнегреческий + (сербо-)хорватский + датский (*наличие ВМ*) >
 литовский + латышский (*возможное наличие ВМ*) >
 шведский + норвежский (*нет ВМ, но есть близкие к ним явления*)

Все перечисленные выше языки – причём важно отметить: при любой степени строгости отбора – отличаются довольно своеобразным, если не сказать странным, ареальным распределением. Их ареалы находятся в западной части индоевропейского ареала, неожиданно, распадаясь на две зоны: северную,

³Этот вопрос подробно рассматривается в (Белов, 2011, 381-384) в терминах монолитных композитных образований.

расположенную в районе Балтийского моря (куда можно отнести языки балтийские, датский, шведский и норвежский) и южную, расположенную на Балканах, которую представляют древнегреческий и сербо-хорватский (особенно хорватский) языки. Между этими диалектальными зонами располагаются языки, ничего особенно интересного в требуемом отношении нам не предоставляющие.

2.

В поиске объяснения этому факту современная лингвистика имеет возможность привлечь данные популяционной генетики (ДНК-генеологии). Она описывает миграции народов в терминах *гаплогрупп*, обнимающих сходства в строении ДНК (как ядерной — Y-ДНК, так и митохондриальной — X-ДНК) у представителей различных популяций. Поскольку определённые участки ДНК наследуются от отца (Y-ДНК) и матери (X-ДНК) фактически без изменения, но при этом они способны очень редко (но вполне регулярно) подвергаться незначительным мутациям, это даёт возможность не только описывать синхронное распределение родов по ареалу, но и рассчитывать пути их прежних миграций⁴.

Особенно полезным привлечение данных генетики может оказаться для исследования субстратных влияний: это хорошо возможно в том случае, когда надёжно установлена корреляция конкретной гаплогруппы с определёнными этническими (или языковыми) популяциями. Так, исконные носители индоевропейского языка соотносятся гаплогруппой R1a1 («арийцы»), более всего распространённой у западных и восточных славян; гаплогруппа R1b1 (большинство современных западных европейцев) связывается с исконно кельтскими (и/или иберийскими) племенами. Соответственно, если мы знаем теперь, что большинство французов — R1b1, мы понимаем, что на территории Галлии произошла смена языка народом, но не вытеснение одного народа другим.

⁴Подробнее о методах и результатах см. (Клёсов, 2012). Сведения о распределении интересующих нас гаплогрупп среди европейского населения взяты из работ (Bataglia, et al. 2008; Perićić, et al. 2005; Rootsi, et al. 2004).

Если теперь мы нанесём на ДНК-карту Европы [Рис. 1] (современные) ареалы языков с «тональными явлениями», то будет обнаружено почти полное их совпадение с ареалами максимума для гаплогрупп I1 и I2.

Это тем более поразительно, что «диффузность» ареалов I1 и I2 внутри ареала I (объясняемая через т.н. феномен «бутылочного горлышка») очень точно отражает нетривиальное противопоставление балто-скандинавских языков и языков Балкан.

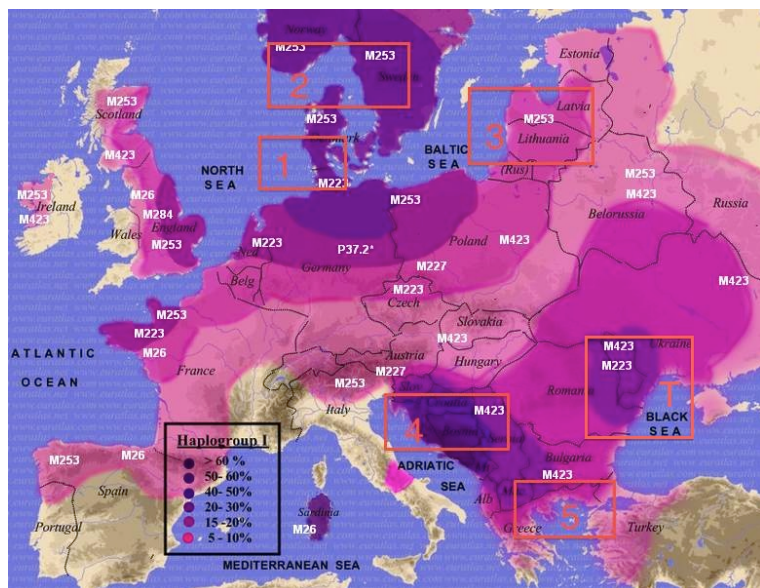


Рис. 1. Наложение ареалов тональных явлений на ареалы гаплогруппы I.

Карта гаплогруппы I происходит из свободных источников (ru.wikipedia.org.)

Цифрами на карту дополнительно нанесены следующие зоны: 1 — Корреляция ютландского «толчка» (Кузьменко, 1986). 2 — Тональная реализация (исконно) фразовых акцентов в норвежском и шведском (Клейнер, 2002). 3 — Тональные характеристики в

ударении и акцентах литовского и латышского языков (Трубецкой, 2000). 4 — Тональные явления в славянских языках балкан, особенно чакавских диалектов хорватского языка (Нахтигал, 1963). 5 — Тональные явления древнегреческого языка (Белов, 2011). Т — ареал Трипольской культуры (см. ниже).

Носители гаплогруппы I происходят из доиндоевропейского населения Европы.

К археологическим культурам, связанным с группами пред-I1 и I1, относят культуры Эртебёлле, Конгемозе, воронковидных кубков, ямочной керамики; позднее с приходом индоевропейцев они вошли в состав прагерманского этноса. Гаплогруппу I2 связывают с последовательностью культур балканского неолита, иллиро-фракийскими племенами, культурами импрессо, колоколовидных кубков, линейно-ленточной керамики, Трипольской. Общий возраст материнской для обеих гаплогруппы I — ок. 25 000 лет; I2 — 15 000 лет.

Больше всего гаплогруппа I встречается у следующих народов: сербы (Босния) 40.7% (Bataglia, et al. 2008), до 70% по другим данным; сардинцы 42.3% (Rootsi, et al. 2004); боснийцы 42.0% (Peričić, et al. 2005), более 60% по другим данным; норвежцы (I1) 40.3% (Rootsi, et al. 2004); шведы (I1) 40.0% (Rootsi, et al. 2004); датчане (I1) 38.7% (Rootsi, et al. 2004); словенцы 38.2% (Rootsi, et al. 2004); 30.7% (Bataglia, et al. 2008); Хорваты 37% (Peričić, et al. 2005); 38.1% (Rootsi, et al. 2004); сербы (Сербия) 36.3% (Peričić, et al. 2005); до 48% по другим данным; македонцы (этно.) 34.2% (Peričić, et al. 2005); албанцы 23.6% (Rootsi, et al. 2004); русские (казаки) 22.7% (Rootsi, et al. 2004); украинцы 21.9% (Rootsi, et al. 2004), до 25% по другим данным; русские 20% (среднее по разным работам).

Итак, представляется вполне логичным и естественным связать сохранность «тональных явлений» в перечисленных индоевропейских языках с влиянием со стороны субстрата – носителей гаплогруппы I.

Я вижу здесь три потенциальных возможности, не обязательно исключаящих одна другую.

1. И.-е. праязык исконно имел тоны; неизвестные факторы субстрата способствовали сохранению их реликтов.

2. И.-е. праязык не имел тонов, тогда как они происходили из субстратного влияния.

3. Тоны были и в и.-е. языке и в языках (диалектах) субстрата.

Дальнейшие исследования в этом направлении позволили бы пролить свет на эту интересную проблему.

Отдельные оговорки следует сделать в адрес ведийского санскрита, не попавшего (как не европейский) в описанную схему, но, по традиционным представлением, тоже богатого «тональными явлениями»

Во-первых, с фонологической точки зрения ударение в ведийском, строго говоря, не было музыкальным (Зализняк, 1978; Kiparsky, 1973): носителем акцента был слог, а мора, тогда как вокалические моры можно было бы увидеть только в особых случаях типа *plutī*. Во-вторых, если мы всё равно захотим его рассматривать как язык с тональными рефлексам (что, вообще говоря, правильно), то мы также можем сослаться и на неизвестные нам свойства дравидского субстрата. В-третьих, ареал Трипольской культуры (разрушенной как раз индоевропейцами) вполне попадает на территорию, «подконтрольную» (по крайней мере, впоследствии) индоиранским племенам. В-четвёртых, в случае исконного существования тонов в и.-е. языке, сохранность их рефлексов в ведийском могла бы объясняться и иными факторами — например, компактностью переселения, кастовой консервативностью и т.п.

Список литературы

- Белов, А. М. (2009). *Латинское ударение (проблемы реконструкции)*. М.: Academia.
- Белов, А. М. (2011). *Древнегреческая и латинская просодика (мора, ударение, ритмика)*. Дисс... доктора филологических наук. Москва.
- Герценберг, Л. Г. (1981). *Вопросы реконструкции индоевропейской просодики*. Л.: Наука.
- Дыбо, В. А. (1973). Балто-славянская акцентная система с типологической точки зрения и проблема реконструкции индоевропейского акцента. In *Кузнецовские чтения*. М.

- Дыбо, В. А. (2001). *Морфонологизованные парадигматические акцентные системы. Типология и генезис. Том I.* М.: Языки русской культуры.
- Зализняк, А. А. (1978). Грамматический очерк санскрита. In *Кочергина В. А. Санскритско-русский словарь.* М.
- Зализняк, А. А. (1985). *От праславянской акцентуации к русской.* М.
- Кацнельсон, С. Д. (1966). *Сравнительная акцентология германских языков.* М.–Л.
- Клейнер, Ю. А. (2002). *Проблемы просодики.* СПб: Изд-во Санкт-Петербургского университета.
- Клёсов, А. А. (2012). Биологическая химия как основа ДНК-генеалогии и зарождение «молекулярной истории». *Биохимия*, 76(5), 636–653.
- Кузьменко, Ю. К. (1986). Западно-ютский толчок. In *Лингвистические исследования 1986.* М.
- Лубоцкий, А. (1991). Ведийская именная акцентуация и проблема индоевропейских тонов. *Вопросы языкознания*, 1, 20–48.
- Нахтигал, Р. (1963). *Славянские языки.* М.
- Трубецкой, Н. С. (2000). *Основы фонологии.* М.
- Bataglia, V. et al. (2008). Y-chromosomal evidence of the cultural diffusion of agriculture in southeast Europe. *European Journal of Human Genetics* advance online publication 24 December 2008; doi: 10.1038/ejhg.2008.249.
- Garde, P. (1968). *L'accent.* Paris.
- Kiparsky, P. (1973). The inflectional accent in Indo-European. *Language*, 49, 794–849.
- Kortlandt, F. H. (1986). Proto-indo-european tones? *Journal of Indo-European Studies*, 5, 141–142.
- Perićić, M. et al. (2005). High-resolution phylogenetic analysis of southeastern Europe traces major episodes of paternal gene flow among Slavic populations. *Molecular Biology and Evolution*, 22 (10), 1964–75.
- Rootsi, S. et al. (2004). Phylogeography of Y-chromosome haplogroup I reveals distinct domains of prehistoric gene flow in Europe. *American journal of human genetics*, 75, 128–137.

О КОГНИТИВНОЙ МЕТАФОРЕ В САНСКРИТЕ

И. И. БОГАТЫРЁВА

Метафора как языковой феномен традиционно, начиная с «Поэтики» Аристотеля, привлекала внимание самых разных исследователей. В последние десятилетия в рамках когнитивной науки сформировалось особое понимание данного явления – как сложного и многослойного познавательного процесса. Метафора рассматривается не просто как языковое средство, а как неотъемлемое свойство человеческого сознания и мышления, как часть «культурной парадигмы носителей языка» (Дж. Лакофф), проявляющаяся в самых разных сферах человеческой деятельности. Метафоры исследуются в различных аспектах – собственно лингвистическом, психологическом, концептуальном, коммуникативном и др. Процесс метафоризации, в основе которого часто лежит понятие аналогии, трактуется как понимание и структурирование одних явлений и/или концептов в терминах других, и он является универсальным средством познания неязыковой действительности.

Языковые метафоры, структурирующие наше восприятие и мышление, бывают по меньшей мере двух видов: есть такие, которые в том или ином языке являются воплощением культурно-исторических предпочтений данного языкового сообщества (а значит, и отражают определенную языковую картину мира), а есть и другие – они отражают не специфические, а универсальные физиологические и психологические свойства человека. И те, и другие довольно широко представлены в санскрите.

В данной работе речь пойдет о концептуальной, или когнитивной метафоре как форме древнеиндийской научной мысли на материале терминологической системы аюрведы. В основе

всех древневосточных медицинских концепций (не только древнеиндийской, но и китайской и тибетской) лежало представление о том, что организм человека выглядит аналогично устройству Вселенной. И, подобно макрокосмосу, микрокосмос состоит из пяти первоэлементов – правда, состав этих первоэлементов в разных традициях не совпадает.

Существуют разные точки зрения по вопросу о том, что в соотношении мира и человека является моделирующим, а что моделируемым (т.е., человек – модель Космоса или последний – модель человека), первичен ли антропоморфный код, с помощью которого описывается Вселенная, или космологический код, которым можно описать тело человека. Большинство современных исследователей приходит к заключению, что роль источника должна быть отдана человеку и его телу. Именно по этой модели мифопоэтическое сознание первоначально строило описание Вселенной. Таким образом, представления о внешнем мире и вообще о Вселенной оказываются мотивированными физиологическим аспектом человеческой жизни, а именно – телом человека как своего рода «малым миром». По всей видимости, на самом архаичном этапе тело человека выступало как универсальная модель Вселенной, что не исключает возможности того, что с течением времени именно космологический код был взят за основу описания организма человека.

Тело человека в рамках этих концепций мыслится как динамическая целостная структура, чья нормальная жизнедеятельность обусловлена набором (в разных традициях – своим) функциональных систем, которые связаны с теми или иными органами (эти соответствия также не универсальны), но зачастую не локализованы только в них. Специфически индийские «компоненты» человеческого организма – «ветер» (*vāta* или *vāyu*), «огонь» (*pitta*), «слизь» (*kapha* или *çleṣman*). У каждого компонента (они называются *doṣa*) есть по 5 разновидностей. Эти аюрведические составляющие тела человека и есть почти идеальный пример концептуальной метафоры.

Vāta «ветер» – это прежде всего принцип движения, активности. Он напрямую связан с функционированием нервной системы – с импульсами, которые поступают во все сосуды, нервные

окончания, мышцы и т.п., за счет чего и осуществляется разного рода двигательная активность. Так, благодаря различным видам «ветра» мы можем дышать и глотать, чихать и отхаркивать (за это отвечает *grāṇa-vāta*, главный из «ветров», контролирующий работу всех остальных), думать, помнить и говорить (это делает *udāna-vāta*). *Samāna-vāta* контролирует работу пищеварительного тракта и его перистальтику. *Arāṇa-vāta*, находясь в тазовой части и прямой кишке, удаляет из тела отработанные продукты, тем самым очищая его, и отвечает за сексуальную функцию организма. *Vyāna-vāta* (не зря он называется так: префикс *vi-* указывает на движение из центра в разные стороны) распространяется по всему телу, поскольку он в первую очередь связан с кровообращением. Он несет по телу кровь и жизненные «соки», питая при этом все жизненно важные системы организма.

Pitta, или телесный «огонь», прежде всего отвечает за метаболизм («сжигает»), теплообмен («согревает»), пищеварение («готовит» пищу) и остроту зрения. Одна из разновидностей «огня» – *gañjaka-pitta* – управляет процессами кроветворения, отвечает за сбалансированность химического состава крови и распределение питательных веществ в кровеносных сосудах. Если «огненная» разновидность, локализованная в глазах (*ālōcaka-pitta*), пребывает в плохом состоянии, то глаза наливаются кровью, краснеют; к покраснению и воспалению кожных покровов приводит дисбаланс другого вида «огня», именуемого *bhrājaka-pitta*.

Karṇa «слизь» отвечает за разные виды «смазки» в нашем теле, за влажность, вкус и запах. Разные виды «слизи» есть практически везде: *kledaka-karṇa* находится в желудке и кишечнике, увлажняя поступающую туда пищу; *avalambaka-karṇa*, располагаясь в грудной клетке и легких, прежде всего поддерживает работу сердца (о чем буквально и «говорит» её название) и дыхательного аппарата; *bhōdaka-karṇa*, локализованная в ротовой полости (главным образом, на языке), отвечает за вкусовые ощущения; *tarpaka-karṇa* находится в голове и контролирует жидкости в пазухах носа, глаз, рта, ушей, а также спинномозговую жидкость; *śleṣaka-karṇa* «смазывает» все суставы и сочленения тела.

Названия ряда разновидностей вышеописанных трех *doşa* также либо метафоричны, либо имеют очень прозрачную внутреннюю форму. Они как будто иллюстрируют известное высказывание А. А. Потебни о том, что такого рода слова представляют собой определенную форму мысли, как бы застекленную рамку, определяющую круг наблюдений и своеобразно окрашивающую наблюдаемое.

ВНУТРЕННИЕ ЗАКОНЫ ЯЗЫКА (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО ЯЗЫКА)

Е.А. БРЫЗГУНОВА

1. Теоретической основой доклада являются работы А. Мейе, Э. Сепира, В.В. Виноградова, М.В. Панова, Б.А. Серебренникова, А.И. Смирницкого, М.Я. Гловинской, Е.В. Клобукова, С. Пинкера («Язык как инстинкт») и др. В докладе представлены в качестве основных три принципа.

- Фонологический метод, модифицированный в связи со спецификой анализируемого материала: морфологического и синтаксического аналитизма. Используется принцип оппозиции и состав различительных признаков.
- Компонентный анализ слова и предложения для раскрытия структуры синтаксического аналитизма.
- Сопоставительный анализ материала XI-XII и XIX-XX веков для обоснования высокой степени развитости синтаксического аналитизма после упрощения системы времен древнерусского языка.

2. Терминологическое словосочетание «внутренние законы языка» обозначает многовековые процессы преобразования системы языка в той или иной ее сфере.

Наряду с обобщающей номинацией «внутренние законы языка» также употребляется само название процесса, например: «падение редуцированных», «упрощение системы времен», «тенденция к аналитизму» и др.

3. В многовековых процессах преобразования системы участвуют многие поколения носителей языка, но действия внутренних законов неосознаваемы говорящими и слушающими. Неосознаваемость проявляется даже на таких этапах процесса, когда наблюдаются смешения нормативных и ненормативных форм,

например: *о других мнений* вм. *о других мнениях*, *обсуждаемый вопрос о маневров* вм. *обсуждаемый вопрос о маневрах*, *об этих лекарств* и др. Но эта ненормативность – лишь точка в многовековом процессе. Прийдут следующие поколения, и на завершающем этапе носители языка будут использовать новые формации как само собой разумеющееся. Видимо, здесь было бы интересно обратиться к концепции Т. Гамкрелидзе, где он включает неосознаваемость (бессознательное) в биологический код человека, а также к монографии С. Пинкера «Язык как инстинкт» («The Language Instinct»).

4. Внутренние законы имеют предпосылки для проявления своего развития. Так, до общеславянского процесса падения редуцированных в древнерусском языке были открытые слоги. Языку было «тесно». В ходе завершения процесса (XI–XII–XIII–XIV вв. в северных говорах еще позднее) организовались и укрепились закрытые слоги, стечение согласных в пределах слога и на стыке слов, например: *рыть* – *крыть* – *скрыть* – *вскрыть* (конверт вскрыт), *леска* – *всплеск* и др.

А. Мейе в своих работах отметил противоречие между именем и глаголом: имя стабильно и не требует так много форм в отличие от глагола, выражающего процессы действия, состояние. В этом противоречии А. Мейе видел возможную причину тенденции к аналитизму. «Это морфологический аналитизм» отметил А.И. Смирницкий в своей книге «Древнеанглийский язык».

5. Упрощение системы времен древнерусского языка тесно связано с формированием грамматической категории видов глагола. В начале XII века, как свидетельствует материал «Повести временных лет» (первый исход XI–XII вв.) и «Словарь русского языка XI–XIV веков» в древнерусском языке уже были представлены и развивались глаголы с суффиксами [а], [’а], [ва], [ива] [ыва], образованные от глаголов совершенного вида, например: *бытии* – *побыти* – *побывати* (в современной записи) и др. Четкая, обладающая информативными возможностями система видов противостояла сложной системе времен. В «Повести временных лет» уже отражен один из этапов многовекового процесса преобразования: *Половцы умыкиваху девиц* (современная запись).

В современном языке грамматические категории вида и времени составляют видо-временную систему. Итак, в действиях внутренних законов языка прослеживаются такие этапы: предпосылки, т.е. созревание необходимости изменений, затем этап изменений, затем завершение многовековых изменений, выявление и дальнейшее развитие наиболее продуктивных перспективных форм.

6. Еще в 1990г. в Лингвистическом энциклопедическом словаре В.Г. Гак различал морфологический, синтаксический и лексический аналитизм. Морфологический аналитизм реализуется вне пределов слова. М.В. Панов: «Аналитизм – это выражение грамматического значения слова вне его пределов» (1968г.). В. Г. Гак определяет морфологический аналитизм как раздельное выражение лексического и грамматического значения в слове.

В русском языке есть островки морфологического аналитизма: неразличение рода (*он идет, она идет*); неразличение лица (*я читал, ты читал, он читал*); несклоняемость притяжательного местоимения *их* (*их дети, их детей*) и т.д. В настоящее время распространяется смешение падежных форм, сравним: *несколько ампул – несколько ампулов, об этих лекарствах – об этих лекарствах, о важных событиях – о важных событий – о важных событиев* и др. Если обратить внимание говорящего на ненормативные формы, он ответит: «Ну что вы, так может сказать только неграмотный человек».

Морфологический аналитизм противопоставлен синтаксическому. Если в русском языке морфологический аналитизм находится на одном из начальных периодов развития, то синтаксический, напротив, приближается к своему завершению. В 20-30е годы А. Мейе отмечал в своих работах, что тенденция к аналитизму развивается в армянском языке, в балтийских, в славянских языках. В русском языке она еще далека от своего завершения. Важно отметить, что в то время еще не было разделения на морфологический и синтаксический аналитизм. Судя по материалу, А. Мейе говорил о морфологическом аналитизме¹. В докладе высказывается гипотеза о том, что упрощение

¹ Русский язык и советское общество (социолого-лингвистическое исследование). Под ред. М.В. Панова. Книга 3. М., 1968, стр. 3-22.

древнерусской системы времен, унаследованной из праиндоевропейского языка, утрата двойственного числа, развитие грамматической категории вида глагола способствовали формированию синтаксического аналитизма в русском языке.

7. После упрощения системы времен оказались востребованными многие потенциальные семантические возможности слова в составе предложения. Средством реализации потенциальных возможностей были интонационные средства: тип интонационной конструкции, место центра, членение предложения на интонационно-смысловые части. Так, например, в следующем лексико-грамматическом составе предложения возможны три вопроса:

*Андрей доста³л билеты на вечерний поезд?*¹

Здесь посредством интонации реализуется значение взаимоисключающего противопоставления (достал – не достал?), необходимое для выражения вопроса без вопросительного слова. Этот вид противопоставления широко представлен при интонационном выделении глаголов, качественных прилагательных и наречий, кратких прилагательных и кратких причастий.

В рассматриваемом лексико-грамматическом составе предложения возможны и другие вопросы:

Андре³й доста³л билеты на вечерний поезд? (Андрей или не Андрей: Николай, Виктор, Олег?)

Здесь выделено слово, способное образовать ассоциативно-тематический ряд, который задан (личное имя), спрашивающий выбирает наиболее вероятное для себя, но неизвестное. Аналогично: *Андрей доста³л билеты на вече³рный поезд?* (вечерний или не вечерний: дневной, ночной, утренний).

¹ Здесь и далее используется интонационная транскрипция: цифра обозначает тип интонационной конструкции (ИК) и место центра ИК, косая обозначает синтагматическое членение, т.е. членение предложения на интонационно-смысловые части. В данном случае – односинтагменное предложение с ИК-3. Центр ИК может быть в начале, в середине и в конце ИК. В данном примере центр ИК-3 имеет предцентр-центр-постцентр, на гласном центра ИК-3 восходящее движение тона выше уровня предцентра, в постцентре тон понижается.

Ассоциативно-тематический ряд может быть представлен существительными, числительными, относительными прилагательными. В повествовательных предложениях (в данном случае – в полных ответах на вопрос) используется ИК-1 (нисходящий тон на гласных центра). Потенциальные возможности слова сохраняются, но они не актуальны, центр ИК-1 выделяет лишь ремю повествовательного предложения. Не актуальны потенциальные возможности слова, но они хорошо образуют оппозиции:

Обед гото³в? - Обед гото¹в?

*Когда он вошел в ко²мнату, / дверь на балкон была откры³та?
– Когда он вошел в ко³мнату, / дверь на балкон была откры¹та?*

Обратим внимание на одну очень существенную черту синтаксического анализма: на отсутствие какого-либо признака в лексико-грамматическом составе предложения, указывающего на повествовательность. Это полифункциональный лексико-грамматический состав, он может быть использован и в повествовательном, и в вопросительном предложениях. Сравним:

Где² он живет? (вопрос) - Где он живе³т? (повторение вопроса при ответе повторяет тот, кто отвечает).

Где⁶ он живет? Не могу вспомнить.² (переспрос).

Где⁶: он живет? (две точки в транскрипции передают увеличение длительности, прежде всего, гласного центра, припоминание, затруднение).

Например: *Куда⁶ я положил ключ? Не могу² вспомнить!*

Нельзя сказать, что структуры синтаксического анализма возможны только при наличии оппозиций.

8. Есть аналитические структуры предложений, где различным средством является предшествующий или последующий контекст. Это предложения, в которых выражены синтаксис, лексика, интонация, но еще остаются неиспользованные возможности. Сравним:

² ИК-6: на гласном центра восходящее движение тона, возможно увеличение длительности. Постцентр ИК-6 произносится на том уровне, на котором остановилось повышение тона в центре ИК-6.

Зря² ты туда едешь. Мо²ре - то там/ холо³дное! (здесь: предшествующий контекст допускает и часто требует обоснование, которое и дается в последующем контексте).

В диалоге:

- *Мо²ре - то там/ холо³дное?*

- *В июле купа¹ются!*

(здесь отсутствие предшествующего контекста является значимым: предложение функционирует как вопросительное).

Аналитические структуры предложения противопоставлены синтетическим, которые имеют монофункциональный лексико-грамматический состав, так как содержат признаки определенного коммуникативного типа: повествовательности, вопросительности, волеизъявления, например:

- *Како⁷е там ресторан. У нас всего десять минут времени.* ^{*3}

(Здесь синтетизм, монофункциональность создается отсутствием согласования по роду *какое ресторан*, местоименные слова *какое там* функционируют как частицы. Сочетание с последующим предложением выражает значение невозможности и обоснование невозможности. Синоним: *Како⁷й там ресторан!*).

Полифункциональность проявляется в возможности новых значений, сравним:

Како²й там ресторан? (вопрос).

Какой там рестора³н? (повторение вопроса при ответе).

Како⁵й там ресторан! Все чи²сто, все блестя²т!

Како⁵й там ресторан! Неую²тный! Стары²й!

Како⁶й там ресторан? (переспрос в момент речи).

Показателем вопросительности может быть выраженное значение выбора, например:

Како²й из этих телевизоров тебе больше всего нравится? (здесь ярко выраженный монофункциональный лексико-грамматический состав, синтетизм).

Формы императива большей частью синтетичны, формируют монофункциональный лексико-грамматический состав, например:

Сейчас же возвращайтесь домо²й!

³ На гласном центра ИК-7 восходящее движение тона, которое заканчивается смычкой голосовых связок.

В пределах императивных предложений возможны различия семантических компонентов категоричности и смягченности, например:

Покажи² те ему эту статью!

Переведи³ те мне этот абзац! (ИК-3: действие для меня)

Признаком повествовательности может быть детализация содержания предложения, например: *«И молодые ели, рассыпанные по лесу, не нарушали общей красоты и нежно зеленели пушистыми молодыми побегами»*. (Л.Н. Толстой «Война и Мир»). Предложения синтетической структуры употребляются в научной речи, в художественной прозе.

Синтаксический аналитизм – это максимум функциональности лексико-грамматической структуры предложения, отдельных слов, интонации. Синтаксический аналитизм легкий, мобильный в употреблении.

Синтетический аналитизм – это максимум разнообразия синтаксических связей. И то, и другое очень важно. Здесь все фундаментально. В синтаксисе и аналитизм, и синтетизм всегда будут сосуществовать, дополняя друг друга.

Оглядываясь на далекое прошлое русского языка, можно с большой уверенностью предположить, что упрощение системы времен и укрепление видов глагола способствовало развитию синтаксического аналитизма.

ВОЗНИКНУТЬ С НУЛЯ: СЕГОДНЯШНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ИХ РОЛЬ ДЛЯ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ.

С. А. БУРЛАК

1. Словообразование – морфология или... ?

Согласно Т. Гивону, «сегодняшняя морфология – это вчерашний синтаксис», и примеры возникновения аффиксов из полнозначных лексем хорошо известны [см., например, Норрег, Traugott 2003]; не менее известны и случаи возникновения суффиксов в результате переразложения путём «склеивания» нескольких суффиксов или суффикса с частью основы [Haspelmath 1995, Пизани 2001]. Но, как показывает изучение современного русского языка, новый суффикс может возникнуть в результате переосмысления части основы – и при этом сразу с морфонологическим ограничением. С 1999 года в нелитературном регистре русского языка на базе слова *педераст* (и *педерастия*) возникли такие слова, как (даты получены в результате поиска по блогам с помощью поисковой системы Яндекс) *либераст* (с 1999 г.), *либерастия* (с 2002 г.), *гитараст* (с 1999 г.), *гитарастия* (с 2003 г.), *модераст* (с 2002 г.), *модерастия* (с 2005 г.), *копирастия* (с 2002 г.), *копираст* (с 2005 г.), *толераст* (с 2005 г.), *толерастия* (с 2005 г.), *топораст* (с 2009 г., слова **топорастия* пока нет). Значение суффикса здесь – «тот, кто чрезмерно, по мнению говорящего, привержен тому, что названо корнем», изначально этим словам присуща негативная коннотация (которая со временем отчасти размывается).

Можно видеть, что морфонологические ограничения, налагаемые на новоявленный суффикс *-аст* достаточно сильны: он присоединяется только к двусложным (или могущим быть усечёнными до двух слогов) основам с исходом на *-р*, причём лишь

к таким, которые могут быть безударными (или являются безударными всегда). Морфонология нередко трактуется как отражение фонетики предшествующего этапа, но здесь случай иной. Морфонологическое ограничение явно продиктовано стремлением сделать новое слово максимально похожим на то, которое легло в основу модели, вызвать у слушающего/читающего одновременно ассоциации со словом *педераст* (вообще говоря, не обладающим прозрачной морфологической членимостью в рамках русского языка) и со словом *копирайт* или т.п., вызвать активацию нейронных комплексов, соответствующих и тому, и другому слову.

Этот пример позволяет видеть, что морфологические техники – не единственный возможный способ создания новых слов, человеческий мозг вполне готов распознавать слова, полученные путём любого совмещения производящих слов, если это вызывает обе необходимые для распознавания активации. Подобная техника используется в китайской иероглифике, где многие иероглифы получены путём совмещения детерминатива (смысловой части) и фонетика (указывающего на примерное произношение), ср., например, иероглиф 板 [bǎn] ‘доска’, составленный из детерминатива 木 [mù] ‘дерево’ и части 反 [fǎn], которая сама по себе означает ‘противоположный’. Не исключено, что стандартные морфологические техники представляют собой лишь наиболее упорядоченный (а потому наиболее распространённый) способ такого совмещения, с наибольшей надёжностью вызывающий двойную активацию.

2. Звукоподражание как конвенционализация жеста.

Звукоподражания нередко рассматриваются как наиболее древний лексический пласт, восходящий чуть ли не ко временам глоттогенеза [ср., например, Барулин 2002]. Тем не менее, судя по их обилию и разнообразию в разных языках [см., например, Sound symbolism 2006], существуют механизмы их возникновения. Один из таких механизмов можно наблюдать в современном русском языке на примере слова *буэ* (с 2002 г.), выражающего омерзение. История его возникновения такова. В начале XXI в. в неформальной коммуникации распространился такой

жестовый комплекс: человек, говоря о чём-то неприятном, гадком, изображает, что его рвёт, делая соответствующую гримасу и движение рукой (иногда слегка наклоняясь) и производя соответствующий звук. Чем чаще этот комплекс встречается, тем более слабого стимула оказывается достаточным для его распознавания (этот же механизм лежит в основе утраты части фонемного состава слов при их грамматикализации). В конце концов, оказывается возможным свести исходно нерасчленённый звук к последовательности из трёх фонем: *буэ*. Полученное слово обладает значительной автономностью от исходного внеязыкового звучания (в частности, не опознаётся не знающими его людьми при отсутствии контекста), но при этом осмысление его в языковых единицах – фонемах позволяет включить его в языковую систему, в частности, в процесс словообразования: от него были произведены слова *буэшно* (фиксируется с 2002 г.), *буэшный* (с 2005 г.) и *буэшечка* (с 2005 г.). Отметим, что словообразование в данном случае совершается с применением стандартной для современного русского языка морфонологической техники: между основой с исходом на гласный и суффиксом вставляется *-ш-*, ср. *зря-ш-ный*, *вне-ш-ний*, *кино-ш-ник*, *МГУ-ш-ник*.

Источником описанного процесса, по-видимому, является «Неудачный спектакль» Д. Хармса, где, в порядке реализации метафоры, героев по-настоящему рвёт от того, что представляется им омерзительным; отсылкой к этому тексту и является, вероятно, описанный выше жестовый комплекс. О популярности хармсовского текста свидетельствует частота его цитирования в блогах: около 6,5 тысяч упоминаний (по данным Яндекса; для сравнения: такая крылатая фраза, как «прикрути фитилёк, коптит!» встречается в разных формах за то же время менее 2 тысяч раз), причём начинаются они с 2001 г., за некоторое время до появления *буэ*, что и позволяет рассматривать его как источник возникновения этого слова.

3. Рождение стройности.

Более стройные парадигмы обычно получают из менее стройных путём выравнивания. Но, как выясняется, это не единственный возможный путь, иногда парадигма может стать более

стройной в результате совершенно не связанных между собой процессов в других частях языковой системы. Так, в русском языке с определённого времени вместо *г* в окончании прилагательных и местоимений *-ого / -его* произносится [в], в результате получают формы *че[в]о* и *ниче[в]о*. Параллельно с этим постепенно разрушается обязательность родительного падежа при отрицании, становятся возможны такие употребления, как *Письмо не пришло* – вследствие этого форма *ничего* в *Ничего не произошло* (или т.п.) получает возможность быть осмысленной как номинатив (и ничто этому не мешает, поскольку конкурирующей формы номинатива для большинства контекстов нет: **Ничто не произошло, *Ничто не случилось* сказать нельзя). В результате в просторечии появляются такие употребления, как *Чего произошло?* (с таким же снятием отрицания как в случаях *Письмо не пришло* – *Письмо пришло?* или *Никто не приехал* – *Кто приехал?*). В нынешнее время [в] между гласными часто выпадает, ср. аллегровое произношение таких слов, как *правильно, совершенно*, – в частности, возникают такие формы, как *чѐ* (чо) и *ничѐ* (ничо). В результате парадигма склонения этих местоимений становится более стройной, ср.: *вс-его, вс-ему* – им. п. *вс-ѐ; мо-его, мо-ему* – им. п. *мо-ѐ, ч-его, ч-ему* – им. п. *ч-ѐ, нич-его, нич-ему* – им. п. *нич-ѐ*. Это один из так называемых эмерджентных (по Далю, см. [Даль 2009]) процессов, когда итоговая ситуация наступает в результате событий, ни одно из которых не имеет целью её осуществление.

Литература

Барулин 2002 – Барулин А.Н. Основания семиотики: Знаки, знаковые системы, коммуникация. — М.: Спорт и культура - 2000, 2002. — Ч. 1. — 464 с.

Даль 2009 – Даль Э. Возникновение и сохранение языковой сложности. — М.: ЛКИ, 2009. — 560 с.

Пизани 2001 – Пизани В. Этимология (история, проблемы, метод). — М.: Эдиториал УРСС, 2001. — 184 с.

Haspelmath 1995 – Haspelmath M. The growth of affixes in morphological reanalysis // Booij G., van Marle J. (eds.). Yearbook of Morphology 1994. — Dordrecht: Kluwer, 1995. — P. 1-29.

Hopper, Traugott 2003 – Hopper P.J., Traugott E.C. Grammaticalization / 2nd ed. — Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2003. — 256 p.

Sound symbolism 2006 – Sound symbolism / Hinton L., Nichols J., Ohala J.J. (eds.) — Cambridge: Cambridge University Press, 2006. — 373 p.

МЕРА СИНКРЕТИЗМА ПАДЕЖНЫХ ФОРМ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В СЛОВАЦКОМ И ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКАХ НА ФОНЕ ПРАСЛАВЯНСКОГО СОСТОЯНИЯ

М. БРАКСАТОРИС

Аннотация. Автор доклада предлагает метод количественной оценки меры синкретизма падежных форм имен существительных и связанных величин, в отношении которых можно предполагать непосредственную зависимость от меры синкретизма. Предложенный метод он далее применяет для установления значений этих величин в современном литературном словацком и восточнославянских языках на фоне исходного состояния в праславянском языке.

1. Основные понятия

1. *словоформа* (СФ): элемент множества формальных реализаций (парадигмы) слова. Напр. каждая из словацких словоформ *kosť, kosti, kosťou, kostí, kostiam, kostiach a kosťami* является элементом множества, мощность которого равна семи: $|СФ| = 7$.

2. *грамматическая форма* (ГФ): множество грамматических сем (ГС; напр. падежа и числа), которые выражаются посредством СФ (ср. Смирницкий 1955). Количество ГФ равно произведению количества ГС (Сгалл 2011, 160, см. тоже Ельмслев 2006, 52, Миллер 2008, 2). Напр. СФ *kosťou* выражает двухэлементную ГФ (I., sg) (далее с пропуском скобок только I. sg.), причем произведение количества ГС равно $1 \times 1 = 1$. Семь СФ слова *кость* выражает 12 ГФ: N. sg., G. sg., D. sg., A. sg., L. sg., I. sg., N. pl., G. pl., D. pl., A. pl., L. pl., I. pl.

3. *языковая словоформа* (ЯСФ): упорядоченная пара (СФ, ГФ) (к понятию языкового выражения в соответствующем смысле

см. Цмореј 2005). Напр., парадигма словацкого слова *revír* содержит 11 СФ: *revír, revíra, revíru, revíre, revíri, revírom, revíry, revírov, revírom, revíroch, revírmi*; количество ГФ равно 12 (произведение количества падежей и грамматических чисел), в то время как количество ЯСФ равно 14: (*revír*, N. sg.), (*revíra*, G. sg.), (*revíru*, G. sg.), (*revíru*, D. sg.), (*revír*, A. sg.), (*revíre*, L. sg.), (*revíri*, L. sg.), (*revírom*, I. sg.), (*revíry*, N. pl.), (*revírov*, G. pl.), (*revírom*, D. pl.), (*revíry*, A. pl.), (*revíroch*, L. pl.), (*revírmi*, I. pl.).

4. *синкретизм и дублетность*: недискретные состояния (ср. Плунгян 2003, 119 – 120, Серебренников 1970, 118), когда $|\Gamma\Phi| = 1$ соответствует $1 < |\text{СФ}|$ (синкретизм) и $|\text{СФ}| = 1$ соответствует $1 < |\Gamma\Phi|$ (дублетность) (ср. Долник 2009, 56).

5. *интерпретация СФ*: процесс, в результате которого определенной СФ сопоставляется допустимая ГФ (ср. Апресян 1995, 36).

6. *производство СФ*: процесс, в результате которого определенной ГФ сопоставляется допустимая СФ (ср. Апресян 1995, 36) (определение уточним в пункте 8).

7. *сложность интерпретации СФ*:

Основная интуиция: найти иголку в стоге сена (абстрагируясь от размера объектов и т. п.) тем сложнее, чем больше соломинок он содержит. На сложность интерпретации, связанной с числом шагов при поиске правильной ГФ в реестре всех ГФ, выражаемых словоформами данного слова, влияет главным образом длина символьной строки $\Gamma\Phi 1V...V \Gamma\Phi n$, причем „V“ является дизъюнктом и $\Gamma\Phi 1... \Gamma\Phi n$ являются ГФ соответствующими одной СФ. Интерпретация тем сложнее, чем мощнее множество ассоциируемых ГФ. Напр.

-*kost'* - N. sg., A. sg.

-*kosti* - G. sg., D. sg., L. sg., N. pl., A. pl.

-*kost'ou* - I. sg.

-*kostí je* - G. pl.

-*kostiam* - D. pl.

-*kostiach* - L. pl.

-*kost'ami* - I. pl.

Относительная сложность интерпретации (ОСИ) парадигмы равна сумме сложностей интерпретации отдельных СФ: $2 \cdot 7^{-1} + 5 \cdot 7^{-1} + 1 \cdot 1^{-1} + 1 \cdot 1^{-1} + 1 \cdot 1^{-1} + 1 \cdot 1^{-1} + 1 \cdot 1^{-1} = 12 \cdot 7^{-1} = 1,7143$ (12 ГФ на 7 СФ). С учетом более низкой меры падежного синкретизма в случае словацкого слова *mesto* получаем 12 ГФ на 10 СФ и ОСИ = 1,2.

ОСИ равна мере синкретизма, и ее обратная величина является мерой однозначности $= |СФ| \cdot |ГФ|^{-1}$. В случае ОСИ идет речь лишь о простом соотношении $|СФ|$ и $|ГФ|$. Чтобы получить значение абсолютной сложности интерпретации, мы должны умножить ОСИ на количество СФ: АСИ = ОСИ $\cdot |СФ| = |ГФ|^2 \cdot |st|^{-1}$.

Для того чтобы избежать необходимости учитывать дублетность, для каждой допустимой комбинации СФ и ГФ можно ввести большее количество слов (классов). Напр., в случае словацкого слова *revíg* можно разделить все допустимые ЯСФ на четыре парадигмы, так как у двух ГФ находим два дублета и четыре возможных вариации их дистрибуции.

1. (*revír*, N. sg.), (*revíra*, G. sg.), (*revíru*, D. sg.), (*revír*, A. sg.), (*revíre*, L. sg.), (*revírom*, I. sg.), (*revíry*, N. pl.), (*revírov*, G. pl.), (*revírom*, D. pl.), (*revíry*, A. pl.), (*revíroch*, L. pl.), (*revírmí*, I. pl.)

2. ..., (*revíru*, G. sg.), ..., (*revíre*, L. sg.), ...

3. ..., (*revíra*, G. sg.), ..., (*revíri*, L. sg.), ...

4. ..., (*revíru*, G. sg.), ..., (*revíri*, L. sg.), ...

В первом и третьем случаях $|СФ| = 9$, во втором и четвертом $|СФ| = 8$. В зависимости от выбора кода ОСИ = 1,5 или 1,3333 и АСИ = 18 или 16.

8. сложность производства СФ:

Основная интуиция является такой же, только СФ и ГФ меняются ролями. Парадигма с точки зрения производства СФ тем сложнее, чем больше СФ приходится на количество ГФ: сложность производства связана с соотношением $|СФ| \cdot |ГФ|^{-1}$. Но в случае этой величины возникает особая проблема в результате необходимости учета дублетности, меру которой проще всего

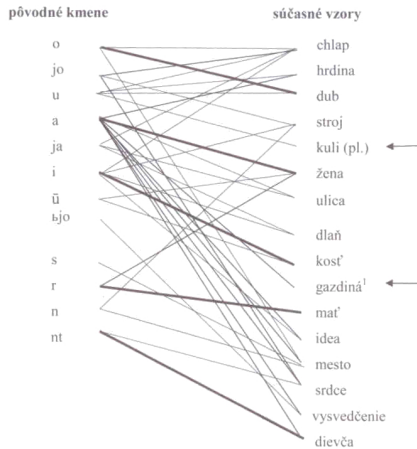
выразить соотношением количества ЯСФ (допустимых упорядоченных пар (СФ, ГФ)) и количества ГФ: $МД = |ЯСФ| \cdot |ГФ|^{-1}$. Значит, $МД^{-1} = |ГФ| \cdot |ЯСФ|^{-1}$. Относительная сложность производства, т. е. $ОСП = |СФ| \cdot |ГФ|^{-1} \cdot |ГФ| \cdot |ЯСФ|^{-1} = |СФ| \cdot |ЯСФ|^{-1}$. Абсолютная сложность производства АСП = $|СФ|^2 \cdot |ЯСФ|^{-1}$. Напр. слово *revír* имеет 11 СФ, 14 ЯСФ и АСП $11 \cdot 14^{-1} = 8,6429$. Данную величину мы в рамках настоящего доклада не будем подробно рассматривать.

9. еще раз о производстве СФ:

Кажется, что если $ОСП = |СФ| \cdot |ЯСФ|^{-1}$ и $АСП = |СФ|^2 \cdot |ЯСФ|^{-1}$, то можно уточнить и понятие производства СФ в том смысле, что ему соответствует не процесс, в результате которого данной ГФ сопоставляется допустимая СФ, а процесс, в результате которого допустимая СФ сопоставляется упорядоченной паре (ГФ, эрзац СФ), количество которых = $|ЯСФ|$. Это определение соответствует тому, что, пытаясь вспомнить определенное выражение, мы латентно имеем его в виду; и, когда вспоминаем его синоним, хотя мы можем быть полностью удовлетворены этим, мы понимаем, что вспомнить мы пытались что-то другое.

10. изменение сложности интерпретации и производства

Диахронический язык можно эксплицировать на основе функции, сопоставляющей вещественным (учитывая непрерывность времени) числам состояния языка, которым можно сопоставить натуральные числа. В рамках последовательности (хронологии) состояний языка можно посредством функции следования установить предшествующие и последующие классы. Изменение ОСИ равно частному от деления ОСИ последующего на ОСИ предшествующего класса: $ИОСИ = ОСИ_{\text{посл}} \cdot ОСИ_{\text{пред}}^{-1}$. Если $ИОСИ < 1$, то ОСИ возросла, если $ИОСИ = 1$, то она осталась на прежнем уровне и если $ИОСИ > 1$, то она снизилась. (Мы будем использовать и более широкое понятие приблизительно одинакового уровня $ИОСИ \approx 1$). Аналогично $ИАСИ = АСИ_{\text{посл}} \cdot АСИ_{\text{пред}}^{-1}$, $ИОСП = ОСП_{\text{посл}} \cdot ОСП_{\text{пред}}^{-1}$, $ИАСП = АСП_{\text{посл}} \cdot АСП_{\text{пред}}^{-1}$.



2. Соотношение предшествующих и последующих классов

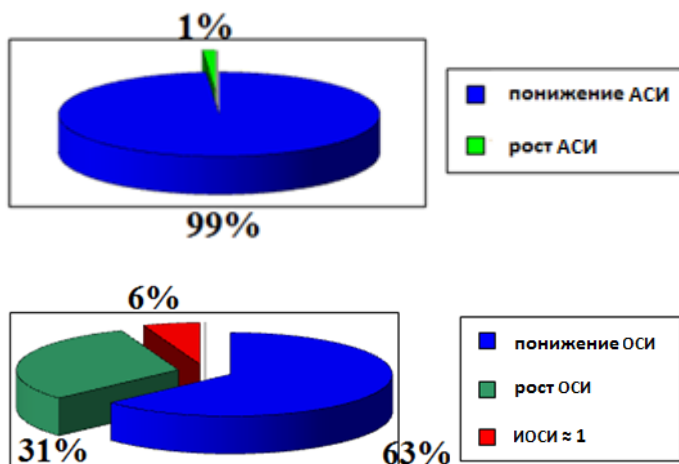
Соотнести позднеславянские и сегодняшние словацкие и восточнославянские грамматические классы имен существительных можно на основе данных исторических грамматик. (Наглядная интерпретация словацких и в меньшей степени русских и сербских классов на фоне праславянского состояния представлена в (Жиго 2012, 122-127)).

Количество типов склонения в разных концепциях зависит от меры, в какой в них допускается дублетность в рамках одного типа (ср. Жиго 2012, 70-71). Поскольку мы решили избежать необходимости учитывать дублетность СФ, количество типов, которое мы изучали, было относительно высоким. Исследование в определенной мере усложняло отсутствие в словацких, русских, украинских и белорусских грамматиках единой методики изложения материала. Для получения сопоставимых результатов мы должны были выработать собственные критерии. С их помощью было обработано в общей сложности 230 словацких, русских, белорусских и украинских и 22 праславянских классов имен существительных.

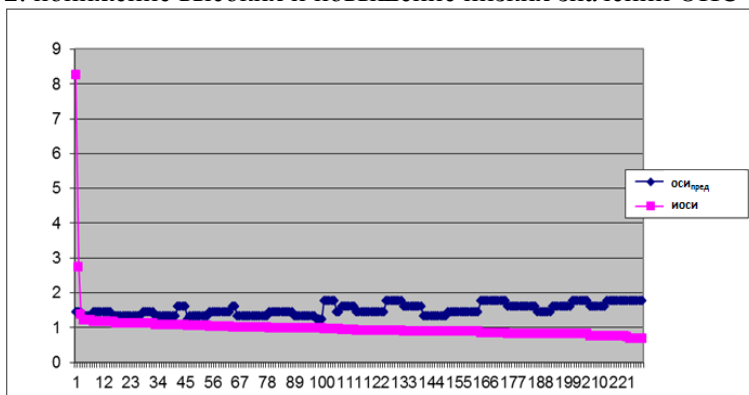
3. Результаты

В результате применения предложенного нами метода мы обнаружили следующие тенденции:

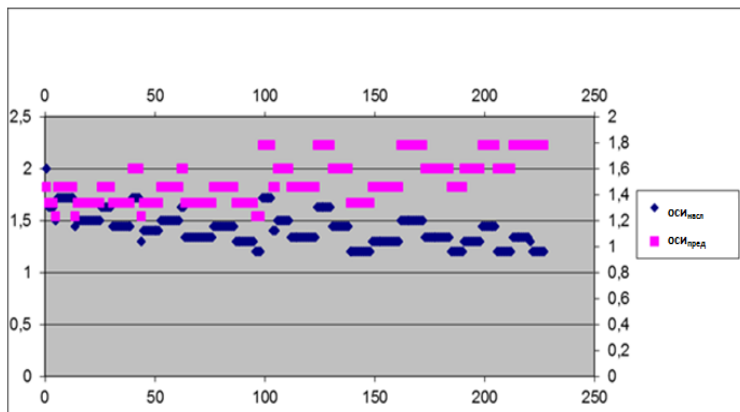
1. общее понижение значений АИС (у подавляющего большинства типов склонения) и ОИС (в украинском и в словацком языках в большей степени, чем в русском и белорусском, хотя тенденция очевидна во всех исследованных языках).



2. понижение высоких и повышение низких значений ОИС



3. эффект ”чрезмерной коррекции” (высокое значение ОИС последующего класса в случае низкого значения ОИС предшествующего и наоборот); в основном у классов с высокой сложностью интерпретации.



Статистическая значимость результатов была проверена с помощью тестов Манна-Уитни, Крускала-Уоллиса и точного теста Фишера.

4. Интерпретация

Фон давно известной тенденции к упрощению склонения (см. напр. Мигал 1935, 195, Летз 1935), можно, следуя концепции Якобсона (1985), искать в устранении маркированных явлений, под которыми в рамках инспирированных Якобсоном теорий понимают явления, когнитивная обработка и переработка которых является сложной (см. напр. Долник – Оргонева 2010, 216).

Гипотеза, что рост количества ГФ, ассоциированных с СФ, ведет к усложнению интерпретации (что связано с поиском подходящей ГФ в реестре), соответствует знаниям современной когнитивной психологии. В рамках нее считается достаточно разработанной и экспериментально обоснованной ”гипотеза о том, что на бессознательном уровне подвергаются переработке каждое из значений многозначного стимула, а на сознательном уровне актуально осознается только одно из них” (Куделькина 2008, 9).

Факт, что переработке подвергаются все значения (а не только те, которые соответствуют конкретному контексту), подтвердился в рамках многочисленных экспериментов. Было, например, установлено, что время реакции при восприятии многозначного выражения больше, чем при восприятии однозначного выражения (см. Куделькина 2008, 8) и что многозначность выражений отрицательно влияет на их запоминание (см. Куделькина 2008, 9).

Для интерпретации важно также то, что главной функцией падежных форм является сигнализация синтаксических отношений, которые наряду с ними сигнализируют также предлоги (точнее, позиция предлога) и другие средства языка. В данной связи даже пишут об избыточности падежных морфем в флективных языках (Эргарт 1973, 105). В смысле гипотезы о конкурентности сосуществующих явлений с аналогичной функцией можно предположить, что в случае роста меры однозначности будет падать частотность предложных конструкций. Оказывается, однако, что конкурентность флективности и аналитизма не подтверждается и в рамках морфологии главным образом восточнославянских, но и словацкого языков хорошо известна тенденция к замене беспредложных конструкций предложными и тенденция к аналитизму. Валгина (2003, 222) соотносит увеличение падежных конструкций с тенденцией к более точной передаче необходимого смысла – в данном контексте, вероятно, можно говорить о синергии двух тенденций, причем обе непосредственно связаны с точностью передачи информации.

Описанные тенденции свидетельствуют о том, что соответствующий фрагмент исследуемых языков становится более точным и менее сложным с точки зрения интерпретации (и по всей вероятности и с точки зрения АСП).

Однако упрощение не может являться непосредственной целью осуществления инноваций, которые являются не результатом "бессознательного замысла или намерения, усилия и т. д." (Долник 2005, 204), а результатом индивидуальных реакций на стимул к потенциальному изменению и последующего спонтанного расширения в языковом сообществе, причем спонтанность означает непреднамеренность (см. Долник 2009, 130-131). Это

означает, что в рамках интерпретации мы должны избежать телеологического подхода.

Приемлемой представляется интерпретация изменений, предлагаемая теорией естественного отбора, предполагающая случайность изменения и его последующее расширение на базе выгоды. Подобно тому спонтанная инновация является в своей первой фазе (ошибочное употребление СФ, оговорка и т. п.) в принципе случайной, в то время как расширение ее результата в определенной мере закономерно, поскольку оно происходит в соответствии с потребностями членов языкового сообщества. Можно предположить, что в рамках отбора предпочтение отдается словоформам, не требующим слишком большого усилия при их интерпретации и производстве. В зависимости от результата различают стабилизирующую, движущую и дизруптивную формы отбора, причем "стабилизирующий отбор сохраняет в популяции средний вариант фенотипа или признака" (Ярыгин 2003, 19) и действует против крайних значений признака, а "движущий (направленный) отбор обуславливает последовательное изменение фенотипа в определенном направлении, что проявляется в сдвиге средних значений отбираемых признаков в сторону их усиления или ослабления" (Ярыгин 2003, 20). При отсутствии изменения условий регуляции действует стабилизирующий отбор, работает отрицательная обратная связь (ср. Северцев 1990, 232), тогда как при изменении условий регуляции действует направленный отбор и положительная обратная связь (ср. Северцев 1990, с. 231).

Принцип отрицательной обратной связи действует против отклонения и подавляет его. Он заключается в том, что увеличение значения, поступающего с выхода на вход, приводит к уменьшению значения на выходе (Голчик 2012, 107, Ланге 1966, 58). Он используется для поддержания постоянных параметров системы и близок принципу гомеостаза. Упомянутый принцип (вместе с понятием стабилизирующего отбора) является подходящим объяснением выравнивания противоположных значений сложности интерпретации (понижения высоких и повышения низких), которое представляет собой вторую тенденцию.

Пока устойчивая система с отрицательной обратной связью движется в направлении равновесия путем уменьшения колебаний, в случае положительной обратной связи она движется в направлении равновесия монотонным приближением к нему, причем возможны определенные виды краткосрочных колебаний (Ланге 1966, 60). Если согласиться с предпосылкой, что состояние равновесия в нашем случае характеризуется более высоким средним значением ОСИ и более низким средним значением ОСП (ОСИ и ОСП являются обратно пропорциональными величинами), то принцип положительной обратной связи (вместе с понятием направленного отбора) является приемлемым объяснением тенденции к снижению ОСИ (т. е. первой тенденции). Направленность отбора можно соотнести с потребностями членов языкового сообщества, общение которых отличается переносом все более сложной информации, но при этом не снижаются требования по ее верному восприятию.

Третью тенденцию можно объяснить комбинацией отрицательной и положительной обратной связи. Понижение высоких значений и повышение низких сопровождается последующим усилением этой тенденции, которое свидетельствует, с точки зрения естественного отбора, о ее желательном характере.

5. Заключение

Нам представляется, что результаты проведенной нами количественной оценки подтверждают правильность идеи Р. О. Якобсона, что, руководствуясь телеономическим подходом, можно установить тесную связь между биологией, кибернетикой и гуманитарными науками (Якобсон 1996). Вопрос требует дальнейшего теоретического изучения.

Литература

Апресян Ю.Д.: Избранные труды. Том I. Лексическая семантика (синонимические средства. М.: Языки русской культуры, 1995. – 472 с.

Валгина Н. С.: Активные процессы в современном русском языке. М. : Логос 2001. – 304 с.

Ельмслев Л.: Прологомены к теории языка. М.: КомКнига 2006. – 248 с.

Куделькина Н.С. Восприятие многозначной информации как предмет психологического исследования // Психологические исследования. Вып. 6. Самара : Универс-Групп 2007. С. 223-22

Плунгян В.А.: Общая морфология: Введение в проблематику. Москва : Эдиториал УРСС 2003. – 384 с.

Северцов А.С. Направленность эволюции — М.: Изд-во МГУ 1990. – 272 с.

Серебренников Б.А.: Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка. М. : Наука, 1970. – 604 с.

Смирницкий А.И.: Лексическое и грамматическое в слове // Вопросы грамматического строя. М. : АН СССР 1955. с. 11-53

Якобсон Р.О.: О структуре русского глагола // Избранные работы. М.: Прогресс 1985 с. 210-221

Якобсон Р.О.: Жить и говорить // Язык и бессознательное. М. : Гнозис 1996. – с. 199-222

Ярыгин В.Н и кол.: Биология. Книга 2. М.: Высшая школа 2003. – 343 с.

Smorej P.: Semivýrazy a výrazy // Jazyk-logika-věda. Praha : Filosofia 2005, – с. 63-88.

Dolník J.: Konceptia novej morfológie spisovnej slovenčiny // Slovenská reč, 2005, выпуск 4. – с. 193-210

Dolník J.: Všeobecná jazykoveda. Opis a vysvetľovanie jazyka. Bratislava: VEDA 2009. – 376 с.

Dolník, J. – ORGOŇOVÁ O.: Používanie jazyka. Bratislava : Univerzita Komenského 2010. 229 с.

Erhart A.: Úvod do obecné a srovnávací jazykovědy. Brno : Univerzita J. E. Purkyně 1973. – 227 с.

Holčík J.: Signály, časové řady a lineární systémy. Brno : CERM 2012. – 136 с.

Lange O.: Celek a vývoj ve světle kybernetiky. Praha : Svoboda 1966. 128 с.

Letz B.: Zjednodušenie vo vývine skloňovania našich substantív // Slovenská reč, 1935, выпуск 4. – с. 203-210

Mihál J.: Zo slovenského pádoslovia // Slovenská reč, 1935, выпуск 4. – с. 193-203

Müller G.: Syncretism without Underspecification in Optimality Theory: The Role of Leading Forms. Leipzig : Universität Leipzig 2008. – 52 c.

Sgall P.: Soustava pádových koncovek v češtině // Jazyk, mluvení, psaní. Praha : Karolinum 2011. – c.147-172

Žigo P.: Analógie a anomálie v substantívnej deklinácii. Bratislava : Veda 2012. – 176 c.

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВТОРИЧНОЙ НОМИНАЦИИ ПРИ ОБРАЗОВАНИИ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИХ АНТРОПОНИМОВ

А.В. ВЕРЕЩАГИНА

Понятие вторичной номинации обозначает вовлечение старых или традиционных единиц языка в процесс порождения новых понятий. Известно, что язык может использовать такие способы как метафоризация, конверсия и словообразование для порождения новых слов из старого языкового материала. Хотя принципы вторичной номинации и универсальны в разных языках, однако каждый конкретный язык выбирает определённые уникальные для данного языка способы словопорождения.

Древнегреческие антропонимы – это тот пласт языка, который в полной мере использует возможности этого механизма. Классификация исходных и производных наименований призвана выявить закономерности вторичной номинации при образовании древнегреческих антропонимов. Это и входит, насколько возможно, в наши задачи в пределах этого небольшого исследования. В качестве материала исследования мы берём антропонимы по словарю имён собственных В. Папе.

Исследуя простые древнегреческие антропонимы, мы можем распределить их на несколько групп.

Во-первых, это личные имена, относящиеся к сакральной сфере. Такого рода антропонимы представляют собой в чистом виде имена богов, например, Ἀφροδίτη Афродита, Μοῦσα Муза, Ἀπόλλων Аполлон, Διόνυσος Дионис, Ἥλιος Гелиос.

Кроме того, они могут быть образованы от имён богов суффиксальным способом, например, Ἀπολλώνιος, Ἡφαιστίων, Διονύσιος.

Среди антропонимов, имеющих отношение к сакральной сфере, в отдельную подгруппу следует выделить также те, которые

происходят от древнегреческой лексемы θεός «бог» или δῖος «божественный», например, Δῖος досл. «божественный», Θεογένης досл. «богом рождённый», Θεοφάνης досл. «богом явленный», Θεόγνωστος досл. «известный богу».

Во-вторых, в древнегреческом языке выделяются антропонимы, связанные с топонимикой, например, Ἀργεῖος досл. «аргивянин», Θηβαῖος досл. «фиванец», Σάμιος досл. «самосец», Μεγαρεὺς досл. «мегарец», Φαίαξ досл. «феак».

В-третьих, в древнегреческом языке зафиксированы личные имена, этимологически связанные с окружающим миром, природой, природными явлениями и порождениями. Сравним: Χεῖμων досл. «зима, ненастье», Χίων досл. «снег», Ἦσπερος досл. «вечер, вечерняя звезда», Νεφέλη досл. «облако, туча», Ἀστήρ досл. «звезда».

Среди них можно выделить, в том числе фитонимы и зоонимы, такие как Δάφνη досл. «лавр», Ἄκανθος досл. «аканф», Βότρυς досл. «виноград», Ὑάκινθος досл. «гиацинт», Στάχυς досл. «колос» или Μέλισσα досл. «пчела», Μυῖα досл. «муха», Χελίδων досл. «ласточка», Κύκνος досл. «лебедь», Ταῦρος досл. «бык».

В-четвёртых, следует выделить антропонимы, связанные с занятиями и социальным статусом человека, например, Βασιλεὺς досл. «царь», Ἀγγέλλος досл. «вестник», Βουκόλος досл. «пастух», Ἥρως досл. «герой», Δημιουργός досл. «ремесленник, художник».

В-пятых, выявлены личные имена, в основе которых лежат абстрактные понятия, например, Νίκη досл. «победа», Εὐφροσύνη досл. «радость», Εἰρήνη досл. «мир», Ἐλπίς досл. «надежда», Μανία досл. «сумасшествие, восторг».

Шестая группа антропонимов включает имена, связанные с материальным миром или бытовой сферой, например, Χίτων досл. «хитон», Χρυσός досл. «золото», Στέφανος досл. «венок», Κῶμος досл. «пир, гулянье», Σπίνθηρ досл. «искра».

Последняя группа – это атрибуты или характеристики человека, описывающие как ментальный (Σύνετος досл. «рассудительный, умный», Νοητός досл. «постигаемый умом», Σόφος досл. «мудрый», Επίφρων досл. «умный, разумный»), так и визуальный облик человека (Έρυθρος досл. «красный», Λεῦκος досл. «белый, светлый», Γλάφυρος досл. «изящный», Μέγας досл. «большой», Χλωρός досл. «зеленовато-жёлтый, бледный»), а также моральные, нравственные и прочие характеристики (Άλκιμος досл. «сильный, мужественный, храбрый», Ελεύθερος досл. «свободный, независимый», Αφοβος досл. «бесстрашный», Δόλιος досл. «хитрый», Άριστος досл. «лучший»). Эти антропонимы образованы от прилагательных, а также от причастий.

Кроме того, личные имена, образованные от причастий, могут описывать действия и намерения, например, Σώζων досл. «спасающий», Φιλούμενος досл. «любимый», Εὐφραίνων досл. «радующий», Μελλομενός досл. «воспеваемый или воспевающий сам».

Следует отметить перенос ударения в некоторых антропонимах по сравнению с именами нарицательными, как например, в именах Χεῖμων, Χίων, Χίτων, Σπίνθηρ, Σόφος, Σύνετος, Χλωρός, Γλάφυρος, Έρυθρος, Λεῦκος, Μελλομενός и т.д.

Своеобразной чертой древнегреческого языка является достаточно широкое использование сложных слов как способа вторичной номинации.

Что касается сложных антропонимов, следует отметить, что наиболее многочисленной группой являются имена, связанные с абстрактными понятиями, например, Νίκαρχος досл. «властвующий над победами», Μένανδρος досл. «сила мужа».

Кроме того, весомую часть сложных антропонимов составляют слова, содержащие атрибуты, например, Φιλόλαος досл. «любящий народ», Μενέφιλος досл. «любящий силу», Γλαύκιππος «серый конь», Горγολέων «страшный лев».

При этом превалирует положительная, а также нейтральная оценочная характеристика у подобных прилагательных, например, Άγαθοκλῆς досл. «хорошей славой обладающий», Αριστομένης досл. «лучшей силой обладающий», Νέανδρος досл.

«молодой муж», Δημοκόων досл. «замечающий народ», Σωγένης досл. «рождённый здоровым».

Предикаты в качестве составной части сложных антропонимов занимают значительную часть всех лексем, хотя субстантивных антропонимов гораздо больше, например, Ἀγεάναξ досл. «царь-предводитель», Ἀκουσίλαος досл. «слушающий народ», Κλήσιπλος досл. «зовущий коня», Τιμησίθεος «почитающий бога».

Скучно представлены сложные антропонимы, связанные с топографическими объектами, природой, флорой и фауной, бытовой сферой.

Источники материала

Pape W. Wörterbuch der griechischen Eigennamen. Dritte Auflage neu bearbeit von G.E. Benseler. – Braunschweig: Druck und Verlag von Friedr. Vieweg&Sohn, 1911. – 1710 S.

Литература

1. Богатырёва И.И. Санскрит как воплощение ключевых идей древнеиндийской культурной традиции // Синхронное и диахронное в сравнительно-историческом языкознании. – М.: «Добросвет», «Издательство «КДУ»», 2011. – С. 29 – 34.

2. Волошина О.А. Принципы вторичной номинации (на примере лексики санскрита) // Синхронное и диахронное в сравнительно-историческом языкознании. – М.: «Добросвет», «Издательство «КДУ»», 2011. – С. 36 – 42.

3. Когнитивные исследования языка. Выпуск IV. Концептуализация мира в языке: коллектив. моногр. / Гл. ред. сер. Е.С. Кубрякова, отв. ред. Н.Н. Болдырев; Федеральное агенство по образованию, Рос. акад. наук, Учреждение Рос. акад. наук Ин-т языкознания РАН, ГОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина», Общерос. орг. «Рос. ассоц. лингвистов-когнитологов». – М.: Ин-т языкознания РАН; Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2009. – 460 с.

4. Новикова О.Н. Аспекты когнитивного изучения имени собственного – антропонима // Вопросы когнитивной лингвистики. №3. 2011. – С. 90–93.

5. Сёмина И.А. Антропонимы в новой научной парадигме // Вестник МГЛУ. Выпуск 24 (603). Языкознание. Этнокультурные и дискурсивные проблемы лингвистики. – М: ИПК МГЛУ «Рема», 2010. – С. 78–86.

6. Топорова Т.В. Культура в зеркале языка: древнегерманские двучленные имена собственные. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. – 253 с.

”БИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЯЗЫКА” АВГУСТА ШЛЕЙХЕРА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ТЕОРИИ КОМПАРАТИВИСТИКИ

О.А. ВОЛОШИНА

Огромное влияние на формирование теоретических взглядов Августа Шлейхера оказала работа великого систематизатора живой природы Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение избранных пород в борьбе за существование», опубликованная в 1859 году. Благодаря учению Дарвина середина XIX века становится временем широкой популярности биологии, торжества сравнительной анатомии и морфологии и повального увлечения специалистов реконструкциями вымерших или еще не обнаруженных форм организмов.

В своей знаменитой работе Дарвин впервые формулирует новый, научный подход к изучению живых организмов, который предполагает исследование строения (морфологии) организмов и исторического развития не отдельных особей, а целых видов (типов, имеющих сходное строение) живых существ. Дарвин пишет: «Когда мы перестанем смотреть на органическое существо, как дикарь смотрит на корабль, то есть как на нечто совершенно превышающее его понимание..., как неизмеримо возрастет интерес к изучению естественной истории! Откроется громадное и почти непочатое поле исследований над **причинами и законами изменчивости**... Наши **классификации** превратятся, насколько это возможно, в **родословные**, и тогда в действительности они представят нам то, что по праву можно будет назвать планом творения» (Дарвин 1935: 589). И далее «Мы получим уверенность в том, что все особи одного вида и все близко между

собой сродные виды большинства родов, в пределах не очень отдаленного периода времени, **произошли от одного общего родителя и расселились из одного места их зарождения**» (Дарвин 1935: 589).

Идеи Дарвина оказывают огромное влияние на Августа Шлейхера, который восхищается научными достижениями в биологии, точным научным методом и пытается применить биологическую теорию и метод в языкознании: «Столь же искренно желаю, чтобы языковеды (языкоиспытатели) приняли тот же метод, которым пользуются естествоиспытатели... Только знакомство со строгим методом естествоиспытателей дает твердое убеждение, что для науки имеют достоинство **только факт, установленный верным, строго объективным наблюдением, и основанный на нем правильный вывод**... Только **точное наблюдение организмов и законов их жизни**... должны служить основанием для нашей науки. Всякая болтовня, лишенная этой твердой основы, как бы остроумна она ни была, не имеет решительно никакого достоинства» (Шлейхер 1864: 4).

Однако далее Шлейхер сетует на то, что современные ученые «углубляются в самое специальное и точное изучение отдельных сторон объекта, нисколько не думая о **систематическом построении целого**», они убеждены, что «**система** еще невозможна, что попытка построить ее должна быть отложена» (Шлейхер 1864: 4). Шлейхер считает, что результаты наблюдений должны быть основой общей теории, объясняющей строение и происхождение языков мира, и сам пытается предложить такую теорию - ”биологическую”.

«Биологическая» теория Шлейхера, впервые изложенная им в сочинении «Теория Дарвина и наука о языке» (1863) и впоследствии активно развиваемая на протяжении всей жизни, получила в лингвистике название натуралистического направления (натурализма), потому что Шлейхер рассматривает язык как живой организм, природный объект: «Жизнь языка не отличается существенно от жизни всех других живых организмов – растений и животных» (Шлейхер 1864: 14). И метод, разработанный Дарвиным для исследования живых организмов и объяснения

их развития и происхождения, применяет к человеческим языкам. Шлейхер даже говорит о борьбе за существование среди языков. Повсеместное распространение индоевропейских языков, по мнению Шлейхера, объясняется тем, что они оказались лучше приспособленными к условиям естественного отбора, а например, особняком стоящий баскский язык – единственный представитель не выдержавшей конкуренции семьи языков.

Еще до Чарльза Дарвина биологи разработали классификации видов растений и животных (например, классификация Карла Линнея), но именно Дарвин впервые сформулировал идею исторического развития (эволюции) живых организмов. Шлейхер в своих ранних работах также предлагал классифицировать все языки в зависимости от строения слова – от морфологии, т.е. внутренней формы. Однако важнейшим этапом построения его теории явилось знакомство с дарвиновской идеей развития, эволюции видов живых организмов. Шлейхер с энтузиазмом применяет эту идею в языкознании: «Важность истории развития для понимания отдельного организма бесспорно признана всеми. История развития вошла сначала в зоологию и ботанику...» (Шлейхер 1864: 4). Историческое изменение языка, его эволюция позволяет объяснить устройство языка и пролить свет на самые ранние, недоступные для наблюдения периоды его развития. Применение идеи историзма в языкознании превращало описательную науку в объяснительную.

Шлейхер считает важным, что Дарвин говорит не об изменении конкретной особи, но об историческом развитии целого вида и рода живых существ. Аналогично Шлейхер выделяет среди родственных языков (языков одной семьи) роды (подгруппы языков) и виды (более мелкие деления): например, индоиранская подгруппа, которая объединяет индийские и иранские языки, или славяно-германская, в которую входят славянские и германские языки. Отдельные языки Шлейхер считает «детьми одного общего основного языка, из которого они произошли путем постепенного выделения» (Шлейхер 1864: 4). Как Дарвин, предложивший составлять «родословные классификации», Шлейхер также предлагает создать генеалогическую классификацию родственных языков, то есть объединить языки по

общему происхождению (по родству). Сформулированные выше взгляды Шлейхера на происхождение и развитие родственных языков он предлагает схематично изобразить в виде родословного древа индогерманских языков.

Шлейхер так комментирует свою схему: «Изображаемое нашим чертежом, можно бы словами выразить следующим образом: «В древнейшем периоде жизни человеческого рода существовал язык, первобытный индогерманский, который нам сделан известен с некоторою точностию из происшедших от него языков индогерманских. По истечении некоторого времени, в которое говорили этим первобытным языком целые ряды поколений, он, в различных областях населения, принимал постепенно различный характер, так что под конец, образовалось два языка... Каждый из этих языков подвергался еще, по несколько раз процессу разделения.

Одна ветвь, которую по дальнейшей ее исторической участи назовем славяно-германской опять разделилась посредством постепенного разделения (через продолжавшееся стремление к расхождению в признаках, говорит Дарвин) на немецкий и славяно-латышский, из которых первый есть праотец всех германских языков и их наречий, последний же стал праотцом славянских и литовских языков (балтийского, латышского).

Другой язык, развившийся путем разделения из индогерманского первобытного языка, арио-греко-итало-кельтский – да простят это длинное название – потом тоже разделился на два языка: из них один, греко-итало-кельтский, стал отцом греческого, албанского и того языка, из которого произошли кельтский и италийский, и который мы потому называем итало-кельтским; другой же - арийский язык образовал близко родственных праотцев индийского и иранского (персидского) племени языков...» (Шлейхер 1864: 7).

Далее Шлейхер поясняет, что языки близкие с точки зрения фонетики и морфологии, можно считать недавно отделенными

от их общего праязыка («коренного языка»), а чем больше языки отличаются друг от друга, тем раньше они должны были отделиться от общего языка, потому что их многочисленные отличия свидетельствуют о продолжительном индивидуальном развитии.

Особое внимание Шлейхер обращает на германо-славянскую ветвь. Эти языки, по мнению автора, первыми отделились от праязыка, очень долго развивались самостоятельно, в отрыве от других индоевропейских языков, поэтому получили наибольшее количество инноваций (особенностей фонетической и грамматической структуры).

Шлейхер поставил задачу, опираясь на сравнительную грамматику славянских языков и реконструированный праславянский язык, с одной стороны, и на литовский язык – как архаичный представитель балтийской семьи языков, с другой стороны, воссоздать общий славяно-балтийский праязык, на котором говорили предки славян и балтов.

Следующая ступень реконструкции – воссоздать на основе общего балто-славянского праязыка и прагерманского языка («коренного языка» для всех германских языков) общий прагермано-славянский язык, тот самый язык, на котором говорили предки славян и германцев.

Выполняя эти задачи, Шлейхер опубликовал в Записках Академии наук две статьи в рамках этого исследования. Первая работа **«Краткий очерк доисторической жизни северо-восточного отдела индо-германских языков»** посвящена описанию одной из трех подгрупп индоевропейских языков, занимавшие северо-восточную часть континента – это германская, славянская и балтийская ветви родословного древа.

Основываясь на утверждении, что «юго-западный отдел (греческий и итало-кельтский) сохранил древний вид лучше северо-восточного европейского» (Шлейхер 1865: 24). Шлейхер пытается восстановить картину последовательного отделения языков от языка-предка, т.е. проследить пути расселения древних индоевропейцев. Он пишет: «северные европейские языки нашего племени оказываются наиболее отличными от того, что можно признавать основною индо-германскою формою. Они больше

южно-европейских и азиатских языков обнаруживают в себе самостоятельного развития. Поэтому мы догадываемся, что первое разделение первобытного индо-европейского языка произошло таким образом: сперва отделилась в самостоятельный язык одна часть его, из которой впоследствии, посредством такого же процесса отделения, произошли известные северные европейские языки этого племени» (Шлейхер 1864: 47).

По мнению Шлейхера, германские, славянские и балтийские языки, отделившиеся самыми первыми от праязыка, демонстрируют наиболее тесные родственные связи, они «по своим родственным отношениям ближе друг к другу, чем к прочим языкам индо-германского племени» (Шлейхер 1864: 1).

Шлейхер не только считает допустимым существование общего предка у названных близко родственных языков, но и несколько не сомневается в его существовании. Он пишет: «такое соответствие в звуках, в грамматическом строе, в корнях, в стихиях образования тем и слов... нельзя объяснить ни заимствованием, ни случайным сходством, а можно только приписывать **общему их происхождению от одного и того же первобытного языка**» (Шлейхер 1864: 22-23).

Предлагая схематичное изображение развития славянских языков от общего праславянского языка, Шлейхер пишет: «Взаимные отношения между группами славянского языка ясно показывают, что их нельзя производить одну от другой, но что **все они происходят от одного общего отца**, который сам перешел в них: это **коренной славянский язык**. Из всех членов этой семьи язык старославянский (или старый церковно-славянский) есть самый старинный, наиболее сохранивший сходство со своим отцом... Итак, старославянский имеет для славянского языка такое же значение, какое готский для немецкой семьи языков и древнеиндийский для индогерманского племени» (Шлейхер 1864: 11).

А литовский, по мнению Шлейхера, сам представляет собой наиболее архаичную форму их известных балтийских языков. При сравнении литовского языка с древнимславянским становится очевидным близкое родство этих групп языков. По этому поводу Ш. пишет: «Славянский и литовский являются близнецами, которые составляют одно целое, отдельное от немецкого

– семью литво-славянскую... Но их сходство (литовского и славянского) тогда только является во всей своей силе, когда славянский возводится к древнейшему состоянию звуков, которое сохранилось именно в литовском» (Шлейхер 1864: 16).

Пытаясь подтвердить свои наблюдения практическим материалом, Шлейхер пишет вторую работу о ближайшем родстве балто-славяно-германских языков: **«Тэмы имен числительных (количественных и порядочных) в литво-славянском и немецком языках»**. Здесь он разбирает конкретный материал: количественные и порядковые числительные в индоевропейских языках и пытается доказать близость славянских, балтийских и германских языков, с одной стороны, и их отличия от других индоевропейских языков. Цель работы он формулирует так: «мы, главным образом, намерены показать, в какой степени и в именах числительных обнаруживаются родственные отношения славянского и литовского языков между собою и сродство их с немецким языком» (Шлейхер 1866, 2).

Шлейхер не случайно выбирает именно этот разряд слов: числительные издавна использовались лингвистами для доказательства родства языков как наиболее устойчивый и архаичный класс слов. Шлейхер надеется обнаружить богатую доказательную базу для своей гипотезы, однако его ожидания не подтверждаются так блестяще, как он рассчитывал. Возникают непредвиденные трудности: «Имя числительное, по крайней мере в отношении своих корней, представляет более или менее недоступный материал и нелегко поддается методическому, строго научному исследованию, которое прежде всего придерживается законов фонетики и никогда не позволяет себе нарушать их самовольно» (Шлейхер 1866, 1). Этимологический анализ простых числительных представляет огромную проблему, Шлейхер вынужден предлагать варианты происхождения некоторых слов и даже иногда признаваться в невозможности выяснения этимологии числительного.

Тем не менее ему удастся обнаружить подтверждение предполагаемой общности германских, славянских и балтийских языков: «Сходство всех северных европейских языков нашего племени в имени для 1000 имеет важное значение для древнейшей

истории этой группы индогерманского языка, которая вследствие общего обладания этим словом резко отделяется от обоих прочих отделов южно-европейского и арийского, и таким образом оказывается одним совокупным целым»(Шлейхер 1864: 43).

Итак, схема родословного древа индоевропейских языков наглядно изображала процесс их постепенного обособления, расхождения, а также демонстрировала степень родства языков (ближайшее и дальнейшее их родство). Используя эту схему, Шлейхер ставил и решал разнообразные теоретические вопросы: например, пытался доказать близость славянских и балтийских языков и реконструировать общий балто-славянский язык – тот язык, на котором говорили славяне и балты, когда они еще были одним племенем. Так же Шлейхер предполагал исследовать германские и славянские языки. Одна особенно интересными были попытки Шлейхера реконструировать общий индоевропейский праязык, который на рисунке изображен в виде ствола дерева. Это язык, на котором, по мнению Шлейхера, говорили предки индоевропейских народов до первого разделения языков.

Не является ли этот гипотетически существовавший язык плодом нашего воображения, ведь мы не можем его наблюдать, а только реально наблюдаемый факт должен быть предметом научного исследования? Здесь Шлейхер ссылается на биологию, которая предложила научный метод реконструкции целого организма давно вымершего животного по фрагментам его скелета. Так и в языкознании возможна реконструкция ныне не существующего языка на основании выяснения закономерностей развития мертвых и живых языков.

Используя достижения современной ему романистики – «твердой и верной основы для наблюдения», Шлейхер настаивает на том, что сравнивая современные романские языки и выясняя законы их развития, мы можем воссоздать латинский язык (или ту его форму, из которой развивались романские языки). Результат этой реконструкции мы можем проверить, потому что историческое изменение романских языков зафиксировано в многочисленных памятниках письменности. Но этот же метод,

считает Шлейхер, «мы имеем право распространять и на другие племена языков, у которых не достает подобных памятников их прежних форм» (Шлейхер 1865: 8-9). То есть мы можем воспользоваться этим проверенным методом для реконструкции гипотетически существовавшего языка. Говоря современным языком, Шлейхер впервые использовал в компаративистике метод экстраполяции.

С огромным энтузиазмом восторженный Шлейхер применил в языкознании идею Дарвина о законах, по которым развивается окружающий мир. Рассматривая бесконечное многообразие видов живых организмов, Дарвин впервые формулирует принцип закономерного изменения органического мира: «Любопытно созерцать густо заросший берег, покрытый многочисленными, разнообразными растениями; с птицами, поющими в кустах, с порхающими вокруг насекомыми, с червями, ползающими в сырой земле; и думать, что все эти прекрасно построенные формы, столь различные одна от другой и так сложно зависящие друг от друга, были созданы благодаря **законам**, еще и теперь действующим вокруг нас» (Дарвин: 1935, 591).

Шлейхер убежден: «**законы**, установленные Дарвином для видов животных и растений, применимы, по крайней мере в главных чертах своих, и к организмам языков...

» (Шлейхер 1865: 5). Задача ученого – выявить и описать эти законы, потому что только тогда мы сможем правильно понять строение и эволюцию языков. «Наблюдение показывает, что все **живые организмы... изменяются по известным законам**. Эти изменения организмов (их жизнь) составляют настоящую их сущность; мы понимаем их только тогда, когда знаем сумму этих изменений, когда знаем всю историю их бытия. Другими словами, если мы о чем-нибудь не знаем, как оно образовалось, то и не понимаем его» (Шлейхер 1865: 4).

Итак, понять явление можно лишь проследив процесс его становления и исторического развития на фоне соседних явлений, то есть представив широкий лингвистический контекст. Стремление рассматривать языковые явления в их взаимной связи и обусловленности всегда было основным принципом Шлейхера.

Чем бы он ни занимался, всегда первоочередной задачей исследования было стремление к обобщению и систематизации фактов, попытка обозреть как можно большее количество языков как бы с высоты птичьего полета и выявить общие принципы их строения и закономерности развития.

Чтобы выяснить законы развития языков, Шлейхер активно использует сравнение языков с организмами животных и растений. Он считает, что общий закон развития организмов, сформулированный Дарвиным, можно применить и к языку. Язык, как живой организм, проходит в своем развитии **«период роста от простейших структур к более сложным формам и период старения**, в который языки все более и более отдаляются от достигнутой наивысшей степени развития и их формы терпят ущерб» (Шлейхер 1865: 4).

Какова самая простейшая структура языка, тот исходный элемент, с которого начинается постепенное и непрерывное языковое развитие? Отвечая на этот вопрос, Шлейхер опять ссылается на Дарвина: «Общим началом всех живых организмов, по его (Дарвина) теории, необходимо оказывается **простая клеточка**, из которой, в течение очень продолжительных промежутков времени, развилось все обилие еще существующих или уже исчезнувших живых существ; эту простейшую форму жизни мы, впрочем, находим еще и теперь в организмах, остановившихся на низшей степени развития, и в первоначальном, эмбриональном состоянии даже высших существ» (Шлейхер 1865: 3).

Проводя аналогию между языком и живым организмом, Шлейхер говорит о том, что **корень** слова соответствует **клеточке живого организма**. Он пишет: «...я могу назвать корни простыми клеточками языка, у которых для грамматических функций, каковы имя, глагол и т.д. нет еще особых органов и у которых сами эти функции (грамматические отношения) столь же мало различны, как например, у одноклеточных организмов или в зародышном пузырьке высших живых существ – дыхание и пищеварение» (Шлейхер 1865: 12).

Пытаясь выявить общие закономерности развития языков, Шлейхер выделяет языковые стадии (причем каждую стадию сравнивает с формами эволюции живых организмов). Он пишет:

«о древнейших периодах жизни, о образовании языка свидетельствует нам его **строение**, рассматривание которого в языках высшей организации **значительно уясняется сравнением с простейшими организмами языков...**» (Шлейхер 1865: 2).

Шлейхер использует типологическую классификацию языков, разработанную братьями Шлегель, однако вводит в эту классификацию идею эволюции человеческого языка (как известно, Фридрих Шлегель считал, что язык не может менять свой тип: флективные языки - языки совершенного строения, были объявлены языками божественного происхождения, а аффиксирующие вели начало от нечленораздельных выкриков животных). следует мнению Гумбольдта о том, что формирование языковых классов относится к доисторической эпохе, недоступной нашему наблюдению. В этот период развитие человеческих языков происходило как движение от простого к сложному. Самым простым типом считался первый класс языков – моносиллабические (аморфные), далее агглютинативные и, наконец, вершина развития грамматического строя – флективные языки. Максимальной грамматической сложности, по мнению Гумбольдта и Шлейхера, достигли древние индоевропейские языки – греческий и санскрит – вершина развития языкового организма.

Итак, Шлейхер разделяет все языки мира на три группы (типа) в зависимости от их внутреннего строения:

- (1) На начальной стадии развития в языке еще не развились грамматические формы, имелись лишь нечленимые и неизменяемые корни, состоящие из одного слога. Такая структура **моносиллабического** языка (Einsyllbige Sprachklasse) сохранилась в китайском языке, ей соответствует в биологии **одноклеточный живой организм**.
- (2) На второй стадии к неизменяемым корням стали присоединяться другие корни, выражающие отношения. Этому **агглютинативному** (Agglutinirende Sprachklasse) «присоединяющему» типу в биологии соответствуют растения, грибы и **простейшие многоклеточные животные**. Такими языками являются тюркские, монгольский, финский и др.

- (3) На третьей, высшей, стадии языкового развития грамматические показатели слились с корнем, который сам получил возможность изменяться для выражения разнообразных грамматических значений. Этот **флективный** тип (*Flectirende Sprachklasse*) языка, лучше всего представленный в древнегреческом и санскрите, соответствует в биологии **высшим многоклеточным организмам**.

Моносиллабические языки остановились в своем развитии на самой первой ступени, они демонстрируют архаичный языковой тип. Из них в результате длительной эволюции получились агглютинативные, некоторые из которых, по мнению Шлейхера, остановились, на этом промежуточном этапе, но другие языки продолжили развитие и превратились во флективные языки. Однако современные языки не смогли сохранить совершенный грамматический тип, их старение, обусловленное, по мнению Шлейхера, порчей и деградацией языка, в конечном счете, приведет языки к гибели. Наиболее близким к разрушению Шлейхер считает современный английский язык. Описывая деградацию языка, Шлейхер опять прибегает к «биологической метафоре». «В позднейшие периоды языков, первоначальные суффиксы, вследствие наступающей порчи звуков, нередко исчезают: для существа языка это имеет почти такое же значение, как для растений потеря листьев зимою» (Шлейхер 1865: 27).

Таким образом, подобно тому, как все организмы имеют клеточное строение, во всех языках мира мы можем обнаружить исходных элемент – **корень**. Все языки, как бы они ни отличались друг от друга, имеют общие принципы строения: у них одна и та же исходная форма.

Для схематичного изображения строения слова в языках Шлейхер предлагает использовать «род алгебраических знаков»: корень можно обозначить как R (*radix*), один или несколько суффиксов (постфиксов) - s, префиксы (приставки перед словом) - p, инфиксы (вставки) – i (Шлейхер 1865: 27).

В языках первого типа (изолирующих) слово состоит из одного неизменяемого корня - R. Эти языки, как одноклеточные животные, представляют самую примитивную (по Шлейхеру) форму языкового развития. Корень в этих языках не изменяется, к нему не присоединяются аффиксальные морфемы. Шлейхер пишет: «простейшая форма, с которой начались все языки на земле: простейший, неизменяемый, знаменательный звук, корень, в начальном периоде жизни языков, есть вместе слово, как это доныне видим мы например, в китайском» (Шлейхер 1865: 28-29).

Далее эта форма слова развивалась и усложнялась следующим образом. К простому корню присоединялся другой простой корень, который придавал первому корню различные характеристики (в том числе и грамматические). Связь этих морфем с течением времени становится все более тесной, таким образом «через постепенное и постепенно отвердевавшее прирастание корней, первоначально самостоятельных и имевших общее значение, к предшествующим корням конкретного значения для ближайшего их определения, развилась форма слова Rs» (Шлейхер 1865: 28-29). Шлейхер поддерживает столь популярную в первой половине XIX века теорию о происхождении аффиксов из самостоятельных слов-корней: «в суффиксах с полной достоверностью узнаются первобытные самостоятельные корни, которые лишь с течением времени приросли к другим корням. Выражаясь морфологически, форма слова Rs указывает на древнейшую, в которой s было отдельным словом, следовательно, также корнем – R» (Шлейхер 1865: 28-29).

Отдельные корни первоначально просто примыкают друг к другу, затем возникает их более тесное присоединение, однако граница между морфемами («морфемный шов») всегда хорошо прослеживается. Такую морфемную структуру Шлейхер обнаруживает «в финском, татарском, монгольском, тунгусском и дравидском (дравидском)... Видно, что по всем этим языкам проведен один и тот же морфологический тип (Rs) » (Шлейхер 1865: 27).

Дальнейшее развитие языковой формы Rs, на которой остановились многие азиатские языки, проявляется в более тесном присоединении аффиксов к корню: «Эти корни, первоначально

стоящие один возле другого порознь, с течением времени все плотнее сливаются друг с другом... Из *ima*, *ita* сделалось *ima*, *ita* потом с ослаблением звука в служебном корне *imiiti*; из *vark-a*, к которому присовокупились еще другие стихии для ближайшего определения, как например, указательный корень *sa* для обозначения именительного единственного, - стало быть из *vark-a-sa* вышло *varkasa*, потом *varkas* (*lupus*), из *gagama* «идти идти я» - *gagama*, *gagami*» (Шлейхер 1865: 32).

Качественно новый этап в развитии слова, по мнению Шлейхера, представляет усложнение самого корня, которое проявилось в способности корня изменяться для выражения различных отношений (в том числе и грамматических значений). «Кроме слияния корней в одно слово, наконец, явилась еще их способность правильным образом изменяться (в индогерманском эта изменяемость состоит в подъеме коренной гласной через присовокупление самой общей гласной *a* к гласной корней), чтобы таким образом выражать отношения не только придаточными стихиями, но и в самом корне. Эту правильную переменную корней для выражения отношений мы называем **флексией**... Флексией индо-германский язык достиг самой высшей степени своего морфологического образования: он стал флексивным» (Шлейхер 1865: 33). И далее: «В этой способности корней выражать не только значения, но и **отношения**, обнаруживается высшая степень совершенства, какой только может достигать форма языка вообще. Этим высоким совершенством формы, кроме индогерманских языков, обладают еще, сколько нам известно, только семитические, имеющие, впрочем, совсем иное строение» (Шлейхер 1865: 26).

Для индогерманских языков Шлейхер предлагает первоначально одну форму: « **$R^x s$** , или говоря словами, **правильно измененный корень с одним или несколькими суффиксами**, например, *вез-е-тъ*, *воз-и-тъ*» (Шлейхер 1865: 27). А для семитских языков Шлейхер предлагает формулу pR^x , поскольку в этих языках много префиксов.

Предлагая картину развития языков мира по принципу «от простого – к сложному» Шлейхер пытался создать «объяснительную», истинно научную грамматику языков, которая возводит все языки мира к первоначальному элементу – корню. Шлейхер приводит пример: слав. СЛОВ-Е-ТЬ в первобытном индо-германском *krav-a-ti*, т.е. $R^x s$ (в точнейшем выражении $R^x ss$), разлагается на *kru-a-ta*, т.е. на $R+R+R$, и такой вид должно было иметь это слово в самое первобытное время, когда индо-германский язык был развит не выше китайского (Шлейхер 1865: 30).

Стадиальные идеи Шлейхера были отвергнуты последующим развитием науки, однако именно они позволили заложить основы для разработки теории стадиальных трансформаций морфологических типов. Впервые сформулированная Шлейхером гипотеза стадиального развития языков остается и сегодня одной из самых интригующих проблем современного языкознания.

Спустя много лет, оценивая свой вклад в развитие языкознания как науки, главной своей заслугой Шлейхер считает обособление языкознания в качестве особой научной дисциплины. Именно он впервые четко противопоставляет языкознание (глоттику) и филологию, которые, по его мнению, имеют разный предмет исследования, задачи и методы. Предметом языкознания является **язык**, его **строение и история**, **метод исследования – естественнонаучный** (как в биологии), поскольку язык представляет собой организм, похожий на растение или животное. Тогда как предметом филологии будут тексты, изучаемые в широком культурно-историческом контексте. Поскольку филология пользуется методом гуманитарных наук, филологические исследования неизбежно будут субъективными и лишенными необходимой для истинной науки точности.

Шлейхер, таким образом, пытался включить языкознание в сферу естественных наук, поставить глоттику (языкознание) в один ряд с такими науками, как биология, математика и др. Естественнонаучный метод должен был привести лингвистов к новым великим открытиям. Шлейхер писал: «При тех испытанных

средствах, какие имеет ныне языкознание в своем методе, мы надеемся, что нам удастся некогда представить наш предмет в строгой обработке... Методическое языкознание..., до сих пор успело так много и такими верными результатами расширить круг человеческого знания, что мы можем с радостною уверенностью ожидать дальнейшего развития нашей науки, не опасаясь преувеличения своих на нее надежд» (Шлейхер 1865: 64).

Великий систематизатор и теоретик языкознания, Август Шлейхер стремился найти общие закономерности строения и развития разных языков мира, мечтал представить грандиозную картину последовательного формирования человеческих языков. Шлейхер последовательно и настойчиво пытался применить эволюционную теорию Дарвина в языкознании, восхищенный и воодушевленный словами гениального биолога: «Есть величие в этом воззрении на жизнь с ее различными силами, изначально вложенными творцом в одну или незначительное число форм; и между тем как наша планета продолжает описывать в пространстве свой путь согласно неизменным законам тяготения, из такого простого начала возникали и продолжают возникать формы, изумительно совершенные и прекрасные» (Дарвин 1935: 591).

Литература

Дарвин Ч. «Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение избранных пород в борьбе за существование». Пер. К.А.Тимирязева. М.-Л. 1935.

Шлейхер А. Краткий очерк доисторической жизни северо-восточного отдела индо-германских языков //Записки императорской Академии наук. Т.8. кн. 1. Спб. 1865.

Шлейхер А. Теория Дарвина в применении к науке о языке. Публичное послание доктору Эрнсту Генкелю, э.о. профессору зоологии и директору зоологического музея при Йенском университете. Спб. 1864.

Шлейхер А. Тэмы имен числительных (количественных и порядочных) в литво-славянском и немецком языках //Записки императорской Академии наук. Т. 10, № 2. Спб. 1866.

ОТНОШЕНИЕ ДРЕВНИХ ГЕРМАНЦЕВ К МЕГАЛИТАМ ПО ДАННЫМ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ

Н. А. ГАНИНА

Мегалиты в Европе датируются эпохой после 3000 г. до н.э., период расцвета приходится на 2400-2300 гг. до н.э. (ср.: Лебедев 2005, 73), более широкие датировки: от 4500 г. до н.э. в Бретани до 800 г. до н.э. на Сардинии). В Португалии, Бретани, на Британских островах и на островах южной Балтики (Рюген) мегалитические постройки относятся к неолиту, в остальных областях Европы – в основном к энеолиту и бронзовому веку. Достоверно можно констатировать связь мегалитов с приморской зоной и одновременность сооружения этих построек. Соотнесение мегалитической культуры с каким-либо этносом невозможно ввиду проблемного статуса вопроса об этносе и этногенезе в эпоху неолита, а сопоставления зоны распространения мегалитов с картой гаплогрупп Европы, сами по себе интересные, оказываются неverifiedируемыми ввиду значительной протяженности мегалитической традиции в пространстве и времени. В любом случае, по данным индоевропейской археологии (ср. труды Е. А. Кузьминой) можно заключить, что мегалиты не относятся к знаковым атрибутам культуры древних индоевропейцев (колесница, конь, культ огня, солярные знаки, курган). Известны, однако, факты сооружения курганов бронзового века и захоронений железного века на Южной Балтике (о. Рюген: Нипмеров, Ланкен Границ, Ноббин) непосредственно над мегалитами или при мегалитах в качестве продолжения древнейшего погребального комплекса (Schuldt 1972, 36, Schmidt 2001, 16). Насыпание курганов в приморской зоне, имеющее эксплицитное обоснование в эпической традиции индоевропейцев (II. III, 85-91, Вео. 2802-2808), также соответствует основной тенденции

расположения мегалитических построек. В Скандинавии (средняя и южная Швеция, Ютландия) традицию мегалитов продолжают ладьевидные каменные кладки, связываемые археологами с инфильтрацией древнескандинавского населения в среду древнейшего населения Северной Европы (Лебедев 2005, 81).

На территориях, в историческую эпоху заселенных древними германцами, расположено значительное количество мегалитов. В северной Германии (Северный Рейн-Вестфалия, Бранденбург, Ангальт-Саксония, Мекленбург – Передняя Померания) их свыше 900, причем на Рюгене, острове площадью 926 км², еще в 1829 г. насчитывалось 236 мегалитов (карта Фридриха фон Хагенова), а в настоящее время сохранилось 55. В Дании имелось более 5000 мегалитов, ныне осталось около 2060 (около ¼ сосредоточено в западных областях Зеландии: 317 в Хольбеке, 245 в Сорё). В Швеции находится более 450 мегалитов, ранее около 650. В Норвегии мегалиты представлены преимущественно каменными кругами. Мегалиты Британских островов наиболее вариативны по своей типологии и представляют интерес не столько в количественном плане, сколько благодаря историко-культурному значению построек (Мейсхоу на Оркнейских островах, Стоунхендж, Эйвбери, мегалиты Корнуолла, Уэльса, Ирландии).

Вопрос об отношении древних германцев к мегалитам до сих пор не ставился, поскольку археологи оперируют фактами материальной культуры без обращения к языковой и культурной традиции, а для филологов, как правило, представляют интерес лишь те археологические данные, которые имеют непосредственное отношение к носителям языка. Однако ввиду широкого распространения мегалитов на германской территории и определенной археологической преемственности этот вопрос заслуживает исследования.

В древнегерманских языках представлены слова с синкретическим значением ‘куча камней, жертвенник, каменный алтарь’: др.-исл. *hörgg* (м.р.-у) ‘куча камней, жертвенник, каменный алтарь’, др.-швед. *hargher* ‘жертвенник, место жертвоприношений’, швед. диал. *harg, horg, horv* ‘куча камней’ (англ. диал. *hugrock* ‘куча камней’ является скандинавским заимствованием),

др.-англ. *hearg* ‘языческое святилище’, нидерл. *Hargen* (топоним), др.-верх.-нем. *harug*, *haruh* ‘священный камень, жертвенник, место жертвоприношений’. Я. де Фрис со ссылкой на предшествующих авторов указывает, что германская и-основа может свидетельствовать о сакральной принадлежности слова (de Vries 1961, 281).

Д.-и. *hörg* означает в текстах ‘языческое святилище из камней’, что особо оговаривается в словаре Клисби/Гудбранда Вигфуссона (Cleasby/Gudbrand Vigfusson 1957, 311), где для толкования неоднократно используется слово *saín* ‘кэрн, священное сооружение из камней’, хотя это не означает для исследователей тождества скандинавской и кельтской реалий. На то, что *hörg* был именно древним сооружением из камней, а не ‘языческим святилищем вообще’, указывает употребление слова в устойчивой формуле: *brjóta hörga* ‘ломать *hörga* (мн.ч.)’ в отличие от *brenna hof* ‘жечь языческие святилища-постройки’. Святилище *hörg* располагалось на высоких местах и часто было связано с курганом (*haugr*) и было посвящено древнейшим женским божествам – *disir* (ibid.). Это соответствует археологическим данным о расположении мегалитических построек на местности и преемственности традиции этих культово-погребальных комплексов. Дисы (этимология неясна) представляют собой безличное собирательное множество и связаны, как и все древнейшие германские хтонические божества, с культом плодородия, то есть с архаическим периодом древнегерманской мифологии, вероятно, восходящим еще к бронзовому и железному веку. В «Песни о Хюндле» эксплицитно подчеркивается архаический характер культа *hörg* и связь такой сакральной постройки с женскими божествами. Фрейя говорит: *Hörg hann mér gerði hlaðinn steinum... // rauð hann í nýju nauta blóði // æ trúði Óttarr á ásynjur* (Hyndl. 10) ‘*hörg* он мне сделал, сложенный из камней... // обогрил его внове скота кровью, древле верил Оттар в асиний’ (пер. Н. Г.) Судя по тому, что основа *hörg(a)*- представлена как в норвежских, так и в исландских топонимах (см. (Cleasby/Gudbrand Vigfusson 1957, 311)), сооружение каменных святилищ представляло собой продолжающуюся традицию, и *hörg* в определенных условиях мог уже выглядеть как рукотворная груда камней типа кэрна, ибо в

Исландии, в отличие от Норвегии, мегалитов не было. Но размеры древнегерманского **harǫuz*, на что указывают как древнеанглийские данные об особом жертвеннике внутри святилища *hearg* (см. ниже), так и сведения Ивара Осена о том, что в провинциальной Норвегии XIX в. слово *hog* употреблялось в значении ‘гора особой формы, похожая на храм’ (*ibid.*).

Д.-а. *hearg* (*hearh*, *hearch*, *herh*, м.р., мн.ч. *hearga* ж.р.) в текстах означает ‘языческое святилище’ в самом широком смысле, в переводной прозе и глоссах выступает в качестве эквивалента целого ряда латинских слов, обозначающих языческие святыни – *fanum* ‘святыня, святилище’, *templum* ‘храм’, *delubrum* ‘храм, святилище’, *idola* (мн.ч.) ‘идолы’, *simulacra* ‘изваяния идолов’, *sacelli* ‘небольшие святилища’ и даже *Lupercal* ‘Луперкал – пещера у подошвы Палатинского холма в Риме, посвященная Пану Ликейскому’ и *Capitolium* ‘Капитолий, Капитолийский холм’, причем последнее с учетом корреляции лат. *caput* – да. *hēafod* ‘голова’ передается словосочетанием *þæs heáfodlican hearges* ‘того главного *hearg*’ (Bosworth/Toller 1976, 522). Весь этот спектр значений, включая кажущиеся противоречия (‘пещера’ или ‘возвышенное место’?), объединяется синкретической семантикой о/г **harǫuz*.

В древнеанглийском основа *hearg*- также выступает в качестве первого компонента в эпических композитах и второго – в топонимах: *hearg-træf* (*hearg-traf*) от *træf* ср.п. ‘шатер, палатка’ (Beo. 175; ср. наименование уральских мегалитов в урочище Шарташ под Екатеринбургом: Каменные Палатки), *herig-weard* ‘страж (языческого) святилища’ (Andr. 2249), *Besingahearh* букв. ‘*hearg* потомков/людей Безы’, *Gumeningaherg* ‘*hearg* потомков/людей Гумы’. В «Беовульфе», записанном уже в христианскую эпоху, говорится, что в таких святилищах совершались языческие (*haēpenra hyht* ‘надежда язычников’, Beo. 179) умиловительные жертвы против внезапной напасти – а именно, при дворе Хродгара с тех пор, как Грендель стал похищать людей: *hwīlum hie gehēton æt hægtrafum wīgweorþunga, wordum bædon þæt him gāstbona gēoce gefremede wið þēodfrēaum* ‘временами они велели под кровом/сенью *hearg* совершать почитание святынь, словами просили то, в чем им духоубийца [= диавол] помощь оказывал

против нужды народа' (Вео. 175-178, пер. Н. Г.). Далее следует длинное обличение языческих нравов, показывающее, что подобные жертвоприношения были актуальны и для христианской аудитории «Беовульфа».

Указанные древнеанглийские топонимы с компонентом *-hearg* поддаются локализации. *Besingahearth* находился неподалеку от Фарнема (*Farnham*) в Сэррее. Обращение к карте Британии показало, что близ Фарнема, в местечке *Badshot Lea*, до настоящего времени сохранились мегалитические постройки, хотя неизвестно, являются ли *Besingahearth* и *Badshot Lea* обозначениями одного и того же урочища. Древнеанглийский *Gumeningaherg* ныне входит в состав Большого Лондона (северо-запад) и называется *Naugow on the Hill* букв. 'Харроу на холме' (это место известно благодаря элитному учебному заведению Харроу). Возвышенность *Naugow Hill* букв. 'святилищный холм' составляет 124 м, явных следов языческого святилища там нет. Старейший храм Харроу – церковь Пресв. Богородицы – была построена в романскую эпоху (1087 г.), но есть все основания предполагать, что в Харроу и до этого была церковь, поскольку с 875 г. архиепископ Кентерберийский стал хозяином поместья Харроу, до этого принадлежавшего королю (Ali 2007). Церкви в Британии по рекомендации св. папы римского Григория Великого и свидетельству Беды Достопочтенного строились в привычных для народа местах языческого культа. Сам топоним *Naugow* является прямым продолжением да. *hearg* (что не отмечено в словаре Я. де Фриса и Ю. Покорного), и поиск аналогичных топонимов на карте Британии приводит к интересным результатам: в Западном Сассексе есть урочище *Naugow Hill*, в котором находятся неолитические кремневые рудники.

Д.-в.-н. *harug* передает в глоссах те же латинские слова, что и да. *hearg*: *delubrum* 'храм, святилище', *fanum* 'святыня, святилище', а также *aga* 'алтарь' (в древнеанглийском лат. *aga* передает более специализированным *wigbed* 'алтарь, жертвенник' при *hearg* 'святилище в целом'), *lucus* 'роща', *nemus* 'роща'. Однако двн. *harug* ни по этимологии, ни по семантике не относится к обозначениям рощи, леса, и предлагаемый в словарях Босворта/Толлера и Кёблера перевод да. *hearg*, двн. *harug* 'роща' (*grove*,

Hain) представляет собой вторичное толкование с опорой на материал глосс.

Особенно показательно на этом фоне д.-в.-н. *harahus* < **harug-hus* ‘каменный круг вокруг могилы’ (de Vries 1961, 281), ‘место, где приносилась клятва’ (Köbler 1993, 171). Рассмотренные факты позволяют реконструировать общегерманское обозначение мегалита: **haɣɫuz* и интерпретацию данной археологической реалии как древнего сакрального места, предназначенного для жертвоприношений.

О/г **haɣɫuz* сопоставляется с др.-ирл. *caɲ* ‘рукотворная куча камней, кэрн’ (de Vries 1961, 281), заимствованным в современный английский язык в форме множественного числа *caɲn*. Однако в таком случае остается неясным исход корня. Ю. Покорный справедливо относит о/г **haɣɫuz* к широкому кругу производных и.-е. **kar-* ‘твердый, прочный’ (Pokorny 1959, 531) – ср. гот. *hardus* ‘твердый, прочный’ и другие германские параллели, др.-инд. *karkara-* ‘грубый, прочный’ (с редупликацией), *kárkaṭas* ‘краб’, греч. *κιρκίως* ‘краб’, лат. *carcer* ‘ограда’, *cancer* ‘рак’ (с диссимиляцией), др.-ирл. *caɲas* ‘скала, утес’ и в этой связи *caɲ* ‘кэрн’ (Pokorny 1959, 531-532, Walde/Hoffmann 1938, 151, 166, 168, Lehmann 1986, 177). К этому же этимологическому гнезду следует отнести топоним *Caɲas* в Бретани (брет. *Karnag*) – название местности (коммуны), где располагается одно из крупнейших полей менгиров во всем мире.

Индоевропейский этимон о/г **haɣɫuz* следует восстанавливать в виде **kark-u-s* с учетом закона Вернера и постулирования древней *u*-основы. Ближайшие параллели обнаруживаются в кельтских языках: др.-ирл. *caɲas* ‘скала, утес’, др.-кимр. *caɲess*, кимр. *caɲteg* ‘камень, утес’, корн. *caɲtes*, брет. *karreg* (< **karrikā*). Соответственно, древнегерманское обозначение ‘мегалита’ представляет собой германо-кельтскую изоглоссу со значением ‘камень, скала’, ‘культовое сооружение из камня’, по всей очевидности, представляющую собой результат специфического развития индоевропейской основы в кельто-германском ареале при обычном в таких случаях влиянии кельтского на германский.

Заимствование из кельтского менее вероятно, так как в общегерманском имеются и другие продолжения и.-е. **ka-* ‘твёрдый’ (гот. *hardus* и др.), хотя исключить такую возможность тоже нельзя. Этот случай аналогичен проблеме соотношения германского и кельтского обозначения клятвы (гот. *aīps* // др.-ирл. *oeth*), где мы имеем либо специфическое ареальное развитие и.-е. **oitos* ‘судьба, рок’ под кельтским влиянием, либо раннее заимствование из кельтского в германский в рамках социальной и правовой терминологии.

Интересно, что о/г **haŋuiz* не имеет прямого морфологического прототипа в кельтском, по своей структуре относится к древнейшему классу активов и, соответственно, не является собирательным обозначением инактивной ‘кучи камней’ (тогда бы это существительное относилось в общегерманском к среднему роду).

В эддическом «Прорицании вёльвы» сооружение *hörggr* приписывается богам — асам и является актом первичного обустройства сакрального пространства и всего мира: *Hittusk æsir á Íðavelli, þeir er hörg ok hof hátimbruðu* ‘встретились асы на Идавелле, там построили святилище и жилище’ (пер. Н. Г.)

Позитивное и почтительное отношение древних германцев к мегалитам объясняет такие археологические факты, как позднейшие захоронения в исконных мегалитических гробницах, жертвоприношения у мегалитов (монета эпохи викингов, Ноббин, Рюген) и начертание рун в мегалитической гробнице (руны Мейсхоу, эпоха викингов).

В позднейшую эпоху старое германское обозначение мегалита утрачивается ввиду характерного для германских языков «износа» древней индоевропейской лексемы и ухода языческой традиции в прошлое. В фольклоре германских народов мегалит обозначается нейтральным словом со значением ‘камень’ (нем. *Stein*, англ. *stone*) и осознается как местопребывание мифических существ (ниж.-нем. *witte wiver* ‘вещие жены’ или ‘белые жены’, англ. *fairies* ‘феи, сверхъестественные существа’) и место входа в иной мир.

Литература

Кузьмина Е. Е. Арии – путь на юг. М., 2008.

Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси. СПб, 2005.

Ali A. Skeleton find could rewrite church history // This is local London. 14.02.2007 [http://www.thisislocallondon.co.uk/news/topstories/1189931.-skeleton_find_could_rewrite_church_history/]

Bosworth J., Toller T.N. An Anglo-Saxon Dictionary based on the Manuscript Collections of Joseph Bosworth / Ed. and enlarged by T.N. Toller. Oxford, 1976 [<http://bosworth.ff.cuni.cz/>].

Cleasby R., Gudbrand Vigfusson. An Icelandic-English Dictionary. / Initiated by R. Cleasby; rev., enlarg. and compl. by Gudbrand Vigfusson. Oxford, 1957.

Köbler G. Althochdeutsches Wörterbuch. 4. Aufl. [s.l.], 1993.

Kuzmina E. The Origin of Indo-Iranians. Leiden/Boston, 2007.

Lehmann W. P. A Gothic Etymological Dictionary. Based on the 3d ed. of Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache by Sigmund Feist. Leiden, 1986.

Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern/München, 1959.

Schmidt I. Hünengrab und Opferstein. Rostock, 2001.

Schuldt E. Die Großsteingräber von Lancken Granitz auf der Insel Rügen // Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1971. Berlin, 1972. S. 9-83.

Vries J. de. Altnordisches etymologisches Wörterbuch. Leiden, 1961.

Walde A., Hoffmann J. B. Lateinisches etymologisches Wörterbuch. Bd 1. Heidelberg, 1938.

ИЗУЧЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИЗОГЛОСС ЗАПАДНОГО КОНТИНУУМА ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ДИАЛЕКТОВ И ПРОБЛЕМА КЕЛЬТО-ИТАЛИЙСКИХ ДРЕВНИХ ДИАЛЕКТАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

Е. А. ГЛЕБОВА

Соответствия между фактами италийских и кельтских языков легли в основу теории «итало-кельтского единства», выдвинутой в 1861г. К. Лоттнером (Lottner 1861). Сторонники этой теории видели в италийско-кельтских параллелях «черты древнего общеиндоевропейского состояния, сохранившиеся на окраинах территории, занятой индоевропейскими языками, но утерянного в ее центральной части» (Тронский 1960: 34). Было установлено, что италийские и кельтские языки, не образуя специфического единства, характеризуются рядом общих признаков (Мейе 1938: 96, 417 – 419; Meillet 1950: 31-39), как фонетических, так и морфологических, относящихся к спряжению. Но при дальнейшем изучении индоевропейских языков было выявлено, что ряд аналогичных явлений сохранился в хеттском и тохарском, то есть на восточной окраине индоевропейского языкового ареала. Это послужило основанием для предположения не об инновациях в языках «итало-кельтского единства», а о сохранении архаических элементов (Тронский 1953: 47; Watkins 1966: 23-50) итало-кельтского ареала в виде общности диалектов.

Согласно гипотезе итальянской неолингвистической школы, в основе воззрений которой лежали положения теории И. Шмидта и которой придерживались А. Мейе и Х. Педерсен (Макаев 1964: 6), индоевропейские языки разделялись на центральные (греческий, балто-славянские, армянский и германские) и маргинальные (индийские, хеттский, кельтские и италийские).

Вопрос о месте в этой классификации италийских языков уже в середине XX в. был предметом дискуссий. В соответствии с

теорией итальянской неолингвистической школы (Devoto 1936: 5; Meillet 1933: 39) оскско-умбрские языки, имеющие ряд общих изоглосс с греческим, следовало относить, в отличие от близкородственной им латыни, к центральным.

Г.Р. Зольта указывал в своей работе ряд исследований, авторы которых разделяют взгляды Д. Девото на древность различий индоевропейских языков и на их позднейшее сходство (Solta 1974: 16; Beeler 1952: 435-443; Beeler 1966: 51-58; Lohmann 1953: 169-217; Pulgram 1958: 220).

Спорным считалось также и положение о том, что маргинальные индоевропейские языки (в том числе итальянские и кельтские) сохраняют ряд архаических черт, в то время как для центральных характерен ряд новообразований.

А. Мейе, разделявший эту точку зрения, подчеркивал архаичность итальянских и кельтских языков (Meillet 1933: 24f) и утверждал, что «если есть группа диалектов, доистория которых позволяет сблизать их с итальянскими, то это кельтские диалекты» (Мейе 1938: 96; Solta 1974: 11f). Для определенного периода развития индоевропейской языковой семьи А. Мейе устанавливал наличие итальянского, итало-кельтского языкового состояния (Макаев 1964: 7, Мейе 1938: 96): «Итальянские и кельтские языки представляют собой один и тот же индоевропейский диалект, и отделились они от общеиндоевропейского праязыка, должно быть, одновременно и очень давно, конечно, раньше германских и греческого. Потом они разделились, чем и объясняется их расхождение во многих отношениях, и это несмотря на вероятную общность их исходного состояния» (Мейе 1938, 96).

При всем различии взглядов на итало-кельтскую языковую общность большинство исследователей утверждало, что в значительной степени эта общность могла проявиться в структуре грамматики итальянских и кельтских языков и в особенности в структуре глагола, сохранившей ряд древних черт, в частности слияние аориста и перфекта в единую категорию претерита (Мейе 1938: 98; Meillet 1933: 33; Meillet 1950: 331; Watkins 1966: 39-43).

В предисловии ко второму изданию монографии А. Мейе об индоевропейских диалектах подчеркивалось «наличие совокупности инноваций, объединяющих германские, итальянские и кельтские языки и противопоставляющих их остальному индоевропейскому ареалу» (Мейе 1938: 96, Макаев 1964: 8). Тем самым обосновывалось выделение северо-западного ареала индоевропейской языковой общности.

В. Порциг в монографии о членении индоевропейской языковой общности (Porzig 1954: 99 – 105 - “Italisch und Keltisch”) относил к западному ареалу германские, иллирийский, итальянские и кельтские языки, отмечая ряд структурных черт данных языков, позволяющих провести подобное деление.

Ф. Шпехт выделял в результате древнейшего членения индоевропейских языков два ареала - армяно-греческий и другой, названный им ареалом культуры шнуровой керамики и объединяющий итальянские, кельтские, германские и балто-славянские языки на основании наличия в языках культуры шнуровой керамики структурного типа глаголов состояния на $\bar{e}$, отсутствующего в армянском и греческом и сближающегося с индоевропейским перфектом (Specht 1935: 66; Макаев 1964: 43 – 44; Vendryes 1940: 369; Wagner 1950; Носкуарт 1981: 563; Глебова 1996b: 52-61). Точку зрения Ф. Шпехта поддерживал ряд исследователей (Wagner 1956: 167-182), в то время как другие (Макаев 1964: 45) полагали, что с чисто лингвистической точки зрения гипотезу Ф. Шпехта нельзя относить к хорошо аргументированным.

Для лингвистической аргументации гипотетических утверждений о языковых контактах древних языков необходимо последовательное изучение имеющегося фактического материала древних текстов в достаточно полном объеме с учетом нескольких языковых уровней. Четче всего и лучше всего эти контакты отражаются в структуре глагола.

Современные исследования в области ностратического изучения родства языковых семей предполагают именно такой подход к отбору лингвистических фактов: справедливой признается

позиция, согласно которой для ранних этапов развития протоиндоевропейского праязыка следует опираться на три наиболее надежных типа грамматических основ: глагольные основы, именные основы и местоименные и неизменяемые основы (Bomhard 2008:99).

В начале XXIв. вопрос о древнейших языковых отношениях между кельтами и италиками вновь привлек внимание исследователей и стал предметом научных дискуссий (Kortland 2007: 151-157). Было отмечено, что вероятность развития группы италийских и кельтских диалектов на достаточно замкнутой территории западноиндоевропейского диалектального пространства весьма невелика.

Основанием для такого утверждения служит то, что число четких итало-кельтских фонологических и морфологических изоглосс очень незначительно, и, что еще важнее, не представляется возможным отграничить временные рамки языковых контактов кельтов и италиков так, как это возможно при рассмотрении балто-славянских языковых отношений (Matasović 2009: 11).

В качестве засвидетельствованных фонологических инноваций в сфере языковых контактов между кельтами и италиками признаются следующие (Matasović 2009: 12):

1. Развитие праиндоевропейских слоговых сонантов в результате воздействия ларингалов (праи.-е. *grHno- > лат. granum, пракельтск. *grāno). При этом остается неясным вопрос об отражении этого процесса в других италийских языках.

2. Ассимиляция *p... kw > *kw... kw. Тем не менее этот процесс принято считать довольно поздним для кельтского ареала.

3. Сокращение долгот в предударной позиции. После открытия В.А. Дыбо очевидно, что эти изменения коснулись не только италийских и кельтских языков; следы этого отмечаются на германском материале, хотя и в ограниченном числе случаев.

Далее приводятся как научно обоснованные морфологические итало-кельтские изоглоссы (Matasović 2009: 12):

1. Окончание генитива *ī не является ни общекельтским (отсутствует в кельтиберском), ни общеиталийским (отсутствует в сабелльском) и не является исключительно итало-кельтским

(встречается в мессапском и тохарском). В сущности это древняя застывшая форма имени прилагательного, которая не может представлять собой общую инновацию для италийских и кельтских языков.

2. Совпадение грамматической основы *so с праиндоевропейским указательным местоимением *so-/* to- как результат параллельного развития.

3. Появление флексии *strom в формах 1 и 2 л. мн.ч. генитива не слишком достоверно, т.к. грамматические основы местоимений 2 л.мн.ч. различны, и формы с этой флексией засвидетельствованы только в древнеирландском (nathar) и в латыни (nostrum). Таким образом, мы не можем утверждать относительно этой флексии как об общекельтском и общеиталийском грамматическом явлении.

4. Распространение флексии *bhos (dat./abl. pl.) не слишком достоверно, поскольку в галльском сохранилось только -bo, а в ирландском *bhis (instrumentalis).

5. Флексия превосходной степени *smmo - несомненно, особая изоглосса, но в сущности этого недостаточно, чтобы доказать существование итало-кельтского праязыка.

В исследовании М. де Ваана (de Vaan 2008: 5) этот список дополнен следующими позициями:

6. Презентные формы глагола «быть» образуются тематически -* es-e/o-непосредственно после инфигированных элементов, в отличие от *es атематического (Schrijver 2006: 58).

7. Появление форм инъюнктива (Kortland 2007: 153) претерита (Schrijver 2006: 60 -62) с морфемой *-ā-.

8. Появление форм сигматического футурума с i- редупликацией (Kortland 2007: 152).

9. Распространение морфемы *-го- помимо формы 3 л. на другие медиальные окончания.

На основании наличия перечисленных изоглосс М. де Ваан подтверждает справедливость периодически оспариваемой гипотезы об особом этапе развития итало-кельтских языков, для которого можно выявить некоторое количество общих фонетических и морфологических изоглосс. Недавно высказанная точка зрения в защиту теории итало-кельтского единства прозвучала в

исследовании П. Схрейвера в научной полемике с Г. Майзером и его единомышленниками (de Vaan 2008: 5).

Изучение структуры и семантики итало-кельтского глагола, проведенное по бинарным морфологическим признакам с учетом этимологических соответствий и лексического анализа латыни, других итальянских и кельтских языков, несмотря на ограниченность лексики, также позволяет выявить структурные характеристики системы глагола, объединявшие индоевропейские диалекты западного ареала в заданном временном ракурсе (Глебова 1978: 14-21).

Так как итальянские и кельтские языки обнаруживают вследствие отсутствия форм аориста общие черты в строении глагольной системы, можно выявить древнюю структуру глагола для определенного среза индоевропейского языкового состояния на материале итальянских и кельтских языков путем изучения перекрестной системы противопоставления нескольких типов спряжения в презенсе и нескольких типов в аористо-перфекте (претерите).

Другой характерной итало-кельтской чертой является стирание границ между тематическими и атематическими основами в спряжении и их дальнейшее смешение, а также тенденция к унификации древней системы первичных и вторичных окончаний (Sommer 1902: 523 -524; Kieckers 1960: 180-182).

При последовательной классификации итальянских и кельтских глагольных форм по единой схеме, учитывающей морфологические признаки (образование форм презенса и перфекта) внутри формально выделенных классов выявляются группы глаголов с определенной лексико-семантической характеристикой. Такой метод исследования продолжает традиции Московской лингвистической школы, согласно которым достоверные выводы могут быть получены в результате применения теоретических положений, идущих еще от И.А. Бодуэна де Куртенэ и Ф.Ф. Фортунатова. Согласно положениям Московской лингвистической школы, «отождествление [и сопоставление] языковых единиц проявляется в структуре, при выявлении межъязыковых связей на разных плоскостях» (Широков 2000: 249).

Глагольная система итальяйских и кельтских языков дает возможность для сравнения и сопоставления языковых фактов, удаленных во времени, но тем не менее позволяющих получить достаточно надежные результаты изучения структуры глагола как по бинарным морфологическим критериям, так и с точки зрения продуктивности лексических групп.

При исследовании отдельных лексико-семантических глагольных типов продуктивными в классической латыни, других итальяйских и кельтских языках оказываются типы глаголов, этимологически соответствующих в латинском языке следующим лексическим группам: 1) отыменные, 2) выражающие звук или крик, 3) глаголы, указывающие на состояние субъекта или же его чувственное восприятие.

Поскольку в итальяйских и кельтских языках продуктивными оказываются те же глагольные типы, что и в классической латыни, то очевидно, что тенденция к продуктивности унаследована латинским, другими итальяйскими (Глебова 2005: 53-62) и кельтскими языками от той диалектальной группы позднеиндоевропейского праязыка на западе индоевропейской языковой общности, из которой произошли итальяйские и кельтские языки (Глебова 1978: 21).

Именно эта тенденция к продуктивности определенных глагольных типов, присутствующая в итальяйских и кельтских языках, а также — что очень важно — в современных романских языках, позволяет предположить существование на определенном этапе развития позднеиндоевропейского праязыка континуума итальяйских и кельтских диалектов, не представлявшего собой единого итало-кельтского праязыка, но объединенного рядом древних изоглосс, то есть итало-кельтской языковой общности (Глебова 1978: 21; Глебова 1981: 42 - 58; Глебова 1983: 34 - 41; Глебова 1989: 32 - 33; Глебова 1996а: 265-300).

Литература

Глебова 1978: Глебова Е.А. Итало-кельтские схождения в морфологии глагола. // Вестник Моск. ун-та. Сер.9. Филология. 1978, № 6, 14 – 21.

Глебова 1981: Глебова Е.А. Итало-кельтские соответствия в эволюции индоевропейских глагольных классов. // Традиции Московской школы и современные проблемы языкознания. Фортунатовские чтения. М., 1981, 42 – 58.

Глебова 1983: Глебова Е.А. Лексико-морфологические изоглоссы итало-кельтского диалектального континуума как отражение специфики связи между различными уровнями языка (на материале италийской и кельтской глагольных систем). // Сравнительно-исторические и сопоставительно-типологические исследования. М., 1983: 34 - 41.

Глебова 1989: Глебова Е.А. Итало-кельтская языковая общность: за и против (по данным лексико-морфологических изоглосс итало-кельтского диалектального континуума). // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. Материалы докладов Международной конференции. М., 1989: 32 - 33.

Глебова 1996a: Глебова Е.А. Классы латинских глаголов и проблема кельто-италийских древних диалектальных связей. // Классическая филология на современном этапе. М., 1996: 265 – 300.

Глебова 1996b: Глебова Е.А. Развитие глагольных основ на *ē* в италийских и кельтских языках. // Вестник Моск. ун-та. Серия 9. Филология. 1996, № 6.

Глебова 2005: Глебова Е.А. Лексико-морфологические изоглоссы италийского диалектального континуума как доказательство генетического родства италийских языков. ИЛИ РАН. Чтения памяти профессора И.М. Тронского. Санкт-Петербург, 2005; 53 -62.

Макаев 1964: Макаев Э.А. Вопросы индоевропейской ареальной лингвистики. М., 1964.

Мейе 1938: Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М., 1938.

Тронский 1960: Тронский И.М. Историческая грамматика латинского языка. М., 1960.

Широков 2000: Широков О.С. Принципы и методы МФШ в применении к разным ярусам различных языков. // Фортунатовский сборник. М., 2000: 248-259.

Baldi 1989: Baldi Ph. and Johnston-Staver R. Historical Italic Phonology in Typological Perspective. //Venemann Th. (ed). The New Sound of Indo-European: Essays in Phonological Reconstruction. Berlin and New York. NY, 1989.

Beeler 1952: Beeler M.S. The relation of Latin and Osco-Umbrian. *Language* 28, 1952.

Beeler 1966: Beeler M.S. Ancient Indo-European Dialects, ed. by H. Birnbaum and J. Puhvel. 1966.

Bomhard 2008: Bomhard A.R. Reconstructing Proto-Nostratic. Comparative Phonology, Morphology and Vocabulary. Vol.1. Leiden – Boston, 2008.

Hocquart 1981: Hocquart M. Les verbes d'état en ē du latin. Thèse. Lille, 1981.

Kieckers 1960: Kieckers E. Historische lateinische Grammatik. T.2. Formenlehre. Munchen, 1960.

Kortland 1981: Kortland F. More Evidence for Italo-Celtic. // *Eriu* 32/1981.

Kortland 1997: Kortland F. On the relative chronology of Celtic sound changes. – *KZ* 110/1997.

Kortland 2007: Kortland F. Italo-Celtic origins and prehistoric development of the Irish language. Rodopi, Amsterdam, 2007.

Lohmann 1953: Lohmann J. Gemeinitalisch und Uritalisch. *Lexis* III, 2 (1953).

Lottner 1861: Lottner C. // *KZ* 10, H.1 -6. Berlin, 1861.

Marinetti 1999: Marinetti A. Venetico : 1976 – 1996. *Asquisizione e prospettive*. // *Protostoria e storia del "Venetorum angulus"*. Pisa – Roma, 1999: 391-436.

Matasović 2009: Matasović R. Etymological Dictionary of Proto-Celtic. Leyden – Boston, 2009.

Matzinger 2005: Matzinger J. Messapisch und Albanisch. – *IJDLLR* 2, 29-54.

Meillet 1933: Meillet A. Esquisse d'une histoire de la langue latine. Paris, 1933.

Meillet 1950: Meillet A. Les dialectes indo-européens. Paris, 1950.

Porzig 1954: Porzig W. Die Gliederung des indogermanischen Sprachgebiets. // Indogermanische Bibliothek. Reihe 3. Heidelberg, 1954.

Pulgram 1958: Pulgram E. The Tongues of Italy. 1958.

Schrijver 2003: Schrijver P. Athematic i-presents: the Italic and Celtic evidence. *Incontri linguistici* 26.

Schrijver 2006: Schrijver P. Review of Meiser 2003. *Kratylos* 51.

Schrijver 1991: Schrijver P. The reflexes of the protoindoeuropean laryngeals in Latin. Amsterdam – Atlanta : Rodopi.

Solta 1974: Solta G.R. Zur Stellung der lateinischen Sprache. // Oesterreichische Akademie der Wissenschaften. Philol.-Hist. Kl. Sitzungsberichte. Bd.291, Abh. 4. Veroeff. der Kommission fuer Linguistik und Kommunikationsforschung. H.2. Wien, 1974.

Sommer 1902: Sommer F. Handbuch der lateinischen Laut- und Formenlehre. Heidelberg, 1902.

Specht 1935: Specht F. Zur Geschichte der Verbalklasse auf ē. // KZ 62, 1935: 29-115.

Vaan de 2008 : Vaan M. de. Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages. Leiden – Boston, 2008.

Wagner 1956 : Wagner H. Zu den indogermanischen ē-Verben. // Zeitschrift fuer celtische Philologie, 1956, Bd. 25, Hft.3/4.

Watkins 1966 : Watkins C. Italo-Celtic revisited. //Ancient Indo-European Dialects. Proceedings of the Conference on Indo-European Linguistics. /Held at the Univ. of California. Los Angeles, Apr. 25-27, 1963. Ed. by H. Birnbaum and H. Puhvel. - Berkeley – Los Angeles, 1966.

ПРИБАЛТИЙСКО-ФИНСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ПЕРМСКИХ ЯЗЫКАХ: ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

М. А. ЖИВЛОВ

Сравнительно-историческая уралистика неизбежно сталкивается с проблемой заимствований в различных уральских языках. Хорошо изучены, в частности, контакты между прибалтийско-финскими и саамскими языками, удмуртские заимствования в марийском, коми заимствования в хантыйских и мансийских диалектах, заимствования из хантыйского в северномансийском. Одним из наименее исследованных вопросов остаются прибалтийско-финские заимствования в пермских языках. Причина этого в том, что из-за недостаточно детальной разработки исторической фонетики пермских языков не всегда ясно, отражают ли отдельные сопоставления между прибалтийско-финскими и пермскими языками исконное родство или вторичные контакты. Я. Саарикиви (Saarikivi 2006: 33-38) высказал предположение, что многие прибалтийско-финско – пермские сравнения, приводимые в стандартных этимологических словарях в качестве общего наследия, но не обнаруживающие фонетических соответствий, характерных для исконной лексики, следует реинтерпретировать как ПФ заимствования в пермских языках. Следуя этому предположению, мы предлагаем ряд диагностических признаков, позволяющих отличить пермскую лексику, исконно родственную прибалтийско-финской, от заимствованной.

Ниже приведена таблица соответствий между праприбалтийско-финскими фонемами, их отражениями в заимствованиях в коми и исконными соответствиями этих фонем в коми. В таблице не приведены ПФ фонемы, соответствия которым в заимствованной и исконной коми лексике одинаковы (например, ПФ **r* соответствует коми **r* как в заимствованиях, так и в исконных словах), а также фонемы, не

обнаруженные в лексике, заимствованной в пермские языки. Рефлексы рассматриваемых фонем в удмуртском подчиняются тем же соответствиям между коми и удмуртским, что действуют и в исконной лексике.

ПФ	коми < ПФ	коми (искон.)
*ä	*a	*ō, *ī
*e	*e	*o, *q
*e-a	*a	-
*i-a	*ī	*e, *ē
*a	*a	*u, *q
*o	*vo-, *-o-	*u, *q
*ō	*q	*ō̇, *u
*u	*vu-, *-u-	*ī
*ü	*u	*ī
*l	*l ~ *l'	*l
*-t-	*d	∅ (< *t), *l' (< *δ')
*-h-	*š	*ž
*-s-	*s	*z (< *s), *ž (< *š)

Следует отметить, что известные нам прибалтийско-финские заимствования присутствуют либо только в коми, либо и в коми, и в удмуртском; примеры заимствованных из ПФ слов, сохранившихся только в удмуртском, нам неизвестны. Не исключено, что «общепермские» заимствования из прибалтийско-финских могли проникнуть из «докоми» диалектов в «доудмуртские» в период существования пост-прапермского диалектного континуума (см. Белых 2009). Источником рассматриваемых заимствований мог быть субстратный ПФ язык, близкий ПФ языку (языкам), отразившемуся в субстратной топонимии Русского Севера (ср., например, такую черту, как переход *i перед *a второго слога в *i). Сохранение *š, перешедшего в *h во всех известных ПФ языках, также находит параллели в субстратной топонимии Русского Севера (см. обсуждение этого вопроса в (Матвеев 2004:

232-242). Вопреки Я. Саарикиви, сохранение шипящего не обязательно говорит о принадлежности слова к раннему хронологическому пласту ПФ заимствований: никаких других соответствий прибалтийско-финскому **h* в заимствованной в пермские языки лексике не обнаруживается. Скорее следует говорить об отсутствии перехода **š > *h* в языке-источнике рассматриваемых заимствований.

Литература

Saarikivi J. Substrata Uralica. Studies on Finno-Ugrian Substrate in Northern Russian dialects. Academic dissertation... the Faculty of Arts at the University of Helsinki. Tartu: Tartu University Press, 2006.

Белых С.К. Проблема распада прапермской языковой общности. Ижевск: Удмуртский госуниверситет, 2009.

Матвеев А.К. Субстратная топонимия Русского Севера. Часть II. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2004.

СИНТАКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ПРИЗНАКА В ГРЕЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ (ДИАХРОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Н. М. ЙОВА

Категория высокой степени признака (ВСП) проявляется на всех уровнях языка – фонетическом, грамматическом, лексическом и синтаксическом. При этом наиболее подвижны и подвержены самым быстрым изменениям способы ее выражения именно на синтаксическом уровне.

Как известно, синтаксис древнегреческой комедии сильно отличается от синтаксиса древнегреческой трагедии: язык комедий максимально приближен к наиболее подвижной и быстро меняющейся разговорной речи. Это позволяет использовать комедии в качестве материала для диахронных исследований и анализа текстов относительно большого временного промежутка. Принимая во внимание то, что новогреческий язык не есть отдельный язык, а является фазой развития греческого языка, исследования текстов комедий можно продолжить и в более поздние периоды, вплоть до нашего времени.

Поэтому в качестве материала для исследования в данной работе были использованы не только тексты комедий древнегреческого комедиографа Аристофана (446 – 385 гг. до н. э.) но и их переводы на греческий язык XX – начала XXI веков.

I

При исследовании текстов комедий Аристофана отмечены следующие синтаксические средства выражения высокой степени признака:

1. Плеонастическое увеличение словосочетаний: *τουτὶ τί ἦν, τουτὶ τί ἐστὶ τὸ κακόν, τουτὶ τί ἦν τὸ πρᾶγμα*. Примеры многочисленны во всех комедиях, так как распространению таких формул способствовала особенность обиходного языка избегать слишком кратких, малообъемных слов, особенно, если на них падало логическое ударение. Эти конструкции могли быть расширены до следующих:

- *τί τὸ κακόν* (что за зло?), *τί τὸ πρᾶγμα* (что за дело?)
- *τουτὶ τὸ κακόν* (что это за дело?), *τουτὶ τὸ πρᾶγμα* (что это за зло?)
- *τουτὶ τί ἐστὶ τὸ κακόν* (да что ж за напасть?), *τί τὸ πρᾶγμα τουτί* (что ж за дела вот эти?)
- *τουτ' ἐστὶ τουτί τὸ κακόν* (вот, вот она самая, напасть!), *τουτὶ τί ἦν τὸ πρᾶγμα* (да что ж это такое?).

2. Заслуживает внимания описательный оборот *ὅσον τὸ χρῆμα* (букв. «какое же количество»), который употребляется Аристофаном с родительным падежом существительного для указания на большой объем, большое число, на силу или высокую степень значения понятия, выраженного существительным:

- *ὅσον τὸ χρῆμα παρνόπων* *προσέρχεται* – сколь саранчи поналетело! (Ахарняне 150, Всадники 1219, Облака 2).

3. В комедиях отмечена конструкция, которую можно рассматривать как частный случай проявления родительного качества (ср. русск. «человек большого ума»). Но у Аристофана подобная конструкция претерпевает некоторые изменения, так что в ней высокая степень признака выражена лексическим значением опорного слова, а далее родительный падеж конкретизирует, что в данном примере признак проявляется в наивысшей степени.

- ὦ Πόσειδον τῆς τέχνης (Всадники 144), (букв. О, Посейдон искусства!)

- τοῦ πολέμου τοῦ βλέμματος (Мир.239). (букв. Взгляд Войны (зд. «Война» как персонификация)

Тот факт, что отмечен не единичный случай употребления подобной конструкции (18 раз), говорит или о распространении ее в разговорном языке или об авторском творчестве, но на основе сходных разговорных конструкций. Этой конструкции может быть дано название – *figura Aristophanea intensiva*.

4. Еще одним способом выражения высокой степени признака являются паремии. Под паремиями в греческой традиции понимаются пословицы, фразеологические обороты, словосочетания и даже отдельные слова-идиомы. Паремии чаще всего являются признаком простой народной речи и составляют «собственную физиономию» каждого языка. Согласно «*Corpus paroemiographorum graecorum*», во всех комедиях отмечено 459 паремий, причем автором многих из них являлся сам Аристофан. Паремий, в которых выражена высокая степень признака, насчитывается 16.

Все паремии с ВСП можно условно разделить на следующие три группы:

– сравнения и метафоры, в которых второй компонент, будучи объектом сравнения, семантически показывает высокую степень признака. При этом, сравнивая что-то с предметом или лицом, признак которого возведен в высокую степень изначально, получается двойное усиление или предельно высокая степень признака. Эти паремии основаны на употреблении имен собственных или географических названий, которые могут указывать на ВСП:

Κυκλοβόρου φωνὴν ἔχων (Всадники 137) – имеющий голос водопада Киклобора (Киклобор считался самым сильным громящим водопадом Греции);

– фразеологические сравнения представляют собой такие словосочетания, которые, сохраняя структуру сравнительных конструкций, выражают высокую степень признака. В этих сравнениях второй компонент выполняет функцию не объекта сравнения, а своеобразного усилительного форманта, в результате чего все выражение воспринимается как предельно высокая степень признака.

σὺ...ὥσπερ πρῖνος ἐμπρίσθεις βοῶς – ты кричишь как подожженный дуб (Лягушки 85);

– употребление названий животных или имен собственных, но без сравнения. ВСП заключена в самом слове:

λίμῳ Μηλίῳ – мелийским голодом (Птицы 186) (город Мелос был окружен афинянами в 416 г. до н. э. и был сдан им вследствие страшнейшего голода).

Паремийные способы выражения ВСП принадлежат к пограничной сфере между собственно языковыми и риторическими средствами выражения соответствующих значений, и поэтому могут быть рассматриваемы как тропы.

5. Конструкция «винительный внутреннего объекта» – *figura étymologica* – всегда рассматривалась как усилительная, так как существительное, стоящее в винительном падеже, означает не объект, над которым производится действие, а лишь повторяет действие или состояние, обозначаемое глаголом. Аристофаном используется также конструкция, где в винительном падеже стоит прилагательное, а вместо глагола – наречие. Количество отмеченных примеров (23) позволяет говорить, что эти конструкции – установившиеся обороты языка:

– Τόλμημα τολμῶμεν τосоῦτον – дерзнем мы на великое дерзанье (Женщины в народном собрании 106)

– Κι ταῦτα μέντοι κακὰ κακῶς (δρῶμεν) – и это, однако, плохое-плохо (очень плохо) [мы сделаем] (Всадники 189).

6. К синтаксическим средствам выражения ВСП можно отнести и определенные обороты речи, такие как

риторические вопросы, восклицания и сравнительно-отрицательные обороты. Из этих средств наибольшее развитие у Аристофана получают сравнительно-отрицательные конструкции, среди которых можно выделить следующие три группы: а) собственно сравнительно-отрицательные обороты; б) конструкции «сравнительная степень прилагательного (наречия) + отрицание»; в) вопросительно-отрицательные конструкции.

- сравнительно-отрицательные обороты подчеркивают наличие ВСП, отрицая ее присутствие у других подобных предметов или явлений. Такая конструкция глубоко свойственна народной речи, и широко распространена. Этот способ выражения ВСП является самым удобным, ибо не требует каких-то дополнительных средств (13 раз):

- ἄθλιος γ' εἰμ' ὥς ἕτερος γ' οὐδεὶς ἀνὴρ – несчастен я, как никто другой (муж) (Осы 150)

- хотя сравнительная степень прилагательного не выражает ВСП, ибо ее назначение – указывать на сравнение одних предметов с другими, но употребленная в конструкции с отрицанием, она может рассматриваться как один из способов выражения ВСП. В комедиях таких оборотов насчитывается 22.

- οὐδὲν γὰρ ἔργον ἦν ἄρ' ἀθλιώτερον – никакое дело не было уж тяжелее (Мир. 22)

- вопросительно-отрицательные конструкции можно рассматривать как частный случай риторических вопросов, ибо риторические вопросы отрицают наличие признака в данной степени у других предметов или лиц, и в то же время реализуют значение максимального выражения степени.

- ὅτι ἡ τριήρης ἐστὶ χῶ κύων ταχύ – быстра триера, ну, а пес – не быстр? (Всадники 1074)

Очевидно, что синтаксические конструкции, выражавшие ВСП в древнегреческом языке, были функционально

неоднородны и могли не только усиливать признак имени или глагола, но во многих случаях служили передаче реакции говорящего на некий внеязыковой контекст.

II

В новогреческий период развития греческого языка (XX век) для передачи синтаксических конструкций, зафиксированных в комедиях Аристофана, используются следующие конструкции.

Отметим, что обороты - *tì tò kakón, tì tò prǎgma, toutì tò kakón, toutì tò prǎgma, toutì tí êsti tò kakón, tí tò prǎgma toutí, tout' êsti toutí tò kakón, toutì tí ên tò prǎgma* и подобные им – не претерпели особых изменений и распространены достаточно широко. (Многочисленные примеры, ввиду ограничения объема текста не представляется возможным привести).

Основного внимания заслуживает передача следующих синтаксических конструкций: *figura Aristophanea intensiva, figura etymologica* и паремий.

1. Поскольку в новогреческом языке нет примеров конструкции *figura Aristophanea intensiva*, в силу утраты родительным падежом части своих значений и функций, она заменяется следующими способами:

– «усилитель +усиливаемое слово», где в роли усилителей выступают наречия *tóso* и *tí*;

– сложными словами с первым компонентом-усилителем *триσ-* ;

– с помощью форм превосходной степени прилагательного:

- *ὁ μακάριε τῆς τέχνης* – счастливцев в искусстве (Птицы 1423)

- *τί εὐλογημένη τέχνη* – пер. 1911 г.

- *ὦ τρισμακαρισμένε γιά την τέχνη σου* – о трижды счастливый в своем искусстве - пер. 1977 г.

- ω μακαρίσμενε, τέτοια τέχνη! – пер. 1974 г.

Передача этой конструкции древнегреческого языка такими средствами служит подтверждением понимания ее как выражающей высокую степень признака.

2. Конструкция *figura etymologica*, сохранившаяся в новогреческом языке в виде формулы «прилагательное в винительном падеже+однокоренное наречие», наряду с самым «простым» для новых греков способом – переписыванием ее, передается с помощью конструкций:

– «усилитель +усиливаемое слово», с наречиями τόσο и τί;

– сложными словами с первым компонентом-усилителем τρισ- :

- Τόλμημα τολμῶμεν τοσοῦτον - дерзнем мы на великое дерзанье (Женщины в народном собрании 106)

- Επιχειρούμε τόσο μεγάλο τόλμημα – пер. 1935 г.

- Τολμούμε τέτοια τόλμη – пер. 1977 г.

- Αποτολμούμε τρισμεγάλο τόλμημα – пер. 2004 г.

3. Паремии из собственно аристофановых комедий передаются в переводах XX века или оборотами, сохраняющими древнегреческую паремию (φωνακλᾶς με φωνή Κυκλοβόρου – Вc. 137), или описательными оборотами, разъясняющими смысл (ανάβεις και κορώνεις...σαν το πουρνάρι – Ляг. 85) паремии.

Употребление в новогреческих текстах структур, сходных с древнегреческими, позволяет говорить о непрерывности культурно-языковой традиции.

4. Однако наибольшим разнообразием отличается передача на новогреческий язык сравнительно-отрицательных оборотов. Отмечены случаи их передачи с помощью сравнительной степени прилагательных с отрицанием (по сути, это тот же сравнительно-отрицательный оборот).

Также распространен способ передачи этих конструкций средствами другого языкового уровня – с помощью конструкции «усилитель+усиливаемое слово», где усилителями выступают *πολύ*, *τόσο*, *πώς*. Кроме этого сравнительно-отрицательные конструкции передаются с помощью описательного оборота, выражающего превосходную степень – «артикль+*πιο*+прилагательное».

- *ὅτι ἡ τριήρης ἐστὶ χῶ κύων ταχύ* – быстра триера, ну, а пес – не быстр? (Всадники 1074),

- *το καράβι εἶναι γρήγορο τόσο, ὅσο το σκυλί* (пер. 1961 г.),

- *το καράβι εἶναι γρηγορό σαν το πιο γρήγορο σκυλί* (пер. 2004г.).

Напомним, что на протяжении почти всего XX века в Греции существовало два стиля языка – кафаревуса (литературный язык, официальный язык государства до 1982 г. и остающийся официально главным языком церкви вплоть до сегодняшнего дня) и димотика (разговорный язык). В принципе, в XX веке (а раньше переводов просто не было) комедии Аристофана нуждались не в переводах, но только в пояснениях и примечаниях, ибо каждый образованный грек являлся в большей или меньшей мере носителем и литературного, и разговорного языка. Тем не менее, переводы существовали, и в них, в основном, использовался разговорный язык (димотика).

Способы выражения ВСП на синтаксическом уровне греческого языка, как видно из сопоставительного анализа, с течением времени практически не изменились (или изменились незначительно). Но в XXI веке, когда кафаревуса «ушла со сцены», государственным языком стала димотика, и в школах прекратили преподавать в полном

объеме древнегреческий язык, тексты комедий Аристофана стали нуждаться в привлечении других языковых способов для их понимания. Об этом можно судить по переводам комедий Аристофана на димотику, сделанным в первое десятилетие XXI века. В этих переводах основным способом передачи многочисленных способов выражения ВСП у Аристофана является лексический способ «усилитель+усиливаемое слово», что свидетельствует о том, что в новогреческом языке, в сущности, исчезает то разнообразие в выражении высокой степени признака, которое существовало в древнегреческом языке.

ПРОЦЕССЫ САКРАЛИЗАЦИИ И ДЕСАКРАЛИЗАЦИИ В ЛЕКСИКЕ

Г. А. КАЗАКОВ

Понятие сакрального предполагает выделение предмета из ряда обыденных в особый класс, обладающий статусом исключительности, неприкосновенности, запретности. Этимологически лат. *sacer* «священный, принадлежащий богам» означало как нечто по своей природе величественное, достойное почитания, так и нечто отмеченное несмываемым проклятием, вызывающее ужас¹.

Сакрализация – это приобретение словом сакрального значения, десакрализация – утрата такого значения. В субъективном плане процессы сакрализации и десакрализации лексики отражают формирование мировоззрения отдельного человека, в объективном – являются зеркалом более широких аналогичных тенденций в культуре того или иного народа и непосредственно связаны с изменением религиозных представлений в языковом сознании.

1. Сакрализация лексики

Представляется возможным выделить следующие способы сакрализации лексики:

1. Наделение сакральным значением уже существующего названия обыденного предмета. При этом первоначальное значение либо расширяется (к старому значению прибавляется новое, сакральное: например, «Отец», «Сын», «Дух» как обозначения ипостасей Бога в христианстве), либо сужается (несакральные значения отсекаются: например, «Господь» – исторически то же, что «господин», но сейчас относится исключительно к Богу). Этот способ, вероятно, связан с переходом нарицательных имен

¹ Бенвенист: 348; Степанов: 868.

в собственные и наоборот, а также с явлением метафоризации. «Есть какая-то особая движущая сила в языке, соответствующая силе суеверия, посредством которой слово древнейшее, имеющее смысл обыкновенный, переходя от поколения к поколению по разным странам и народам, теряет свое обыкновенное, простое значение и принимает мифологическое, соединяясь с поверьем», – так охарактеризовал этот процесс применительно к истории славянского языка Ф. И. Буслаев².

2. Прямое заимствование из другого языка (например, рус. «ангел», «архиерей», «Евангелие» из греч.) или калькирование иноязычной словообразовательной формы (многочисленные сложносоставные слова на «благо-», «бого-» в церк.-сл. и рус., передающие соответствующие греч. морфемы 'ευ- и θε-)³.

3. Конструирование нового слова для выражения новых религиозных понятий (например, греч. Θεάνθρωπος «Богочеловек», Θεοτόκος «Богородица»).

Примечательно, что смена религиозных представлений часто приводит к замещению одного сакрального значения другим, что свидетельствует о консерватизме языка и устойчивости самой сакральной лексики (напр., лат. *sacerdos* – сначала «жрец», затем «священник»; *antistes* «первосвященник (какого-либо бога)», в христианстве – «епископ»; применение древнеримского жреческого звания *pontifex maximus* «верховный понтифик» к Римскому Папе, переход имени германской богини светлого утра *Eastre* в англ. *Easter*, нем. *Ostern* «Пасха»⁴).

Табу как следствие и показатель сакрализации. Пожалуй, наиболее радикальным следствием сакрализации слова является наложение на него табу, т.е. запрета, и замена его в речи эвфемизмом – нейтральным (несакральным) словом. Табу встречаются во всех языках мира, однако ярче всего представлены в языках архаических народов.

Основные случаи сакрального табуирования следующие:

1. Запрет на сообщение посторонним или вообще произнесение имени человека. Он проистекает из страха перед тем, что

² Буслаев: 62-63.

³ Верещагин: 19.

⁴ Chambers Dictionary of Etymology: 311; Ayto: 184; Буслаев: 17.

враги (чужое племя или злые духи) смогут с помощью магии причинить человеку вред, если им станет известно его подлинное имя. Следствием этого страха является обычай иметь два имени: истинное и повседневное, употребление прозвищ и описательных имен («отец такого-то»).

2. Запрет на имена родных противоположного пола, родственников (родных по браку) и старших родственников⁵.

3. Запрет на имена умерших из опасения, что дух покойного, расслышав звуки своего имени, может вернуться и потревожить живых⁶.

4. Запрет на имена божеств, правителей, жрецов и других священных лиц, вместо которых используются предполагаемо присущие им характеристики («величественный», «совершенный» и т.п.). С данным табу отчасти связано развитие обычая торжественного титулования⁷. Такова, например, этимология



слова «фараон»: от егип.  [pr-aa] «большой дом, дворец», т.е. вместо прямого именования властителя называется место его обитания⁸ (ср. в наше время: «Белый дом постановил...»). Произнесение священного имени обычным человеком, вероятно, воспринималось как профанация (низведение сакрального предмета в область обыденного) и посягательство на «божественную» власть. Сюда же, видимо, следует отнести стремление не упоминать имя Бога в выражениях повседневной речи. В иудаизме и христианстве существует 3-я Заповедь: «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно...» (Исх. 20:7). Известно, что евреи традиционно вместо имени Бога [yahwe] произносили [ʾădōnāy] «Господь», а также иногда заменяли слово «Бог» словами «Господь», «Небо», «Имя». В современных европейских языках в качестве примеров можно привести употребление в исп. яз. слова *salud* «здоровье» вместо *Jesús* «Иисус»

⁵ М. Ю. Федосюк утверждает, что последнее табу продолжает отчасти действовать в русской культуре, следствием чего является обычай не обращаться к своим родителям по имени (Федосюк: 41).

⁶ Grant: 161.

⁷ Леонтьев: 501.

⁸ Кемп: 63, Фасмер, т. 4: 185.

как пожелания чихнувшему; взаимозаменяемость англ. слов *God, goodness, heaven(s)* в сочетаниях *God/goodness/heavens help us* «помоги нам Бог», *God/goodness/heaven knows* «Бог знает», *thank God/goodness/heaven* «благодарение Богу», *for God's/goodness'/heaven's sake* «ради Бога», *(oh) my God/goodness* «Боже мой», *God/heaven forbid* «упаси Бог», *in God's/heaven's name* «во имя Бога»; англ. междометие *gosh* как эвфемистическое искажение слова *God*⁹.

5. Запрет на именовании темных сил, вместо которых употребляются описательные слова: рус. «дьявол» (греч. «клеветник»), «сатана» (др.-евр. «противник»¹⁰), «бес» («вызывающий страх»¹¹), «черт» (спорная этимология¹²), «черный», «враг (рода человеческого)», «нечистый», «неистовая/нечистая сила», «крошечный», «он», «тот», «не наш», «супротивник», «лукавый», «неладный», «соблазнитель», «лихой», «рогатый» и др., англ. *the evil one* «злодей», *adversary* «противник», *fiend* «враг» (этимологически – «ненавидимый»¹³), а также разговорные метафорические имена *the Clootie* «копыто», *the Old Teaser* «старый насмешник», *the Old Boy* «старик», *Old Nick* «старина Ник» и др.¹⁴ Данный запрет, вероятно, связан со страхом через произнесение имени невольно призвать эти опасные силы.

6. Избегание слов, связанных с дурными приметами. Отсюда эвфемизмы для обозначения левой стороны, ассоциировавшейся с чем-то неблагоприятным, зловещим: например, исп. *izquierdo*

⁹ Chambers Dictionary of Etymology: 442.

¹⁰ Черных, т. 1: 278; т. 2: 141.

¹¹ Фасмер, т. 1: 160; Черных, т. 1: 87; Степанов: 885.

¹² М. Фасмер говорит об этом слове без уверенности, но в качестве первой приводит версию о происхождении от праслав. «проклятый» (Фасмер, т. 4: 347). П. Я. Черных «довольно убедительным (особенно при отсутствии других, более убедительных)» объяснением считает происхождение от и.-е. корня со значением «обрезать, отсека́ть», «исходя при этом из того соображения, что черта или дьявола часто называют то «хромым», то «куцым»» (Черных, т. 2: 384). Ю. С. Степанов придерживается этой же этимологии, но с другим толкованием: «*черт* – это как бы «отрезанный», исчадие области, находящейся за чертой и принадлежащей божеству *Чур*» (Степанов: 883).

¹³ Chambers Dictionary of Etymology: 380; Аyto: 217.

¹⁴ Мокиенко: 266; Шинкаренко: 55; Joyce: 56.

«левый» (заимствование из баскского) вместо *siniestro*, которое приобрело исключительно негативные коннотации. Дж. Айто утверждает, что и само лат. *sinister* (от корня со значением «более выгодный») было заменой другого исконного слова; эвфемистический характер виден также в др.-греч. обозначениях «левого»: ἀριστερός («лучший») и εὐώνυμος («благоименный») ¹⁵.

7. Запрет на названия животных, являющихся предметами охоты, из опасения, что в случае произнесения названия такого животного охотникам не удастся его настигнуть или что охотники могут сами пасть жертвами преследуемого зверя. По причине этого запрета во многих индоевропейских языках не сохранилось исконное наименование медведя, которое заменили описательные характеристики: рус. «медведь» («поедатель меда») ¹⁶, англ. *bear*, нем. *Bär* («коричневый», «бурый») ¹⁷. Эвфемизмами также являются рус. «змея» (от «земля»), лат. *serpens* (от *serpo* «ползать»), англ. *snake* от др.-герм. корня с таким же значением ¹⁸.

В ряде случаев запрещается произносить не только само имя, но и слова, похожие по звучанию, в том числе имеющие хотя бы один общий слог. При этом у многих народов именами являются названия обычных вещей. Вместо этих слов начинают использоваться синонимы, гиперонимы, описательные выражения (напр., «животное для верховой езды» вместо «лошадь»), сознательно фонетически измененные слова (перестановка фонем, добавление не имеющих значения аффиксов), придуманные новые названия или заимствования из соседних языков. Изменения словарного состава языка, в частности обилие синонимов, происходящие вследствие замены одних слов другими, могут иметь в языке следующие следствия: а) образование «женских наречий» (называемых также «тещиными» или «мачехиными» языками),

¹⁵ Айто: 307; Chambers Dictionary of Etymology: 1009; Bloomfield: 401.

¹⁶ Фасмер, т. 2: 589; Черных, т. 1: 519.

¹⁷ Айто: 54; Chambers Dictionary of Etymology: 84.

¹⁸ Широков: 161; Фасмер, т. 2: 100; Chambers Dictionary of Etymology: 1025.

т.е. специальных вариантов речи, которых должны были придерживаться женщины в силу наложенных табу¹⁹; б) разнообразие диалектов и языков на соответствующей территории²⁰. Существует даже мнение, что табу слов может быть препятствием для сравнительно-исторического изучения бесписьменных языков, поскольку из-за него в достаточно короткие сроки сменяется словарный фонд языка, и материала для исследования не остается (С. А. Старостин и С. А. Бурлак, однако, считают это мнение необоснованным)²¹.

2. Десакрализация лексики

В повседневном употреблении сакральные слова не всегда сохраняют свое исконное значение и могут подвергаться процессу десакрализации в двух основных видах:

1. Десемантизации, т.е. потере собственного значения и переходу в разряд обыденных выражений: например, междометное употребление рус. «Боже», «Господи», обороты «ради Бога», «Бог (его) знает», «Бог знает что», англ. *by God* и множество им подобных в разных языках. Десакрализованность таких выражений подтверждается наличием эквивалентов с упоминанием противной духовной сущности: «черт (его) знает», «черт с ним» (в значении «неважно, ну и пусть»), а также орфографическими вариантами: например, исп. словосочетание *todo Dios* – «все без исключения», может также быть записано как *tododiós*.

2. Пейорации, т.е. «ухудшению» значения. Например, исп. выражение *armar la de Dios (es Cristo)* означает «устроить скандал», а существительное *hostia* – «облатка» (этимологически «жертва» – круглый хлебец, используемый в Католической Церкви для таинства Евхаристии) в исп. разговорной речи употребляется также в значениях, помеченных в словаре как «просторечное, грубое»: *hostia!* – «ах ты черт» (междометие, выражающее боль, удивление, радость); *es la hostia* – «черт знает что»

¹⁹ Фрэзер: 266; Атлас языков мира: 18; Grant: 160.

²⁰ Фрэзер: 275; Атлас языков мира: 103.

²¹ Hock, Joseph: 233; Бурлак, Старостин: 17-18.

(как видим, чтобы передать эмоциональную окраску этих выражений с этим первоначально сакральным словом приходится даже обращаться к именованиям нечистой силы); *dar una hostia* – «дать тумака, взрезать». Нем. *Weib* изначально было нейтральным словом со значением «женщина, жена» (родственно англ. *wife*; очевидно, в переводах соответствовало лат. *mulier*); сейчас же это грубое, ругательное слово («баба»), а нейтральное значение перешло к существительному *Frau*, что вызывает потребность в изменении старого немецкого перевода латинских молитв, обращенных к Пречистой Деве Марии. См. например, известную молитву *Ave Maria*, основанную на отрывках Евангелия от Луки (Лк 1:28, 42)²²:

Ave Maria, gratia plena:
Dominus tecum: benedicta tu in
mulieribus, et benedictus fructus
ventris tui.

Sei gegrüsst, Maria, du
Gnadenvolle; der Herr ist
mit dir, du bist gebenedeit *unter
den Weibern*, und gebenedeit
ist die Frucht deines Leibes. (В
более новых переводах – *unter
den Frauen*.)

Приветствую Тебя, Мария, исполненная благодати! Господь с Тобой! Благословенна Ты *sреди женщин* и благословен плод Твоего чрева.

Еще примеры: нем. слово *Sakrament* имеет одновременно два значения: 1) таинство причастия, 2) грубое ругательство («о черт! проклятие!»). Во франц. яз. самыми страшными ругательствами являются ругательства с упоминанием крови (*sang*), смерти (*mort*), тела (*corps*) Божиих (имеется в виду Христос); слово «Бог» *Dieu* в них заменяется эвфемизмом *bleu*²³.

Причиной десакрализации может быть изменение представлений о сакральном в общественном сознании (или изменение «политики» в отношении этих представлений). Например, если

²² Das Messbuch: 637. Ср. церк.-сл. молитву: «Богородице Дево, радуйся...». Курсив в текстах молитвы наш – Г.К..

²³ Jacquenod: 221; Baumgartner, Ménard: 245.

по дореволюционной норме (которая затем сохранялась в языке русской эмиграции) «имена Трех Лиц Божества и высших существ, составляющих предмет религиозного воспитания христиан» следовало писать с прописной буквы²⁴, то в советскую эпоху даже в изданиях произведений классических русских писателей слова, связанные с религией, намеренно печатались со строчной буквы («бог», «пасха», «библия»)²⁵.

Другая причина десакрализации – «изношенность» слова от частого употребления в обиходной речи: например, рус. *спасибо* из «спаси Бог»²⁶, англ. *good-bye* «до свидания» из *God be with you* «Да будет с вами Бог» (при этом замена *God* на *good* произошла вследствие табу²⁷), исп. *adiós* от *a Dios vayáis* или *a Dios quedad* «ступайте с Богом», «оставайтесь с Богом»²⁸ (аналогично фр. *adieu*, итал. *addio*, порт. *adeus*). Чем употребительнее слово в разговорной практике, тем скорее оно теряет этимологическую полноточность (перестает осознаваться его исконное значение).

С точки зрения «внешнего» языкознания, тенденции сакрализации и десакрализации лексики свидетельствуют об усилении или угасании роли религии в данном обществе, о приобретении или утрате теми или иными понятиями особой социально-психологической значимости, о вхождении их в центр языкового сознания народа или, наоборот, устранении на его периферию. С точки зрения «внутреннего» языкознания, наблюдение этих процессов дает возможность изучать влияние семантики на работу языковых механизмов, а также предоставляет дополнительный материал для выявления этимологических закономерностей.

²⁴ Ромашкевич: 258.

²⁵ Как показатель этой тенденции: в «Орфографическом словаре русского языка» АН СССР (с. 37) в качестве единственного варианта слово «бог» дается со строчной буквы.

²⁶ Со словом «спасибо» связан еще один любопытный факт: по сведениям М. Фасмера (т. 3: 732) «староверы избегают этого выражения, потому что они видят в нем “*спаси бай*” и усматривают якобы в *бай* название языческого бога».

²⁷ Hock, Joseph: 138.

²⁸ Diccionario Didáctico Avanzado: 26.

Литература

Атлас языков мира. Происхождение и развитие языков во всем мире. М., 1998.

Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов / Пер. с фр. М., 1995.

Бурлак С. А., Старостин С. А. Сравнительно-историческое языкознание. М., 2005.

Буслаев Ф. И. О влиянии христианства на славянский язык. Изд. 2-е. М., 2011.

Верецагин Е. М. История возникновения древнего общеславянского литературного языка. Переводческая деятельность Кирилла и Мефодия и их учеников. М., 1997

Леонтьев А. А. Табу // Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. Изд. 2-е. М., 2002.

Мокиенко В. М. Образы русской речи. Историко-этимологические очерки фразеологии. СПб., 1999.

Орфографический словарь русского языка / Институт русского языка АН СССР. Изд. 19-е. М., 1982.

Ромашкевич П. А. Полный русский орфографический словарь. Изд. 3-е. Джорданвилль, 1975.

Степанов Ю. С. Константы: словарь русской культуры. Изд. 3-е. М., 2004.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. ТТ. 1-4. Изд. 4-е. М., 2007.

Федосюк М. Ю. Чего мы не замечаем в родном языке // Русский язык в школе, 2008, №5.

Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии / Пер. с англ. М. К. Рыклина. М., 2006.

Черных П. Я. Историко-этимологический словарь русского языка. Т. 1- 2. М., 1994.

Шинкаренко Ю. М. Заметки о семантике “devil” в английском языке // Материалы XIII Международной конференции студентов аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». М., 2006.

Широков О. С. Языковедение. Введение в науку о языках. М., 2003.

Ayto J. *Word Origins. The Hidden Histories of English Words from A to Z*. 2nd ed. London, 2008.

Baumgartner E., Ménard P. *Dictionnaire étymologique et historique de la langue française*. Paris, 1996.

Bloomfield L. *Language*. New York, 1956.

Diccionario Didáctico Avanzado. Primaria. *Lengua Española*. 7^a ed. Madrid, 2003.

Chambers Dictionary of Etymology / Under the editorship of Robert K. Barnhart. London, 2006.

Grant B. *Concise Encyclopedia of the American Indian*. Revised ed. New Jersey, 1989.

Hock H. H., Joseph B. D. *Language History, Language Change and Language Relationship. An Introduction to Historical and Comparative Linguistics*. Berlin – New York, 1996.

Jacquenod R. *Dictionnaire étymologique*. Paris, 2006.

Joyce P. W. *English As We Speak It in Ireland*. London – Dublin, 1910.

Kemp B. *100 Hieroglyphs. Think Like an Egyptian*. London, 2005.

Schott U. *Das Messbuch der Heiligen Kirche. Lateinisch und deutsch mit liturgischen Erklärungen*. Freiburg im Breisgau. 1923.

ВЕРИФИКАЦИЯ ПРЯЗЫКОВОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

АКАД. Н. Н. КАЗАНСКИЙ

В докладе приводятся возможные пути верифицировать полученные результаты при языковой реконструкции, включая проверку на основании новых лингвистических данных, полученных благодаря открытию прежде неизвестных родственных языков (такой проверкой явилось в начале XX века, например, открытие тохарских и анатолийских языков) на основании обнаружения текстов, в которых зафиксировано промежуточное языковое состояние, как это произошло после дешифровки линейного письма В и прочтения греческих текстов (II тыс. до н.э.), верификация с помощью реконструкции праязыковых текстов и формульных словосочетаний.

KONTRASTIVE DISTRIBUTIONELLE UND SEMANTISCHE ANALYSE DES ADJEKTIVS *NEU* UND SEINES SLOWAKISCHES ÄQUIVALENTES *NOVÝ*

A. KÁZMÉROVÁ (BRAXATORISOVÁ)

0 Einleitung

Die Studie präsentiert Teilergebnisse einer breiteren Analyse, zu denen wir im Rahmen der Lösung eines umfangreicheren lexikografischen, sich auf die Komplexität der theoretischen und praktischen Probleme der lexikografischen Aufarbeitung von Kollokationen spezialisierenden Forschungsprojektes¹ gelangt sind. Die Aufmerksamkeit richtet sich dabei auf Kollokationen mit Altersadjektiven in attributiver Funktion, die die Grundfunktion des Adjektivs ist. Zur Veranschaulichung wurden das Adjektiv *neu* und ihr slowakisches Übersetzungsäquivalent *nový* als repräsentatives Beispiel ausgewählt.

Die Forschung beruht auf die Annahme, dass mithilfe einer detaillierten Analyse des mit den neuesten statistisch-komputistischen Methoden der Korpuslinguistik gewonnenen breiten empirischen Materials ein präziseres Bild über die Bedeutungsstruktur des untersuchten Wortes gegeben werden kann, als es in der gegenwärtigen deutschen und slowakischen Lexikographie dargelegt ist.

1. Arbeitsvorgang und Ziele der Arbeit

Die Wichtigkeit der Arbeit liegt aus der Sicht der Autorin darin, dass sie die Erkenntnisse und Methoden der Korpuslinguistik sowie

¹ Wicol – Plattform für ein- und mehrsprachige Kollokationslexikographie - von der Slowakischen Forschungsagentur VEGA und von der Nationalen Forschungsagentur des Schulministeriums der SR unterstützte Projekt 1/0006/2008, siehe URL: http://www.vronk.net/wicol/index.php/Main_Page.

der Kollokationsforschung auf das Gebiet der Kollokationen mit Adjektiven auf die lexikographische Praxis mit potentiellen Auswirkungen appliziert und zugleich ihre Gültigkeit im Rahmen einer konfrontativen Untersuchung überprüft. Das Hauptziel ist, unter Bezugnahme auf das Korpusmaterial zu Grundkenntnissen über die Interoperabilität der Semantik und Kollokabilität ausgewählter Adjektive zu erlangen.

Den Untersuchungsablauf können wir in folgender Sequenzen und Zielsetzungen aufteilen:

- (1) Erstellung der Kollokationsprofile der Adjektive anhand ausgewählter Print-, Online- Wörterbücher und Sprachkorpora, d.h. die Bestimmung der häufigsten Kollokationsbasen von determinativen Syntagmen mit adjektiv-substantivischer Struktur, um ein gut abgestütztes Bild über ihre Kollokabilität und Gebrauch zu erschließen;
- (2) von der kontextuellen Gebundenheit und Kollokabilität ausgehend die semantischen und funktionssemantischen Charakteristika der ausgewählten Adjektive zu beschreiben;
- (3) Vergleich der lexikographischen Auffassungen und ihrer Exemplifizierungen sowohl miteinander als auch mit den aus den Korpora gewonnenen Daten;
- (4) die Angemessenheit und die Anwendbarkeit der ausgewählten lexikographischen Standardwerke bei der Rekonstruktion der Bedeutungspositionen der untersuchten Adjektive zu überprüfen und eventuelle lexikographische Unzulänglichkeiten zu enthüllen;
- (5) Vorschläge für Korrekturen des Inhaltes und der Struktur der lexikographischen Erfassung von den betroffenen adjektivischen Schlagwörtern in ausgewählten, allgemein anerkannten Wörterbüchern, hauptsächlich im Erklärungsabschnitt und im Bereich der Bedeutungsexemplifizierung, evtl. Vorschlag einer eigenen Bedeutungserklärung;
- (6) Paralleles kontrastives Untersuchungsvorgehen, um Analogien und Unterschiede in der Bedeutungsstruktur sowie im Gebrauch zwischen dem deutschen Adjektiv und seinen slowakischen Äquivalenten herauszuarbeiten.

2. Datengenerierung und Erstellung der Kollokationsprofile

Bei der Erfassung der relevanten Kollokationen arbeitet die Autorin in Anlehnung an Ďurčo² mit einer kombinierten Methode der Kollokationsforschung, indem die konzeptuell unterschiedlichen semantisch-lexikalischen und statistisch basierten Ansätze bei der Untersuchung von Kollokationen und bei der Schaffung eines Kollokationswörterbuches nicht als sich ausschließende, sondern als komplementäre Methoden aufgefasst werden, mit deren Hilfe man genauere, komplexere Ergebnisse erzielen kann. Kollokationen werden als „*das gesamte Spektrum von typischen, usuellen, lexikalisierten, und phraseologisierten festen Wortverbindungen*“³ angesehen. Die Behandlung der Phraseologismen fällt außerhalb des Rahmens des Forschungsinteresses der vorliegenden Arbeit.

Die Inventarisierung der mit den ausgewählten Adjektiven vorkommenden Wortverbindungen und Wortformen erfolgt empirisch mithilfe neuester statistisch-komputistischer Methoden der Korpuslinguistik. Dabei wird von der konkreten Sprachverwendung ausgegangen, indem unterschiedliche uni- und bidirektionale deutsche, slowakische Print- und Online- Wörterbücher sowie Sprachkorpora der geschriebenen deutschen und slowakischen Sprache als Quellen benutzt werden. Um die relevanten Kollokationen aus der Datenmenge auszusondern, werden die Ergebnisse mathematisch-statistischen und sprachwissenschaftlichen Kontrollen, wie semantischer und Komponentenanalyse unterworfen.

3. Kontrastive distributionelle und semantische Analyse der Adjektive *nový* und *neu*

Bei der Identifikation der Bedeutung ist es von großer Wichtigkeit, dass wir in Einklang mit der Theorie über die Klassifikation der Konstituentenelemente der Wortbedeutung zwischen der Extension und Intension des Begriffs⁴ unterscheiden. Unter den Begriff *Extension* verstehen wir eine Klasse von Objekten, für die gilt das Bündel der

² Ďurčo (2007a)

³ Ďurčo /Banášová /Hanzlíčková (2010: 5).

⁴ Vgl. Schumacher/Steiner (2009: 180-181).

Konstituentenelemente des gegebenen Begriffes, mit anderen Worten handelt es sich um die Objekte, die die Bedingungen der gegebenen Intension des Begriffes erfüllen.⁵ Das bedeutet, dass die Klasse der Exemplare, auf die sich der jeweilige Ausdruck bezieht, die Extension des Begriffes bildet.⁶ Die Tatsache, dass eine Entität ein Bestandteil der Extension eines Begriffes ist, erfassen wir mithilfe des Prädikats: *unter einen Begriff fallen* und werden behaupten, dass die jeweilige Entität unter den Begriff X fällt, z.B. *Martin Schulz fällt unter den Begriff eines deutschen Politikers*.

Bei der Bedeutungsbeschreibung des Adjektivs *nový/neu* haben wir uns für die Unterscheidung von zwei Bedeutungen, einer absoluten und einer relativen Bedeutung entschieden, deren Abgrenzung in der Philosophie⁷ zugrunde liegt. Demnach existiert das Absolute an sich selbst, das Relative kann aber nicht an sich selbst existieren, es ist nur in Beziehung zu etwas gegeben. Das Absolute kann gegenüber etwas ausschließlich als Ursache oder Grundlage existieren. Dieser Unterschied ist die Grundlage bei unseren Erwägungen, zu denen wir während der Analyse des Korpusmaterials gelangt sind. Unter dem Adjektiv *nový/neu* in absoluter Bedeutung verstehen wir *eine Entität, die kürzlich entstanden ist, d.h. sie begann erst vor Kurzem unter einen Begriff zu fallen*. Das Adjektiv *nový/neu* in relativer Bedeutung deutet darauf hin, dass *etwas begann unter einen Begriff später zu fallen, als alle anderen Entitäten, die bis dahin unter ihn gefallen sind*.

4. Zusammenfassung der Ergebnisse

Das Erörterungsverfahren in den von uns untersuchten Erklärungswörterbüchern ist sowohl für einen fremdsprachigen als auch für einen muttersprachlichen Wörterbuchbenutzer sehr kompliziert.

⁵ Vgl. Dolník (1982b: 17).

⁶ Vgl. Dolník (2007: 24).

⁷ Vgl. Blecha u. Koll. (1995: 13), Vgl. Durozoi/Roussel (1994: 252).

Die vielen Einteilungen in Haupt- und Nebenbedeutungen sind undurchschaubar. Nach den Erörterungen scheint es so, als ob das Adjektiv *neu* 4, 5 (*DWDS*, *Duden*) oder auch mehr unterschiedliche Bedeutungen (*Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Adjektive*, *Wörter und Wendungen*) hätte, je mit unterschiedlichen Nebenbedeutungen. Im *Duden* werden z.B. Haupt- und Nebenbedeutungen miteinander gemischt verknüpft, ohne darauf Acht zu nehmen, dass sie auch ohne aufeinander geknüpft in der Sprachverwendung verwendet werden können (siehe Bedeutungsformulierungen 1., *erst vor kurzer Zeit hergestellt* + *noch nicht gebraucht* 3.a. *erst seit Kurzem vorhanden, bestehend*; *vor kurzer Zeit entstanden, begründet*; *davor noch nicht da gewesen* + *anders als bisher, als früher* 5.a. *seit Kurzem an die Stelle einer anderen Person oder Sache getreten*; *das Bisherige ersetzend, ablösend* + *als etwas nicht Bekanntes gerade erst*). Dieses Erörterungsverfahren ist nicht nur undurchschaubar, sondern dem Sprachbenutzer auch unnatürlich. Die von uns vorgeschlagene Unterscheidung der absoluten und der relativen Bedeutung geht vom Sprachgebrauch aus. Im *Duden* sind die absolute und die relative Bedeutung des Adjektivs *neu* in der Bedeutungsbeschreibung nur implizit präsent, daher bleiben sie inkonsequent durchgeführt. In der ersten Bedeutungsformulierung, zum Beispiel sind zwar beide Bedeutungen angedeutet, jedoch sehr begrenzt. Auf die absolute Bedeutung wird in diesem Fall nur aus der Perspektive der Herstellung hingewiesen. Die allgemeine Existenz, das Vorhandensein, die Begründung sind davon getrennt und werden erst in der 3-en Bedeutung erörtert, die aber zugleich mit der Lesart „*anders als bisher, als früher*“ unnötig relativiert wird. Die relative Bedeutung kommt im zweiten Teil der 1. Bedeutungsformulierung zum Ausdruck: „*noch nicht gebraucht*“, siehe 6.2.1.4.

Die Bedeutungsformulierungen 3.b. *seit kurzer Zeit (zu einem bestimmten Kreis, einer Gruppe o. Ä) dazugehörend*, 3.c. *bisher noch nicht bekannt gewesen*, 5.a. *seit Kurzem an die Stelle einer anderen Person oder Sache getreten, das Bisherige ersetzend, ablösend*, 5.b. [*seit Kurzem*] *hinzukommend*; *weitere[r]/[s]* sind im *Duden* pragmatische Lesarten der relativen Bedeutung:

3.b. *seit kurzer Zeit (zu einem bestimmten Kreis, einer Gruppe o. Ä) dazugehörend* – eine Entität hat später angefangen unter den Begriff zu fallen, als die vorherigen darunter fallenden Entitäten.

3.c. *bisher noch nicht bekannt gewesen* – es fällt unter den Begriff des Bekannten später als die, die bis dahin unter diesen Begriff gefallen sind

5.a. *seit Kurzem an die Stelle einer anderen Person oder Sache getreten, das Bisherige ersetzend, ablösend* – es fällt unter den Begriff einer neuen Entität später als die bisher darunter fallenden Entitäten.

5. b. [*seit Kurzem*] *hinzukommend; weitere[r]/[s]* – unter den Begriff fällt eine weitere, seit Kurzem hinzukommende Entität, später als andere Entitäten.

Die absolute Bedeutung stellen die Bedeutungsformulierungen 1. (teilweise) „*erst vor kurzer Zeit hergestellt*“, 2. „*aus der kürzlich eingebrachten Ernte stammend*“, 3. a. (teilweise) „*erst seit Kurzem vorhanden, bestehend; vor kurzer Zeit entstanden, begründet; davor noch nicht da gewesen*“, 4. „*noch zur Gegenwart gehörend oder nicht lange zurückliegend; [aus] einer Zeit, die [noch] zur Gegenwart gehört oder nicht lange zurückliegt*“.

Von den Erläuterungsverfahren der verglichenen Wörterbücher rückt deutlich hervor, dass die Kodifikatoren die Bedeutungsbeschreibung offensichtlich nicht ausschließlich aus enger semantischer Sicht betrachten, sondern sie berücksichtigen auch die Bedeutung aus der Position des Sprachbenutzers. Sie beachten auch pragmatische und empirische Begebenheiten der Sprachverwendung, die sie aber nicht konsequent und nicht durchschaubar präsentieren. Andererseits besteht die Frage der Zweckmäßigkeit dieser Unterscheidung, wenn die Semantik dieses Adjektivs nach einem einheitlichen Schema interpretiert werden kann, und das, was ihr bei der Sprachverwendung zugeordnet wird, ist die Absicht des Sprechers und des pragmatischen Kontextes und nicht die Bedeutung des Wortes allein. Es wäre problematisch bei der Rekonstruktion der Bedeutung zu überprüfen, ob z. B. das Vorangegangene aufgehört hat die gegebene Aufgabe zu erfüllen, oder ob der Sprachbenutzer ausdrücken wollte, dass er damit aufgehört hat. Bei Wortverbindungen, wie z. B. *die neue Geliebte*, handelt es sich um eine außersemantische Angelegenheit, die nicht die Bedeutung selbst, sondern die Intensität ev. die

Lage der Sache betrifft. Sollen wir überprüfen, ob die vorherige keine Geliebte mehr von X. Y. ist? Wir haben nämlich in den Kopf des Sprechenden, der von der neuen Geliebten spricht, keinen Einblick. Um festzustellen, ob die ursprüngliche Geliebte keine Geliebte mehr ist, bleibt uns nur die Möglichkeit übrig, im Satz evtl. im Kontext nach weiteren Ausdrücken zu suchen, die diese Information signalisieren. Aber in diesem Fall, geht es schon um die Bedeutung von anderen Wörtern und nicht um die Bedeutung des Adjektivs neu.

Die untersuchten Wörterbucheinträge erfüllen praktische Bedürfnisse der Orientierung, aber man soll dabei der Tatsache bewusst sein, dass wir dem Adjektiv sehr häufig nicht nur seine reine Bedeutung zuordnen, sondern die Bedeutung der ganzen Wortverbindung sogar die der kontextuellen Umstände, in denen sie vorkommen.

Die Analyse des Textmaterials hat nicht gezeigt, dass es von didaktischem, Übersetzungs- oder einem anderen Bedarf des Wörterbuchbenutzers abstrahierend, nicht notwendig oder erforderlich ist, das Bedeutungsverzeichnis des Adjektivs *neu* zu erweitern. Das Ergebnis unsere Analyse ist die Vereinfachung der existierenden lexikographischen Auffassungen. Wir bemerken, dass wir diesen Schluss nach der Erforschung des Vorkommens aller erwähnten Exemplifikationen von *KSSJ*, *DWDS*, *DUDEN*, *Wörter und Wendungen*, *Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Adjektive* in realen Texten formulieren.

Literaturverzeichnis

Blecha, I. u.Koll. (1995): *Filosofický slovník*. Olomouc : FIN, 1995. 479 S. ISBN 80-7182-014-8.

Dolník, J. (1982b): Obsah, pojem a lexikálny význam. In *Jazykovedný časopis*. 1982b, 33, 1, S: 11-20.

Dolník, J. (2007): *Lexikológia*. 2. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. 236 S. ISBN 978 -80-223-2308-6.

Đurčo, P. (2007a): *Zásady spracovania slovníka kolokácií slovenského jazyka*. URL: <http://www.vronk.net/wicol/images/Zasady.pdf>.

Đurčo, P. /Banášová, M. /Hanzlíčková, A. (2010): *Feste Wortbindungen im Kontrast*. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Filozofická fakulta. 2010. 127S. ISBN 978-80-81-05-197-5.

Durozoi, G./Roussel, A. (1994): *Filozofický slovník*. 1.vydanie. Praha: EWA Edition, 1994. 352 S. ISBN 8085764075.

Schumacher, F./Steiner, P. 2009. Aspekte der Bedeutung : Semantik. In *Arbeitsbuch Linguistik. Eine Einführung in die Sprachwissenschaft*. 2., überarbeitete und aktualisierte Auflage. Padeborn : Ferdinand Schöningh, 2009. ISBN 978-3-8252-2169-0. S.: 170 –198.

Wörterbücher:

Agricola, E. und Koll. 1975. *Wörter und Wendungen. Wörterbuch zum deutschen Sprachgebrauch*. Leipzig: Bibliographisches Institut Leipzig, 1975. 818 S.

Sommerfeldt/Schreiber 1974. *Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Adjektive*. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, 1974. S.435

Quasthoff, U. 2011. *Wörterbuch der Kollokationen im Deutschen*. Berlin/New York : de Gruyter, 2011. 552 S. ISBN-10: 311018866X. ISBN-13: 978-3110188660.

Online-Wörterbücher:

- Krátky slovník slovenského jazyka: <http://slovník.juls.savba.sk/>
- Duden Deutsches Universalwörterbuch: www.duden.de
- DWDS - Digitales Wörterbuch der Deutschen Sprache ein Wortauskunftssystem zur deutschen Sprache in Geschichte und Gegenwart: www.dwds.de
- Leodictionary: www.dict.leo.de
- Canoo.net: www.canoo.net
- Owid: www.owid.de
- Openthesaurus: www.openthesaurus.de
- Dict: www.dict.cc
- Woxikon Grammatik: <http://gramatik.woxikon.de/>

Korpora:

- DeReKo: <http://www.ids-mannheim.de/cosmas2/>
- CCDB: <http://www.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora/>
- DWDS: www.dwds.de
- Slovenský Národný Korpus: www.korpus.juls.savba.sk

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПАМЯТНИКОВ ПИСЬМЕННОСТИ ИСТОРИКАМИ И ФИЛОЛОГАМИ

А.Н. КАЧАЛКИН

Ю. С. Степанов обращал внимание на то, что современное языкознание характеризуется разнообразием как частных методов, так – и в еще большей степени – языковедческим преломлением общенаучных методов. Вместе с тем сохраняет свое значение общий филологический метод – интерпретация текста, заметим, в том числе и с точки зрения его создателей. Современные тенденции в развитии метода характеризуются отказом от исключительности того или иного общего метода, стремлением сочетать и комбинировать различные общенаучные, общие и частные лингвистические методы (ЛЭС: 199).

Это особенно видно по отношению к первому научному методу в языкознании – сравнительно-историческому – первому и наиболее регулярному в применении и не случайно в течение многих десятилетий рассматривавшемуся как универсальный метод. В силу своего достаточно всеобъемлющего характера он дает возможность надежно и продуктивно сравнивать не только разные языки, но и разные периоды непрерывного исторического развития – важнейшего свойства языка вообще.

Филологи изучают язык как общественную систему в ее истории и современности. В настоящее время нас больше привлекает история и потому считаем важным выяснить подходы, принципы анализа, памятников письменности историками и филологами.

Язык народа и история народа, его культура неразрывны. В столь же неразрывной связи должно происходить и их изучение. На тесную связь истории и филологии, на необходимость совместных, дополняющих друг друга исследований обращали внимание как историки, так и филологи. «История и филология

оказываются тесно связанными друг с другом. Эта связь находится и в общественных отношениях людей и в текстах, через которые эти отношения проявляются и объясняются», – писал филолог Ю.В. Рождественский (1979: 10). «Филология как бы доводит содержание текстов до современников, воспроизводя и комментируя их... История же рассматривает тексты как исторические свидетельства и исторические останки, восстанавливая и реконструируя по ним картины прошлой жизни...» – так объяснял задачи историка и филолога при совместном изучении исторических памятников Л. В. Черепнин (1972: 211).

Изучение документов определенной эпохи невозможно без знания условий их возникновения и употребления, без серьезной начитанности в деловых текстах, без знания интерпретации этих текстов историками. Филолог не только прислушивается к суждениям историка, он эрудируется от историка в истолковании предметно-исторического содержания документов.

Историка интересует тематика дел в их эволюции, расширение самой тематики, усиливающееся разнообразие дел. В этом историк видит развитие социальных отношений, различных юридических и административных явлений. Историк важно, какую сторону и какие факты общественной жизни отражает деловой текст и в чем его классовый смысл. Как утверждает А. П. Пронштейн (1976: 361), «ценность актового материала» историк видит прежде всего в том, что он, «как правило, достоверно и точно фиксирует запечатленные в нем события, в том числе явления хозяйственной жизни, социальных отношений, внутренней политики, юридического быта и классовой борьбы».

Историк раскрывает закономерности в развитии разных сторон общественной жизни, стремится установить степень распространенности и типичности явлений, отраженных в деловых текстах. Историка интересует содержательная сторона документа, сами общественные факты, возникновение социально значимых явлений, например, сведения о феодальном иммунитете и его эволюции, о системе внеэкономического принуждения, об истории хозяйственных связей, о прерогативах политической власти князей, о деятельности исторических личностей и другом подобном.

Л.В. Черепнин (1951: 59-60) усматривал главную цель изучения актов в раскрытии их классового и политического смысла и установлении их места в конкретных условиях общественной жизни, в раскрытии « характера реальных общественно-экономических отношений, нашедших свое отражение в тех или иных разновидностях актового материала».

С.М. Каштанов в работах последних лет ставит ряд проблем научной критики актового материала, совершенствуя один из основных методов исследования актов – формулярный анализ (предложенный еще А.С. Лаппо-Данилевским). Он показал, что благодаря формулярному анализу можно отделить случайное от закономерного, выяснить условия возникновения и совершенствования актов, а в связи с этим и конкретно-исторические факты и процессы (Каштанов 1970).

Уже по характеру обращения с формуляром видно разное отношение к деловому тексту историка и филолога: историк видит за формуляром конкретный текст, оформленный по определенным правилам, филолог – тип документа в его содержательно-графических характеристиках. Историк (и юрист) через формуляр видят приданную деловому тексту законную силу за счет практически примененных правовых норм, филолог – доведенный до завершенного состояния деловой текст за счет рационального применения реквизитов, необходимых именно для данного жанра. Историк разбирает дела, филолог – жанры, слова и языковые процессы в разных их проявлениях. Обращаясь к филологу за объяснением буквального, связанного с внутренней формой значения слова, историк может глубже постичь дело, изложенное в документе. Историк через язык интерпретирует действительность, филолог через действительность интерпретирует язык.

Поскольку историк привлекает документы для изучения, решения конкретных вопросов о содержании исторического процесса, им могут быть использованы отдельные документы, сообщаемые наиболее содержательные сведения по интересующему исследователя вопросу.

Филолог может не столь внимательно изучить все частности конкретного содержания отдельного документа, но его интересует вся совокупность документов, их система, открывающаяся через взаимоотношения между жанрами документов с целью выяснения своеобразия языкового содержания и, соответственно, коммуникативного значения каждого жанра.

Историка интересуют преимущественно темы, по которым появлялись дела, тематический документный состав дел; Филолога – тип документа, реализующий совокупность тем во вполне сложившейся форме, определившимися языковыми средствами.

Филолог строит систему речевых актов. Его интересуют типы документов как инварианты в их отношении к вариантам (отдельным документам). Через это филолог видит индивидуальность конкретного документа. В результате анализа документов по дистинктивным признакам он описывает совокупность документов как документную систему.

Основным классом документов в документной системе является жанр. Филолога интересует система жанров деловой письменности, история (в том числе хронология) определенного типа текста как жанра, его филологическое содержание: стиль, язык, словарь; в частности, его может заинтересовать наименование жанров, связь этих имен (самоназваний документов) с содержанием документов.

Историки обычно классифицируют документы по тематическим признакам, создают предметную классификацию. Поэтому при характеристике типа документа они стремятся обобщить предметное содержание групп документов и сообразно этому ведут издание документов, сводя в одно целое по делам документы одного архива либо документы разных архивов, объединенные общей тематикой.

Интересуясь документом как произведением словесности, филолог классифицирует их так же, как другие произведения словесности, – ориентируясь прежде всего на их жанровый состав. Различие во взгляде на документ проявляется в том, как называют филолог и историк документы при их публикации. Историк, классифицируя русские документы допетровской канцелярии, определяет их по темам и, исходя из основного содержания,

зачастую присваивает им свое тематическое название. Филолог при классификации, последующем изучении и публикации документов предпочтет использовать встречающиеся в текстах самоназвания документов. Филологу известны из памятников такие определения к слову кабала, как заемная, закладная, служилая; он должен отметить и реже встречающиеся другие названия этого слова и прочее вкладная, двойная, денежная, залетная (от лето – год), зарядная, заставная, нарядная, хлебная. Но названия ростовая, или полная или заживная, встречающиеся в исследованиях у историков (последняя – у Татищева), в подлинных памятниках не встречаются, и поэтому филолог не может включить их в классификации документов. Филолог классифицирует документы по словам, которые в них встречает, и особенно по самоназваниям документов. Отправным пунктом для него является слово.

Филолог эрудируется от историка, но это не означает, что он заимствует у историка интерпретацию текста. Интерпретация одного и того же источника у историка и филолога может быть и различна: например, историка в таможенных документах интересуют хозяйственные связи, филолога – междиалектные отношения. Различным будет их отношение, например, к такому документу, как записные книги крепостей. В этих книгах записывалось содержание явленных в административное учреждение документов – крепостей на право владения людьми. Историк, изучающий тему похолопления, закабаления людей, использует эти книги наравне с подлинными кабалами, полными или докладными записями, но филолог, интересующийся филологической культурой документа, различает первичный и вторичный документы, разделяет типы документов, находит каждому из них свое место в жанристике и документообороте. Определение интересов и задач историка и филолога к документу или – шире – вообще к типу источника отнюдь не предполагают разъединения их в работе, наоборот, общий труд специалистов оказывается здесь плодотворным. Не случайно наиболее успешно продвинулось дело в изучении частных актов Московского государства на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета, где под руководством А. С. Лаппо-Данилевского

в 1903 г. Объединились в кружке по дипломатике историки и филологи. Члены кружка (А.И. Андреев, С. Н. Валк, В. И. Веретенников, Б.Д. Греков, М.Ф. Золотников, М.Н. Смирнов, и др.) подготовили ряд интересных и глубоких исследований по форме и содержанию разновидностей русских актов; часть исследований была опубликована в виде статей в юбилейном сборнике по случаю двадцатипятилетию деятельности ученого (Ист. обозр.).

В статье Л.В. Черепина «К вопросу о методологии и методике источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин» есть суждение о летописи «как о памятнике двуедином по своему характеру - литературном произведении и историческом источнике» (Источниковедение... 1973: 59).

Эта идея двуединого источника может быть применена и к документным текстам. Документные тексты, безусловно, исторический источник, необходимый для исследования социально-экономических и многих других вопросов, но вместе с тем они источник и филологический, важный для изучения истории русской письменности, истории языка и истории филологической культуры. Документы вызывают интерес у филолога как свидетельство формирования делового стиля общенародного языка, языка московских приказов и местных канцелярий. Документы в своем жанровом составе формируются до конца XVII и начала XVIII в.

Филологическая интерпретация источника позволяет историку глубже вскрыть содержание, выяснить истинную сущность излагаемого в нем дела. В частности, через определенный тип (жанр) тематически однородных документов может быть выяснен разный характер отношений между людьми. Купчая грамота, купчая запись, купчая память пишутся на одну и ту же тему, но грамота является текстом распорядительного характера, запись – фиксацией условий о передаче имущества, а память – долговым обязательством на имущество в виде памятной записки.

Как уже было сказано, наиболее продуктивным для углубленного понимания смысла и назначения документа является сотрудничество историка и филолога. Вместе с тем филолог имеет свой взгляд на документы и свои методы их исследования. Филолог

предлагает дистрибутивный метод анализа типов деловых текстов через их модальность, реализацию в отдельных видах документов определенных жанров деловой письменности.

Литература

Историческое обозрение. Сборник статей, посвященных А.С. Лаппо-Данилевскому. Пг., 1916. Т. XXI.

Источниковедение отечественной истории. М., 1973.

Каштанов С.М. Очерки русской дипломатики. М., 1970.

Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1993.

Пронштейн А. П. Методика исторического источниковедения. Ростов-на-Дону, 1976.

Рождественский Ю.В. Введение в общую филологию. М., 1979.

Черепнин Л. В. Русские феодальные архивы XIV-XV веков. М., 1951. Ч.П.

Черепнин Л. В. Из наблюдений над лексикой древнерусских актов (к вопросу о термине «правда») // Русская историческая лексикология и лексикография восточнославянских языков. М., 1972.

CONCERNING THE HISTORICAL FRAMEWORK OF PROTO-STANDARD ENGLISH

HIKARU KITABAYASHI

This short attempt paper has its origin in an inability to accept a basic premise of English historical linguistics, being that phonological drift in English during the late 15th century dramatically changed the pronunciation of English, creating diphthongs out of long vowels and adding new monophthongs to those already existing, thus giving modern English a far more complicated vowel system than had previously existed. The unwillingness to accept automatically accept this position currently considered as orthodox among students of English historical linguistics led to further questioning of how English might have evolved and eventually to the question of what Proto-English might have been, at least in a general outline. In connection with this, the basic assumption is that history, both in its written and archeological forms, are, when available, applicable to issues of language reconstruction. It also assumes that history, as much as is possible, should be at the foundation of relevant theory. That this was automatically the case, especially in the 19th and early 20th centuries should not be assumed to be a given.

In the first edition of *An Anglo-Saxon Reader* (1894) to include specimens of other dialects of Old English than just those representative of the West-Saxon dialect, Old English is described as having had four dialects, consisting of an Anglian group of two dialects (Northumbrian and Mercian), the West-Saxon dialect of Wessex, and Kentish dialect. Its author, the highly influential Henry Sweet, distinguishes between two periods of Old English (the English of Wessex), early (700 to 900 a.d.) and late (900 to 1100 a.d.). For his readers, however, he standardizes the book's glossary on the basis of early West-Saxon, being specifically mentioned as the language of King

Alfred, and does so on the grounds that spelling change between dialects were largely regular. This reflects a methodology employed in *An Anglo-Saxon Primer* of 1882 where, for pedagogical purposes, he also chose to standardize the Anglo-Saxon texts appearing in the textbook on the English of King Alfred.

The excuse Sweet gave for his standardization was that it was necessary to make things as simple as possible for beginners. Sweet also felt it was not an important issue in that the jump from the spelling of early West-Saxon to that of late West-Saxon or to Mercian, from which he mentions in passing that Modern English was derived from, was not a great one. He also felt justified in his view point in that the work of the well-known German scholar, Seivers, also showed points of similarity. In addition, he maintained a system of accentuation which he, himself, recognized as being "prehistoric" and admitted that current understanding of Old English phonology was still incomplete. Nevertheless, this standardization affected much of the published work of the 19th and 20th centuries and has produced a large published corpus of material which does not fully reflect the manuscripts on which the said material would have been derived.

Sweet and his followers, however, were not alone in their desire to improve on the manuscripts they did research on. A good example is the *Beowulf* poem for which there is, even today, no published edition which accurately reflects the formatting of the original manuscript, though spelling is usually scrupulously respected.

According to the theoretical framework for the origins of English which was provided by the German Neo-Grammarians and their English disciples in the 19th century, it was and is still accepted as fact that English is a member of the Lower Germanic sub-group (including Dutch and Frisian) of the West Germanic branch of Germanic languages. Comparative linguistic approaches to the study of languages would put this belief beyond debate. It was and is also accepted that the Jutes, the Angles, and the Saxons immigrated to England in large numbers upon the fall of the Roman Empire where they set up the various kingdoms of the Heptarchy period during the fifth and sixth centuries. That all of the major kingdoms, barring one, were set up under the rule of individuals claiming to be members of the same extended continental Anglian royal family is beyond doubt. However,

archeology, combined with the total silence of dark age historians will make the point of mass immigration, at least, a debatable one. Although the point of origin of English (and its timing) as English and not some other Germanic language is never discussed, the identification of dialects of Old English which would have already been existing from as early as the 8th century, would imply the existence of a proto-English language that would have had to have existed on the European continent and that all of the invading tribes would have been speakers of this proto-English language. Archeology and history, however, would make this a point capable of being debated, too.

Concerning language change, itself, the cause most commonly put forth for language change was pronunciation drift, it having been considered in England among scholars from the 19th century on that pronunciation drift was an inevitable law of language change and could account for the existence of all of the Indo-European languages. 20th century studies in dialectology would indicate, however, that pronunciation drift is not an inevitable feature of English dialect development and current research in speech pathology would indicate other avenues by which pronunciation change of a dramatic sort can occur, including disease, genetic factors, and accidents resulting in head trauma. Moreover, research on creoles and pidgin languages show that the development of new languages, given the right circumstances, happens with a far faster speed than can be accounted for by any form of drift. Tok Pisin of Papua New Guinea is a case in point, having its first period of development as a Pidgin in the early 20th century, becoming a recognized creole in the early post World War II period, and a national language in the 1970s.

It would seem that the central assumption behind the theory of pronunciation drift was an assumption so basic that it was not directly expressed. Nevertheless, it was fundamental. 19th century students of Indo-European studies were universally of the belief that people were, for the most part, monolingual. This assumption profoundly influences the theoretical approach to Anglo-Saxon studies in that there is an assumption that the ruling class and the lower classes, within the various heptarchy kingdoms, would have always spoken the same language, that diglossia or polyglossia, if it existed,

would have been an exceedingly rare phenomenon, limited to those speaking non-Germanic languages or having extensive dealings with such individuals. Studies in geolinguistics show that for much of the world, polyglossia is the norm and monolingualism the exception, especially in third world countries where reading and writing in any language is not a given and communication competence depends on an active conversational knowledge of sometimes as many as four or five different languages. The actual linguistic situation with regard to languages spoken or otherwise used by the different classes of people during the Heptarchy period could have been quite complex, indeed.

The arguments put forth in the 19th century were convincing in their simplicity and, in lieu of actual historical evidence, were universally accepted. One important point, however, was ignored. Generally speaking, a proper historical context, the when and where of the process was not touched upon in a satisfactory manner. In this paper, it is proposed that, in order to better focus on the concretely historical aspects of what might or might not have been possible at any particular time or place, the traditional theoretical assumptions of historical linguistics should not be immediately considered. Rather than focusing on what theory might cause one to expect to be true about history, an attempt should be made to discuss what history might allow one to expect with regard to theory as regards to Proto-English.

In trying to reconstruct Proto-English it would seem desirable to begin with the standard language of English of the modern era and to work backwards therefrom. Use of manuscript materials from of the Anglo-Saxon dialects surviving in written form should be saved for a later stage as none can be safely identified as belonging to a dialect directly ancestral to the modern standard language, even though it may well be that the language of a certain number of such manuscripts is. Going back from modern English, it may be seen that the language of Geoffrey Chaucer and others of his group was representative of a dialect directly ancestral to the modern language. Going back from Chaucer it might be possible to identify specimens of English with a historical connection to the dialect he used, perhaps as early as the 12th century and certainly the 13th.

The break between the use of the Anglo-Saxon language of the kings of Wessex and the different dialects of the language spectrum

making up what is traditionally considered to be Middle English is too abrupt to be accounted for by the traditional assumptions of language change through pronunciation drift. The last identifiably Anglo-Saxon document reflecting the language of Wessex was written toward the end of the reign of Henry I, whereas the first document that can be identified as Middle English is assumed to be written at the beginning of that reign, less than 50 years after the Norman Conquest. There are many post World War II examples of modern languages (including unwritten ones) having survived with pronunciation and grammar intact after a far more massive social disruption than the English experienced under the first three Norman kings. It would not seem that social disruption would need to account for the extreme nature of the change evidenced by the surviving manuscripts of the Anglo-Saxon period when compared with the earliest English manuscripts of the late Norman and early Angevin eras.

One other so far completely overlooked possibility would have been that the English of the Anglo-Saxon period, like most primitive peoples today, were polyglots and that the language of the uppermost class was not representative of the language of perhaps most of the largely illiterate lower classes over which they ruled. What social disruption would have accomplished is the destruction of an upper class producing manuscripts based on the language of the kings of Wessex. Post Norman Conquest social disruption is, thus, unlikely to have affected, other than in vocabulary, the language of the masses, especially as immigration from France was minimal in comparison with the numbers of people being ruled.

Rather than seeing modern English as a development, through the Middle English dialect used by Chaucer, of an upper class Anglo-Saxon dialect, it would appear safer to assume, until and unless proven differently, that modern English had its origins in a lower class dialect not preserved in surviving manuscripts due to its perceived vulgarity at the time those manuscripts were written. If we accept such an assumption, we must then, in the case of proto-English, be aiming for a reconstruction of a language of the lower classes and must first seek to determine the origin of those lower classes and how and when they might have arrived in England.

However, Proto-English must be seen in terms of being directly ancestral to modern English and not any one or other of the written Anglo-Saxon dialects of the pre-Norman Conquest era of English history, the reason being that English, as a language, is universally identified today with standard modern English and this standard language is virtually identical in its written form throughout the English (and, even more so, among the non-English) speaking world, no matter how it might vary in pronunciation. Fortunately, its geographic point of origin is known, being the the region of England north of the Thames and below the Humber and centering on London and the two university towns, Oxford and Cambridge. Thus, in trying to identify a proto-language, it is important to consider the history of that part of the English Midlands, an area which did not include every part of the Mercian kingdom and especially that of the West Country bordering on Wales.

Unfortunately, the part of England which produced the dialect from which modern English evolved does not lend itself to historical study in a normal historical sense for the Anglo-Saxon period, due to the fact that this region was not at the political center of any of the Heptarchy kingdoms. London, itself, is, for a time in the early Heptarchy period, considered by most past historians to have been largely, if not completely, uninhabited. When it did come back to historical notice, it was as a border town and under varying degrees of influence from the kingdoms of Mercia, Essex, and Kent. As for Oxford and Cambridge, they did not gain prominence until the high middle ages. One must rely on archeology and what can be gained by implication from the history of neighboring kingdoms. Determining what the historical trajectory of the development of this region might have been in terms of language, without getting side-tracked from the beginning on more or less related, yet non-ancestral dialects and languages, has so far proven to be a most elusive thing to do, as can be seen by the historical focus of the 19th and 20th centuries on the written language of the late Anglo-Saxon era, a language which cannot be ancestral to any dialect which eventually developed into modern standard English.

Moreover, the connection between languages and the names by which they are known is a slippery thing, sometimes even sowing

seeds of confusion rather than clarifying matters. If the royal genealogies of the Heptarchy have in them content, indicative to even a fairly small extent, of actual history, then all of the royal families, save one, were related to each other in the male line, being offshoots of the same Anglian royal house. Nevertheless, although the Anglian name was commonly used by the kings of the Heptarchy in the form of “king of the Anglies and Saxons”, it was not generally used in the naming of the kingdoms, themselves, over which the various kings of the Heptarchy period ruled. Rather, the word “Saxon” was in more common use (Essex, Middlesex, Sussex, and Wessex), even coming to be the origin of the Welsh word for England and the English as a whole, though for the greater part of the Heptarchy period, Mercia (a kingdom traditionally considered to be Anglian) was the regional English power with which the Welsh princes had to contend. This, too, would seem to indicate a Germanic presence in England known to the Welsh as Saxon which would have pre-existed the kingdoms of the Heptarchy, themselves.

The Saxons, in fact, were originally a confederation of Germanic tribes and not a people with a single tribal tradition and it was not until the reign of King Alfred's grandfather, Egbert, that the term “king of the English (Angles)” rather than “king of the English (Angles) and Saxons” appears to have become the preferred usage of the kings of Wessex. This may have been due to a wish not to upset Charlemagne in the years immediately after his final conquest of the Saxons. It may also have been due to a desire to emphasize that the kings of Wessex were the sole survivors of the royal house of the Angles. The lower classes, however, even if they were speakers of some Germanic dialect or other, need not have been either Angles or Saxons (or, in Kent, Jutes), but would have been given whatever name that was being used to apply to their rulers.

In fact, the language said to show the closest relationship to English among living languages is Frisian. One would, of course, assume that the Frisian most scholars refer to as being closely related to modern English is the standard language of the Dutch province of West Friesland. Considering this, then matters should be straightforward. “Should be” and “are”, however, are two different matters. Frisian, as English, has been described in terms of many different dialects,

about which there is scholarly debate as to whether some of them do not constitute separate languages. Things are further complicated by the great lack of historical documentation available for Frisian before the later middle ages. Further complicating matters are the fleeting mentions made in histories of the Dark Ages of tribal movement and reorganization in this part of the Germanic speaking world. One would not be surprised if, with the use of Corpus linguistics software tools, a more thorough examination than has hitherto been possible might show that it is not West Frisian, but one or more of the other Frisian dialects which actually exhibit even closer genetic relationships in linguistic terms with modern English.

Nevertheless, before comparative linguistic research can be safely undertaken, it would be incumbent to first work out the linguistic relationships of the many dialects of Frisian and other Germanic languages which existed at one time or another along the North Sea coast from France to Norway and then try to determine to the extent archeology and written history would allow an interpretation of how these relationships might fit into the actual history of the Frisian islands, themselves. It would appear to be that only on this basis that one could safely begin a discussion of the influence of any one or other dialect of Frisian on the development of the English of the London-Oxford-Cambridge axis.

One can safely assume, however, that the heaviest influx of Germanic language speaking people to England had to have taken place either directly from what is now the Frisian language speaking areas of the Netherlands and the German North Sea coast and that this probably happened at a period of history when they would have most likely been members of the Saxon federation. There is a historical reference to an unspecified number of Frisians being forcefully resettled by the Emperor Constantius Chlorus in England as serfs in 296 a.d. Moreover, this is confirmed by archeology which shows fourth century pottery in Kent which had formerly been used only on the Frisian islands. Other settlement in England, especially along the English coastal areas of the English Channel and the North Sea might

also be imagined as large areas of coastal Frisian lands in the Netherlands were lost to the sea in the 4th century. Archeology, furthermore, shows a fourth century presence of Germanic speaking people as troops serving under Roman commanders and as a population, presumably of traders, exercising their activities in the fortifications of the Saxon Shore. In fact, the Roman official, Comes Littoris Saxonice, might just as well mean "Count of the Saxon-inhabited Shore" as "Count of the Shore to be defended from the Saxons" which is the usual yet impossible to substantiate interpretation of the term. Clearly, for at least a hundred years before the end of the Roman Empire, the relationship in Britain between the Empire and Germanic speaking people cannot have been that of simply civilization versus pirate. It had to have been far more complex. Thus, though the evidence, both archeological and historical, for heavy immigration from the Frisian speaking areas to England is sparse and, at best, tentative, what does exist would point to the end of the third century and beginning of the fourth rather than to the fifth century or later, thus indicating at least a possibility of any Frisian dominated influx of Germanic language speaking peoples being well before the Roman Empire collapsed rather than after.

Another point which must be mentioned, even if full discussion is not possible, is that, even at the time of the first Roman incursion into England by Julius Caesar, it cannot be automatically ruled out that groups of people speaking some Germanic language or other were already living in England as permanent residents. First, there is the commonsense matter that, if the Phoenicians had a trading presence in Britain perhaps 2000 years or more before Christ, then the likelihood of Germanic speaking peoples living on the North Sea trading with Britain is not a far-fetched matter to consider. Secondly, the possibility of the presence of people speaking some Germanic language of other would have been enhanced by the fact that certain tribal units of the Belgae possessed lands in what later became Wessex.

The Belgae were a federation of tribes living in Belgium and north-eastern France. A scholarly debate has, with no likelihood of a rapid conclusion, been continuing for at least 200 years as to whether the Belgae were Germanic or Celtic or a mix of the two. If they were a

mix, then from at least 100 b.c. people speaking one or other Germanic languages would have been living in at least what later became Wessex.

As very little is known about the history of the London-Oxford-Cambridge triangle during either the Heptarchy or subsequent periods of English history down to the reign of Henry II, knowledge from other disciplines must, therefore, be brought to bear on the problem as a supplement, though not substitute for, the meagerness of the historical data available. These disciplines include not only archeology, but might also usefully include recent studies of dialectology, speech pathology, and polyglossia. Taken as a whole, one might expect to find indications suggestive of the forces that one might expect to have been at work during the last century before and the first century after the end of the Western Roman Empire in England.

On the basis of the above discussion, a proposed time frame and geographic location for the origin of Proto-Standard English is the 4th century and along the Littoris Saxonice which seems to have included the Thames estuary and could very well have extended as far as London. It is, furthermore, proposed that Proto-Standard English was a lower-class language of a mix of immigrants from the rising 4th century sea coasts of the North Sea off the Netherlands and Germany; that this mix of immigrants was indiscriminantly termed Saxon by the Romans irregardless of tribal affiliation; and that the predominant population group was the same tribal grouping that became known as Frisian during the Middle Ages.

If Proto-English, indeed, had its origin in England as a lower class language rather than on the European continent as a royal language, it would have been as a Pidgin of sorts, mirroring to a certain extent the situation with the Tok Pisin of Papua New Guinea, thus becoming a self-perpetuating language within a relatively short time, perhaps in as short as 50 years. Furthermore, it might be expected to have been far closer to the Middle English of the London-Oxford-Cambridge triangle than to any Anglo-Saxon era dialect for which manuscript evidence survives and, from its earliest beginnings, would have been largely free of the elaborate declensions characteristic of the written Old English of King Alfred and of the other branches of the extended Anglian royal family which ruled most of the English kingdoms of

the Heptarchy. Moreover, as phonological studies of Old English and Middle English have been carried out on the basis of demonstrably shaky premises, there might be no need for a theory of a Great Vowel Shift to account for phonological change when change might not have actually happened with regard to English on a linguistically global scale at any time between the 4th to the 21st centuries.

It is to be hoped that the above summary of a case being made for Proto-English having been, from the beginning, an English phenomenon, incomplete as it is in its details and lacking in substance, will stimulate further discussion.

Recommended texts

Bede, *A History of the English Church and People*, Penguin Books, 1983

Dumville, David N., *The Historia Brittonum*, D. S. Brewer, 1985

Giles, J. A., *History of the Ancient Britons, from the Earliest Period to the Invasion of the Saxons*, London: George Bell, 1847

Kiernan, Kevin S., *Beowulf and the Beowulf Manuscript*, Rutgers University Press, 1984

Kirby, D. P., *The Earliest English Kings*, Unwin Hyman, 1991

Lapidge, Michael & Dumville, David, *Gildas: New Approaches*, The Boydell Press, 1984

Lapenberg, J. M., *A History of England under the Anglo-Saxon Kings*, Vol. I, London: John Murray, 1845

Pryor, Francis, *Britain AD*, Harper Perennial, 2004

Salway, Peter, *Roman Britain*, Oxford University Press, 1984

Stafford, Pauline, *The East Midlands in the Early Middle Ages*, Leicester University Press, 1985

Sweet, Henry, *A Second Anglo-Saxon Reader Archaic and Dialectal*, Second Edition, Oxford at the Sweet, Henry, Sweet's Anglo-Saxon Primer, Ninth Edition, Oxford University Press, 1984

Clarendon Press, 1978

Thompson, E. A., *Saint Germanus of Auxere and the End of Roman Britain*, The Boydell Press, 1984

Yorke, Barbara, *Kings and Kingdoms of Early Anglo-Saxon England*, Routledge, 1990

ЯВЛЕНИЕ МЕТАФОНИИ В РОМАНИИ (К ПРОБЛЕМАТИКЕ ИННОВАЦИЙ И ЯЗЫКОВОГО ЕДИНСТВА)

М.А. КОСАРИК

Предлагаемая тема доклада возникла на пересечении идей сравнительно-исторического языкознания и изучения современных романских языков.

- И.М. Тронский в «Очерках из истории латинского языка», останавливаясь на связях итальянских языков, и в частности латыни, с другими индоевропейскими языками, затрагивает проблему соотношения ареалов «центральных» / «периферических» и зон «инноваций» / сохранения «старого положения вещей» (Тронский 1953: 47 и след.).
- Эта проблематика, давно и прочно занявшая свое место в романистике, особенно при обращении к национальным вариантам романских языков, позволяет, однако, по-новому взглянуть на явление метафонии.
- При обращении к национальным литературным языкам создается впечатление, что метафония характерна только для периферии романского ареала: она отсутствует во французском, испанском, итальянском и отмечается только в португальском (его пиренейском варианте) и румынском. Однако при более внимательном взгляде нетрудно убедиться в том, что метафония представлена в Романии весьма широко. Она охватывает северные и центрально-южные диалекты Италии (напомню о роли

региональных разновидностей речи в связи со спецификой социолингвистической ситуации Италии), астурийский и галисийский в Испании, ретороманский в Швейцарии и даже диалект галло (Бретань) во Франции. хотя в целом во Франции она представлена мало.

- Значительно более широкое распространение метафонии, чем это может показаться при обращении к литературным романским языкам, заставляет вспомнить о корреляции центра / периферии и инновационности / архаичности. Хотя языковой материал показывает, что это соотношение не всегда соблюдается абсолютно прямолинейно, но все же тенденция четко прослеживается.
- Примечательно, что территориальной основой нормы большинства романских языков стали зоны, первоначально периферийные, выдвинувшиеся на роль центральных позднее в силу особых исторических условий на разных этапах формирования романоязычных государств (ср. выдвижение Кастилии и, соответственно, кастильского в Испании¹, а также Тосканы, в основном послужившей территориальной базой итальянской нормы). Для речи этих территорий были характерны различные инновации, отличавшие их от окружающих разновидностей романской речи, ставших периферийными, значительная часть которых сохранила такое «архаическое», с позиций романских литературных языков, явление как метафония. (Отметим, что португальский, сохраняющий метафонию, относится к тем литературным языкам, которые сложились не на основе одного выдвинувшегося диалекта, а в результате консолидации диалектов в ходе смены диалектной базы, продолжавшейся на протяжении нескольких веков).
- Сложилось так, что именно те разновидности романской речи, выдвинувшиеся на роль национальных литературных языков, которым не свойственна метафония,

¹ Сходный процесс имел место и во Франции, которой мы здесь не касаемся в связи с меньшим, чем на других зонах Романии, распространением метафонии.

воспринимаются как «характерные представители» своих подгрупп (иберо-романской, галло-романской, итало-романской). Однако внимание к метафонии при обращении ко всей совокупности романской речи позволяет говорить о значительно большем единстве, прерываемом скорее отдельными зонами с характерными для них значительными инновациями, выделяющими их из окружения, зачастую архаизирующего. Архаичность этого окружения определяет иногда значительно бóльшую близость различных зон Романии, чем это может показаться при обращении лишь к национальным литературным языкам.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕОРИИ ЯЗЫКОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

К. Г. КРАСУХИН

1.

Языковые изменения — «вечная тема» языкознания. Язык — сложная открытая система, постоянно не равная сама себе. При этом причину языковых изменений (ЯИ) довольно трудно определить, а их направление — предвидеть (хотя опыты создания лингвистической прогностики имеются). При обзоре отечественных и зарубежных теорий ЯИ можно выделить следующие подходы:

А. Теория «двойной принадлежности» Ф.Ф. Фортунатова, основанные на ней теория изменений В.А. Богородицкого, теория «индукции» Л.А. Булаховского, теория дивергенции-конвергенции В.К. Журавлёва; с ними связана и теория фреквенталий Б.А. Серебренникова.

В. Структуралистская теория Г. Хёнигсвальда, опирающаяся на модель языкового окружения З. Хэрриса.

С. Генеративистский подход П. Кипарского и Р. Кинга, в котором изменения рассматриваются как набор появляющихся и исчезающих правил.

Д. Функционалистская теория У. Лабова, различающего внутренние, социальные и когнитивные изменения.

Можно предложить оппозицию обратимых: необратимых изменений в языке. Обратимые изменения в фонологии → вариации и варианты фонем, необратимые изменения в фонологии → морфонология; обратимые изменения в морфонологии → словоизменение и словообразование, необратимые изменения в морфонологии → деэтимологизация. Обратимые изменения в словоизменении → парадигма, необратимые → словообразование.

Необратимые изменения в словообразовании → деэтимологизация. Обратимые изменения в синтаксисе → свободное сочетание элементов, необратимые → грамматикализация.

Рассмотрим взаимоотношение языковых изменений.

1.1. Единство элемента языка vs. щепление. Здесь различаются два варианта единицы и две различные единицы, пусть и имеющие общее происхождение:

вода [в^дá] — *воды* [вóды] vs. (1) *ровный* — *равный*, (2) *толкать* — *подталкивать*

В первом случае благодаря подвижному ударению в словоформе чередуются варианты фонемы. Во втором случае происходит чередование различных фонем, обусловленное различными факторами. В (1) противостоят исконное и заимствованное слово, восходящие к одному корню, приобретшие разное значение. Попутно следует отметить, что русский и церковнославянский варианты чаще различаются не семантически, а стилистически: *надежда* — *надѣжа*, *одежда* — *одѣжа*. Следовательно, здесь, в отличие от пары *ровный* — *равный*, фонематическая разница не привела к образованию двух новых единиц. В (2) противостоят морфонологические варианты одного корня. Они образуют две несомненно родственные, но всё-таки различающиеся единицы — видовую пару глаголов. Глагольный вид занимает в системе русского глагола положение, промежуточное между словообразованием и словоизменением. Общим со словообразованием в нём является разнообразие морфем (префиксы и суффиксы), и иногда многозначность суффиксов (так, суффикс *-ну-* образует совершенный вид в основе *толкну-* и несовершенный в *сохну-*). Со словоизменением же систему видов объединяет обязательность видовой характеристики каждой глагольной формы.

Иной характер имеет оппозиция *деру* [д'ирú] — (*дать*) *дѣру* [д'óру] vs. *деру* — *раздирать*. Здесь акцентологическое различие маркирует различные части речи, а морфонологическое — видовые пары.

1.2. Изменения обратимые/ необратимые. I. В ряде *друг* — *друзья* — *дружеский* различия возникли в результате I и II палатализации. I палатализация связана со словообразованием, II

— со словоизменением. В первом случае сохраняется единство основы, во втором — единство слова. Немного забегаая вперёд, отметим, что в словоизменении морфонологические средства менее распространены, чем в словообразовании. Ср. др.-русс. *дѣругъ* — *дѣрузи* — *дѣрузіе* → *дѣруг* — *дѣруги* — *дѣрузья*. Именно морфонология уничтожается морфологическим выравниванием: Палатализация почти исчезла в русском склонении. В готском языке действие закона Вернера устранено из системы глагольных времён, но осталось в словообразовании. Ср. *kiusan* — *kaus* — *kusun* — *kusuns* в сравнении с др.-англ. *ceosan* — *ceas* — *curon* — *coren* ‘выбирать’, но *wairþan* ‘становиться’ (др.-инд. *vártate* ‘вращаться’) — *fra-wardjan* ‘губить’ (др.-инд. *vartáyati* ‘поворачивать’). В паре же *наука* — *навык*, несмотря на смысловую близость, носитель русского языка не находит родства. Следовательно, чередование полной/ 0 ступени вокализма (*оучити* — *выкнѣти*) привело здесь к расщеплению некогда единой лексической единицы. По той же модели расщепились: *грѣзѣти* — *грѣзнѣти*, *лѣпити* — *лѣзнѣти*. Напротив, *гоубити* — *гыбнѣти* сохраняет смысловую связь. Морфонология как фактор расщепления слов: *скала* — *щель*, *щадѣти*, *щадѣти* — *скѣднѣти*. Но возможно и расщепление без морфонологии: *умѣти* — *ум*. Несмотря на фонетическое тождество корней (глагол по сути произведен от имени) и определённую близость значения, эта пара не воспринимается носителями русского языка как родственная. И это очень важный фактор. Расщепление значимых языковых единиц происходит прежде всего в сознании говорящего. Поскольку же сознание всегда непредсказуемо, то прогнозировать его изменение очень трудно. Этим и обусловлена сложность изучения языковых изменений.

Рассмотрим основные концепции языковых изменений.

2. Звуковые изменения

Е.Д. Поливанов (1968) рассматривает их как дивергенцию/конвергенцию. Р.О. Якобсон (1985) объединяет эти процессы под именем мутации. Основные типы мутаций по Якобсону суть следующие: фонологизация (развитие из вариантов фонем двух новых), дефонологизация (уничтожение оппозиции двух

фонем — объединение), рефонологизация (сохранение оппозиции фонем при изменении набора их различительных признаков). Г. Хёнигсвальд (Hoenigswald 1960) рассматривает фонетическую эволюцию как щепление и слияние фонем (split/merger). Следует отметить также появление новых для языка фонем (аффрикат и шипящих в индоевропейских языках), исчезновение имеющихся фонем и их классов (например, ларингалы в индоевропейских языках).

Историческая фонология обобщена в формуле фонетического закона, предложенного В.К. Журавлёвым:

$$\frac{L\{a > b\}T}{P}$$

(Звук *a* переходит в *b* в позиции *P* во время *T*).

2.1. Морфонологические изменения. Морфонологические изменения в русском языке, согласно Н.С. Трубецкому (1987), суть следующие:

1. Чередования гласных в русском языке: /e/: /o/ (самое распространённое) с вариациями /e/: /o/: /и/: *тереть* (*тёрка*) — *тор* — *протира́ть*, *беру* — *с-бор* — *собира́ть*; и /e/: /o/: /a/: *нести* — *носить* — *нашива́ть* (ср. *бороть* — *перебарыва́ть*); /o/: /'a/: /e/ *лог* — *лечь* — *лягу*; /o/: /и/ (т.е. /и/ после твёрдого согласного): *мыть*, *рыть*, *выть*, *крыть* — *мой*, *рой*, *вой*, *крой*; /u/: /o/: /и/: *дух* — *вдох* — *дыхание* и т.д. Чередование /y/: /я/ (*оузити* — *вазнути*, *мжчити* — *макнути*, *сжчити* — *сакнути*, *зжбъ* — *забъ*) утратило продуктивность, содержащие его корни уже не воспринимаются как родственные.

2. Чередования согласных: а) по тембру (твёрдость: мягкость: *стелю* — *стол*); б) по правилам палатализаций.

3. Морфологические изменения.

3.1. Модель Г. Пауля: фонетический закон vs. аналогия.

Аналогия определяется пропорцией: 1. *honor* — *honoris*; *orator* — *oratoris*; 2. *oratoris*: *orator* = *honoris*: *x*; *x* = *honor*.

3.2. Модель Ф.Ф. Фортунатова: основная vs. формальная принадлежность слова.

волк-0 дом-0
 волк-а дом-а
 волк-у дом-у

3.3. Модель В.А. Богородицкого (1931).

- Аналогия материальная:
берёзе, мёде, рёбер (сохранение [о] между двумя мягкими согласными).
 NB: Материальная аналогия особенно распространена в словоизменении, служит унификации основ.
- Аналогия формальная:
 - а) Падежный синкретизм: *раба, вьлка* (ср. лат. *lupō*, др.-инд. *vṛkād*)
 - б) Перенос окончаний из одного типа склонений в другое: *раби, цари*, лат. *lupi, servi*, греч. *λύκοι, οἴκοι* (по аналогии с местоименным склонением).
 То же в спряжении:
 - а) Русск. *пекёт, пекём, лгёт*; украинское *печу, можу*
 - б) Переносы флексий из различных спряжений: др.-инд. *bhārāmi* (< *asmī*), ср. авест. *spasyā*; эолийское {φίλημι, κάλημι (< τίθημι), в других диалектах φίλέω, καλέω.
- Дифференциация:
 - а) Переразложение:
 Др.-русс. *дѣло-мъ — жена-мъ → дел-ам, жён-ам*
 - б) Опрощение: *подушка (под-ушк-а)*

Добавим к этому взаимовлияние морфем: прасемитское окончание глагола: 1 Sg. **-ku*; 2 Sg. **ta* > аккадское *' ta*, арабское *tu/ta*, эфиопское *ku/ ka*.

3.4. Модель В.К. Журавлёва (1991). А. Формула морфологического изменения

$$\frac{L\{m_1 m_2\}T}{p}$$

(морфема m_2 замещает морфему m_1 в позиции p в языке L во время T)

В. Морфологическая конвергенция (строчные — план содержания, прописные — план выражения):

$$\begin{array}{ccc} \underline{a} & \times & \underline{b} \rightarrow c \\ A & B & C \\ 1) \frac{a:b}{C} & 2) \frac{c}{A:B} & 3) \frac{c}{C} \end{array}$$

1) — сохранение единиц плана содержания при слиянии единиц плана выражения (совпадение флексий номинатива и аккузатива у неодушевлённых имён в русском языке); 2) сохранение оппозиции единиц плана выражения при нейтрализации единиц плана содержания (окончание основ имён в индоевропейских языках), 3) собственно конвергенция (падежный синкретизм).

С. Морфологическая дивергенция:

$$\begin{array}{ccc} a \rightarrow b & - & - c \\ A & B & C \\ 1) \frac{b-:-c}{A} & 2) \frac{a}{B-:-C} & 3) \frac{b-:-c}{B-:-C} \end{array}$$

1) две единицы плана содержания при одной — плана выражения (развитие категории рода у имён общего рода); 2) «пустая» морфологическая оппозиция (*весной* — *весною*; греч. *λύκοιο* — *λύκου*); 3) собственно дивергенция: морфологическая и семантическая (категория одушевлённости в славянских языках).

3.5. Структуралистский подход к языковым изменениям.

3.5.1. Модель З. Хэрриса.

А. Если С и D — это окружение, и есть элементы А, В такие, что CAD и CBD, то А и В относятся к одному классу морфем.

В. Морфемы делятся на объединяющие и разделяющие: *-ing* объединяет весь класс глаголов, префиксы делят его на классы.

3.5.2. Модель Г. Хёнигсвальда. (буквы — план выражения, цифры — план содержания)

Состояние I: a b: 1 2

Состояние II: (a + b): 1 (слияние, merger) b' 2

Состояние II': a a': 1 1' (щепление, split).

3.6. Генеративный подход к теории изменений (П. Кипарский, Р. Кинг). Выделяется 4 типа изменений.

1. Новое правило (rule addition). К нему относятся все фонетические законы: закон Гримма, Вернера, славянские палатализации, — всякий новый закон, изменяющий фонетическую систему языка.

2. Исчезновение правила (rule lost): отмена действия фонетического закона (отмена закона Вернера в готских сильных глаголах, второй палатализации в славянских именных парадигмах)

3. Изменение порядка правил (rule reordering). Фонетические законы в некоторых диалектах могут действовать в разное время. Р. Кинг иллюстрирует это судьбой звонких согласных и удлинения в немецких диалектах: в одних удлинение происходило раньше оглушения конечных звонких, в других — позже.

4. Упрощение (simplification): под этим подразумевается обобщение, распространение правила. Так, в швейцарском (алсатинском) диалекте немецкого оглушались в конце слова только фрикативные согласные, в литературном верхненемецком — любые звонкие.

3.6.1. Внутренняя реконструкция с позиции генеративной лингвистики. Новое правило: Закон Гримма. 1) $p, t, k > f, b, x$ (не после шумных), 2) $b^h, d^h, g^h > b, \delta, g$ и 3) $b, d, g > p, t, k$ (контекстно свободно)

Исчезновение правила: готское исчезновение закона Вернера в сильных глаголах, но сохранение в претерито-презентных и словообразовании: *táuh* — *taúhum* ‘тащить’, но *aih* — *aigum* ‘иметь’, *wairþan* — *frawardjan* (= *vártate* — *vartáyati*)

В процедуру внутренней реконструкции входит также нахождение наиболее вероятных языковых изменений. В области фонетики к ним относятся: палатализация заднеязычных перед переднерядными, превращение смычных в аффрикаты и фрикативные перед *j* (ассибиляция), оглушение конечных звонких, сокращение долгот в конечных слогах, редукция безударных гласных

(при силовом ударе). В области морфологии отмечалось (Курилович 1964): итератив > дуратив > презенс; глагол состояния > перфект > неопределённое прошедшее > повествовательное время; деизидератив > будущее время, наречие > «конкретный» падеж > «грамматический» падеж; собирательность > множественность; пол (в существительном) > род (в прилагательном).

4. Ударение как лексико-семантический и морфологический фактор

1. Образование глагольных видов:

ввинт́ить — вы́винтитъ — выв́инчивать

вал́иться — вы́валиться — выва́ливаться

бел́ить — вы́белить — выб́еливать

до́ить — вы́доить — выда́ивать

2. Акцентуационные парадигмы в склонении:

по́ле — поля́

игра́ — и́гры

зуба́ — зубы́ — зу́бы — зубáм (+ баритонная и окситонная а.п.)

3. Различение имени и глагола (германские языки)

нем. *Urlaub — erláuben* (с фонетическим изменением)

Англ. *cónflict — conflict*.

4. Греко-арийское передвижение ударения:

4.1. Словоизменение имени

Греч. *χθών — χθονός*, др.-инд. *kṣám — kṣmáh*.

4.2. Словоизменение глагола: др.-инд. *dégdhi* (< **dhéigh-ti*) — *digdhé* (< **dhigh-tói*); *éti — yánti*.

4.3. Образование времён:

Греч. *λείπω, λείπων — λίπων*, др.-инд. *vétti — vidát*.

4.4. Словообразование: греч. *τόμος — τομός*, др.-инд. *códa — codá*; суффиксальное: греч. *ψεῦδος — ψευδής*, др.-инд. *ápas — apás*; греч. *ῥοτήρ -- ῥοτρον*, др.-инд. *pá tár — pátram*.

4.1. Некоторые опыты применения рассмотренных моделей в морфологической реконструкции:

4.1.1. Протеро- и гистеродинамическое склонение: др.-инд. *agní — agnéh* (< **egnís — *egnéis*) vs. *ávih — ávyaḥ; páśu — páśvaḥ/*

pásōh (< *pek̑os/ *pek̑eus). К именам первого класса относятся существительные и прилагательные; к именам второго класса — только существительные. Некоторые прилагательные явно производны от существительных: др.-инд. *krátus*, авест. *xraquš* ‘сила’ — греч. *κρατός*, гот. *hardus* ‘сильный’ (**krétus*, **krétuōs* — **kr̥tús*/ *kortús*, **kr̥téus*/ *kortóus*).

Малораспространённый тип существительных на *-eu-, производный от имен на *-eu-: греч. *χέλυς* — *χελύς* *kítharis* (Hes.), авест. *bāžuš* ‘рука’ — *dərəga-bāžuš* ‘длиннорукий’; др.-инд. *dásyu* ‘чужак, враг’ — др.-перс. *dahyaus* ‘страна’.

Первичная оппозиция: **kértu-* (существительное, именительный падеж) : **kr̥téu-* (род.п., притяжательное имя). Морфологическая дивергенция: **kr̥téu-* → **kr̥tú-* (*kr̥téu-*) —:— **kr̥téu-s*.

4.1.2. Имена на *-ter/-tor в индоиранских языках. Исконное состояние: *-tor — суффикс «общего» деятеля, *-tér (-téros) — суффикс «конкретного» деятеля, орудия, *-tér (-trós) — суффикс имён родства: дивергенция, выраженная аблаутом и акцентом. В авестийских именах родства аблаут сохраняется, частично и в именах деятеля: *pita* ‘отец’ — дат. п. *piqre*, *f²drōi*; *dātā* ‘установитель’ — род. п. *daqro*; *atarš* ‘огонь’ — род.п. *aqrō* и *aqarš*. Ср. *nā* ‘муж’ — род.п. *nərəš* < **nr̥s* и *narš* < **ner-s*. В древнеиндийском происходит унификация формы родительного падежа: *pitār* — *pitúr*, *tvāstar* — *tvāstur*, *dātār* — *dātúr* (-ur < *-r̥s#).

Морфологические процессы: А. Опрощение: **pātér*, *māter* перестали восприниматься как производные имена. 2. Первичная дивергенция: *-tér/ trós (часть первичного имени) —:— **-tér/ -téros* (суффикс). 3. Вторичная деривация: **-tōr/-toros* (суффикс общего деятеля) —:— **-tér/-teros*. 4. Возможная редукция: **-toros* > **-tors* или **-téros* > *-tér̥s*. 5. Конвергенция **-trós*: **-toros/-téros*: **-tors/-tér̥s* → **-tr̥s/-tj̥s*.

Происхождение некоторых грамматических категорий (Серебренников 1974; Heine, Kuteva 2002):

Категория	Источники по Серебренникову	Источники по Хайне — Кутевой
Каузатив	Фреквентатив	Глаголы-связки со значением: «1. делать; 2. давать; 3. брать»
Датив	Направительный падеж	1. Аллатив (= направительный падеж); 2. Бенефактив; 3. Глагол «дать»
Локатив	Слова со значением «внутренность, середина, поверхность»	Слова со значением: 1. «Область»; 2. «Ухо»; 3. «Край»; 4. «Рука»; 5 «Внутренности»; 6. «Локативная копула»; 7. «Шея»; 8. «Место»; 9. «Сторона»
Пассивный залог	Состояние; медиальный залог	1. Антикаузатив (= Состояние по Серебренникову); 2. Комитатив (предлог совместности); 3. Местоимение 3 л. мн. ч.; 4. Рефлексив (= медий по Серебренникову); 5. Глаголы со значением: 1. «падать»; 2. «получать»; 3. «терпеть, переживать»; 4. «видеть»; 5. «быть».

Завершая обсуждение темы, скажем так. Обратимые изменения в фонологии → вариации и варианты фонем, необратимые изменения в фонологии → морфонология; обратимые изменения в морфонологии → словоизменение и словообразование, необратимые изменения в морфонологии → деэтимологизация. Обратимые изменения в словоизменении → парадигма, необратимые → словообразование. Необратимые изменения в словообразовании → деэтимологизация. Обратимые изменения в синтаксисе → свободное сочетание элементов, необратимые → грамматикализация.

О ЯЗЫКОЗНАНИИ ВИЛЬГЕЛЬМА ФОН ГУМБОЛЬДТА

Л.П. ЛОБАНОВА

Непревзойденной «вершиной осмысления языка от древности до наших дней» (Heidegger 1967:49) назвал Мартин Хайдеггер философию языка В. фон Гумбольдта, остававшуюся, однако же, фактически не востребовавшей до XX века и пребывавшую в тени бурного развития сравнительно-исторического языкознания. Юрген Трабант отмечает, что хотя языкознание развивается в XIX веке в пространстве языковой истории человеческого духа, открытом философией, в то же время оно все больше отделяется от философии, что «не идет на пользу ни языкознанию, ни философии». «Языкознание, – оценивает он результаты такого развития, – почти тонет в позитивных исторических фактах и, будучи настроенным на позитивистский лад, отвергает <...> ‘спекуляцию’, так что вскоре оно уже вообще не понимает, зачем оно занимается тем, чем занимается. Философия, с другой стороны, кажется, забыла давно обретенное знание о языке. <...> Философы занимаются преимущественно (освобожденной от языка) логикой или философией духа, как будто бы никогда не было Лейбница, Гердера, Гумбольдта. Уже, например, Шеллинг в старости не читает Гумбольдта (иначе, можно думать, он не предложил бы в 1850 г. Берлинской академии еще раз вопрос о происхождении языка, ответ на который Гумбольдт дал в 1820 г. Берлинской академии в пост-кантианском духе)» (Trabant 2006:295). Об этом писал еще в 1856 году Х. Штейнталь в небольшом сочинении под названием «О философии языка», опубликованном в «Научном приложении» к «Лейпцигской газете» (№279, ноябрь), которое цитирует А.Ф. Потт: «Гумбольдт как языковед не оказал специфического влияния (т.е. посредством своеобразно присущих ему, им созданных идей) ни на кого из своих старших или младших современников. Он-то немало учился у Шлегелей, Гриммов,

Боппов, они же у него – нисколько» (Pott 1876:XXX-XXXI). Вместе с тем, цитировали Гумбольдта охотно («Имя Гумбольдт украшает», – заметил Бернхард Хурх (Hurch 2009:17), издавший через 175 лет после смерти Гумбольдта его баскскую грамматику), на него ссылались в подкрепление своих проверенных и не проверенных теорий, чего не избежал, в том числе, Ф. Бопп.

После выхода в свет второго (1838) и третьего (1839) томов сочинения Гумбольдта «О языке кави на острове Ява» Бопп поместил в престижном берлинском «Ежегоднике научной критики» (№ 85-86) рецензию на этот труд (Ворр 1840), включая Введение в первом томе, о котором писал: «В этом Введении содержится столь бесчисленное богатство из языков всех уголков земли, что мы с трудом решились на публичное обсуждение этого вызывающего изумление памятника обширнейших лингвистических знаний, как бы велико ни было стремление нашей души отдать дань глубочайшего почтения и благодарности безвременно ушедшему от нас великому мыслителю, оставившему поистине классический шедевр» (Ворр 1840:696). Здесь Бопп уже замечает, что во всех малайских языках Малакки, Суматры, Явы, Филиппин и Мадагаскара содержится «нить», которая «возвращает исследователя к твердой почве санскрита» (Ворр 1840:699). В этом же 1840 году (10 августа и 10 декабря) он делает два доклада в Королевской академии наук, опубликованные в 1841 году под названием «О родстве малайско-полинезийских языков с индоевропейскими», в которых уже с полной определенностью приписывает вывод о происхождении этих языков из санскрита Гумбольдту. «Из некоторых замечаний В. фон Гумбольдта в его глубоком труде о языке кави об уходящем в незапамятные времена родстве малайско-полинезийских наречий с санскритом, – утверждает он, – а также из собственных наблюдений, которые я изложу в этом и следующем докладе, я пришел к убеждению, что малайско-полинезийская ветвь языков является отпрыском санскритской семьи, что она находится по отношению к санскриту в дочернем отношении, в то время как большинство европейских классов языков по-сестрински протягивают руку санскриту, т.е. не обнаруживают никакого полного превращения (Umwälzung),

никакой утраты (*Auflösung*) их изначального строения, не образовывали для себя из руин какого-то разрушившегося тела языка новое (тело), но понесли лишь отдельные потери и потерпели искажения, которые не причиняют всему организму какого-то существенного ущерба, не придают ему совершенно новый и чуждый характер» (Ворр 1841:3).

Бопп полагает, что подобно тому, «как из материала языка римлян, рухнувшего под своей тяжестью», образовались романские языки, так и малайско-полинезийские языки возникли «на развалинах санскрита» и содержат в себе отчасти лишь «осколки разрушившегося языкового организма». Причину он видит в том, что утрата санскритского строения языка оказалась в них более радикальной, чем остатки латинского в «его романских дочерях», сохранивших в достаточной полноте прежнюю систему спряжения и «полностью покинувших, за исключением провансальского и старофранцузского, прежнюю систему лишь в подходе к именам» (Ворр 1841:3). В отличие от романских языков малайско-полинезийские языки «повсюду вышли из грамматического русла, по которому двигался их материнский санскрит», они «сняли с себя прежний покров и облачились в новый», а на тихоокеанских островах являют себя «в полной наготе» (Ворр 1841:4) (эта «нагота» послужила поводом для названия статьи Курта Мюллера-Фолльмера «Матушка санскрит и нагота тихоокеанских языков. Погребение гумбольдтова языкознания» (Müller-Vollmer 1991)).

Гумбольдт, однако же, утверждает, что «кави никак нельзя рассматривать в качестве испорченного или выродившегося санскрита», и что мнение о «происхождении кави в результате постепенных изменений, исказивших санскрит на Яве, так что он из-за этих изменений утратил все свои флексии и перешел в состояние аналитического языка», опровергается «с максимальной определенностью грамматическими исследованиями» (Humboldt 1838:191). Напротив, он делает прямо противоположные выводы: «Предположению, что санскрит постепенно превратился в яванский язык, противоречит чистое разделение этих

языковых семей в кави, а вырождение и постепенное искажение санскрита должно было бы с необходимостью оставить следы. Путь, по моему убеждению, был как раз противоположным. Яванцы усвоили индийскую философию (*Indische Weisheit*) и поэзию, овладели языком и заимствовали из него обдуманно и целенаправленно слова так же, как персидские писатели перенимают арабские» (Humboldt 1838:191). Гумбольдт приводит подробные рассуждения относительно того, какие части речи, когда и почему заимствовали малайские и полинезийские языки из санскрита, как они приспособливали их к своим грамматическим категориям и т.п. и подвергает, в частности, критике построения Боппа. Однако мы ограничимся этим примером (наука утвердила отсутствие родства этих языков с санскритом), цель которого состоит лишь в том, чтобы показать, каким интерпретациям подвергали его труды даже близкие ему современники в доказательство своих теорий. В то же время, нужно признать, что какие-то основания при этом в трудах Гумбольдта все же усматривались, причины чего мы коротко изложим.

При изучении философии языка Гумбольдта необходимо помнить, что он не создавал никакой завершенной теории, но, вместе с тем, видел «в своих штудиях не предмет досуга, а стремление создать что-то, что впоследствии можно будет развить, заложить фундамент, на котором можно будет строить дальше» (Humboldt 1859:146). Гумбольдт указывал пути и направления исследования языка, закладывая основы будущей научной дисциплины – общего языкознания, – важнейшую задачу которой он видел в установлении и описании влияния языка на мышление в частности и на духовное развитие народов в целом. Для этого он считал необходимым определить, что в языках бывает свойственно всем языкам без исключения, что возникает в результате случайных влияний, а что на самом деле составляет характер языков и характер наций, которым они принадлежат. Об этом он писал Ф.Г. Велькеру 22 мая 1824 г.: «Я предпочитаю рассматривать то небольшое, что публикую, как темы, которые можно обсуждать в более общем виде, и поэтому рад буду всякому замечанию, если оно дополнит знание предмета. Я также хочу не

только себе самому уяснить основные аспекты общего языкознания (*allgemeines Sprachstudium*), но и обсудить это с другими, так как чувствую, что очень нужна работа, охватывающая целое, но для начала лишь вводящая (в предмет), настоящий учебник этого целого, который выстраивает систему языка со всех сторон. Ибо невозможно ограничиться только всеобщей грамматикой из философских понятий, Митридатом, своего рода топографией и статистикой языков, и, наконец, частными грамматиками и лексиконами. Я ни в коем случае не льщу себя самого надеждой, что смогу выстроить такой учебный предмет (*Lehrgebäude*). Но рано или поздно он все равно появится, когда возобладает более правильный взгляд на язык. И все же прежде чем даже только помыслить о том, чтобы выстраивать его, нужно рассматривать основные вопросы, каждый по отдельности, и это и есть, главным образом, та цель, которую я преследую в своих отдельных докладах, обусловленных, кроме того, и необходимостью читать в академии обязательные лекции» (Humboldt 1859:115-116). В то же время Гумбольдт ясно видел трудности построения такой науки, о чем писал в 1821 году: «Но что касается природы воздействия языка на мышление; указания тех его свойств, на которых это, собственно, основывается; установления потребностей в нем, если (в мышлении) нужно достичь той или иной степени или провести то или иное различие; зависимости или независимости нации¹ от своего языка; власти, которую он может иметь над ней, или насилия, которое она вынуждена терпеть от него, то здесь поле исследований еще не возделанное, и если приступить к этим вопросам, то можно скорее опасаться ступить на трудно проходимую землю, чем на торную дорогу» (Humboldt 1821:26-27).

Этим обстоятельством и научным стилем эпохи были обусловлены отчасти особенности научного стиля Гумбольдта, на что обращает внимание В.М. Алпатов, подчеркивая, что «перед ним не стояла задача строить логически непротиворечивую

¹ Гумбольдт употребляет в своих трудах преимущественно слово *Nation*, но понятие нации у него, как и у Гердера, еще не имеет более позднего смысла государственно-политического образования, но употребляется в первоначальном значении лат. *nātio* – род, племя, народность, народ.

теорию или доказывать каждое из ее положений; такого рода требования появились в лингвистике позже» (Алпатов 2005:60). Известные представления о «темноте» философии языка Гумбольдта, о его «мистицизме» и т.п. существовали, хотя и не в таких масштабах, как впоследствии, и при его жизни. Гумбольдт пишет об этом в письме Ф.Г. Велькеру из Тегеля 12 марта 1822 года: «Люди жалуются на темноту и мистицизм и возмущаются, что чудеса ищут там, где, по их мнению, все происходит совершенно естественным образом. Они совсем не задумываются о том, что окружены чудесами такого рода, и что появление каждого листочка весной есть (чудо) не меньшее. Между тем, мне кажется все же, что теперешнее время так сильно страдает как раз не этой болезнью, а скорее той, что стремится сооружать необыкновенные, неслыханные до той поры результаты и основывать их на изолированных фактах, а ведь именно сегодняшнее состояние науки и литературы делает почти непростительным нежелание собрать вместе все, на чем можно основать исследование. В особенности это касается столь многих этимологических бесчинств» (Humboldt 1859:62). А двумя годами позже он утверждает, что предпосылкой к истинному пониманию языка служит верное чувство языка, и объясняет в свете этого главную причину непонимания его мысли о языке: «Во всех работах о языке я с моими взглядами сталкиваюсь с тем, что лишь очень немногие люди, и то в самом что ни на есть общем виде, имеют чувство языка, которое единственно и делает эти взгляды убедительными. Совершенно обыденные идеи, что язык – инструмент, средство; что слова – безразличные знаки; что грамматика – устройство, которое, какими бы достоинствами или недостатками оно ни обладало, может, в конечном счете, всегда употребляться с одинаковым успехом; что различие языков – препятствие, устранения которого должно желать, пусть даже все станут писать по-латински или по-французски; что изучение языков важно лишь применительно к тому, что на них написано, и т.д., являются поистине преобладающими, и не только среди тех, кто занимается собственно (естественными) науками, но и среди филологов. Для этого взгляда, происходящего из совершенной

тупости к настоящему чувству языка, хитроумностью или мечтательностью является всё, что говорится об истинной природе языка, сколь бы продуманно это ни было, сколь бы осторожно ни связывалось с фактами, сколь бы трезво это ни говорилось» (Op.cit.:114).

Все эти обстоятельства, конечно, играли свою роль, но была также причина, заключавшаяся в научном темпераменте самого Гумбольдта: его страстью было изучение языков, а не написание книг. В письме К.Г. фон Бринкману от 22 октября 1803 г. он признается: «Я возненавидел длинные книги и имею в уме форму, в которой лишь верхушки вещей будут сводиться вместе, если мне удастся это сделать. Языками я занимаюсь упорнее, чем когда-либо <...>. Внутренняя, таинственно-чудесная связь всех языков и, прежде всего, высокое удовольствие вступать вместе с каждым новым языком в новую систему мыслей и чувствований бесконечно притягательны для меня. Ничто до сих пор не пребывало в таком небрежении, как языки, и я думаю, что нашел ключ, который покажет, как интересен любой из них, и облегчит путь ко всем языкам» (Humboldt 1939:157). Можно думать, что та форма ученых произведений, о которой говорит Гумбольдт, вполне удалась ему в немногих сочинениях о языке, которые он сам тщательно готовил к публикации, и которые нельзя упрекнуть в каких-либо темнотах. Однако широкому распространению представления о наличии многих неясностей, недоговоренностей и противоречий в философии языка Гумбольдта способствовало Введение к сочинению о языке кави, опубликованное сразу после его смерти. Нужно сказать, что языковедческие труды Гумбольдта, увидевшие свет лишь в начале XX века в академическом собрании его сочинений, в значительной мере проливают свет на его мысль, однако применительно к упомянутому Введению это утвердившееся мнение приходится признать справедливым. Хранящийся в архиве Гумбольдта конволют, состоящий из четырех папок с рукописями Введения, является ярким свидетельством того, как создавался этот самый известный труд Гумбольдта о языке, и объясняет в значительной степени причину той темноты, в которой его упрекали.

Гумбольдт вынужден был в период возникновения этого текста отказаться из-за болезни от привычного порядка работы. Этот текст создавался фактически путем монтажа: Гумбольдт диктовал своему секретарю Шульцу или Э. Бушману, потом правил текст, вымарывая целые страницы, диктовал изменения и дополнения, в текст вносились отрывки из более ранней работы «О различиях строения человеческого языка» (1827-1829) и т.п. Среди этих рукописей нет никаких следов собственноручных записей Гумбольдта, служивших опорой для диктовки. Курт Мюллер-Фолльмер, издавший описание обширного рукописного архива Гумбольдта под названием «Языкознание Вильгельма фон Гумбольдта», пишет об этом: «Часто упоминаемая многословность и неясность Введения, называемая обыкновенно характерной чертой старческого стиля Гумбольдта, объясняется в значительной степени этим способом работы, навязанным ему болезнью. Лишь часть Введения Гумбольдт получил еще перед смертью в чистовике для окончательной правки. Привыкший с юности записывать свои мысли собственноручно, своим пером, 'в одиночестве и на свободе', он вынужден был теперь пытаться окольными путями диктовки и монтажа текста переводить эти мысли в язык, что было предприятием, требовавшим постоянной творческой дисциплины в присутствии секретаря и в точно установленное время. При этом из-за быстро умножавшейся массы рукописей с бесчисленными изменениями и вставками ясный обзор целого становился все труднее. Чистовой вариант, который мог бы служить подспорьем, содержал лишь первые 23 параграфа опубликованного (впоследствии) текста» (Müller-Vollmer 1993:109-110) (т.е. около одной четверти. – Л.Л.).

Когда в 1836 году был опубликован текст Гумбольдта под названием «О различности строения человеческого языка и его влиянии на духовное развитие человечества»², лишь немногие знали, что речь идет о Введении в сочинение о языке кави, так

² Существующий перевод названия «О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества» искажает мысль Гумбольдта о сущности языка.

что и до сих пор он воспринимается довольно широко как самостоятельное произведение. Между тем, существует четыре варианта этого текста, между которыми обнаруживаются отличия при внимательном прочтении, что связано с историей его публикации. Гумбольдт договорился с Королевской академией наук об издании сочинения о языке кави полностью, т.е. в трех томах, в составе трудов академии, и первый том, включая Введение (издание 1), готовился к печати еще при его жизни, хотя издан был уже посмертно. Одновременно у него был заключен договор с издательством Дюмлера об отдельной публикации этого же трехтомника на коммерческой основе, которая была осуществлена после его смерти Э. Бушманом с сохранением того же текста Введения (издание 2). Третья публикация Введения (издание 3) была подготовлена тоже Бушманом по поручению Александра фон Гумбольдта в виде отдельного памятного тома под широко известным сегодня названием для рассылки друзьям покойного. С этой целью текст был сокращен, чтобы придать ему вид самостоятельного произведения, ибо изначально он представлял собой в самом полном смысле введение в исследование языка кави и был связан с ним и содержательно, и композиционно. Именно поэтому он подвергся впоследствии критике: специфический лингвистический анализ в конце, который представлял собой переход к основному произведению, оказался вне его непонятным, а поставленные в начале вопросы остались без ответа. Изучавший рукописи К. Мюллер-Фолльмер указывает на неудовлетворительную подготовку к изданию не только этих текстов, но и третьего тома основного произведения. В академическое издание трудов В. фон Гумбольдта, подготовленное А. Лейтцманом, было включено сочинение «О различности строения человеческого языка и его влиянии на духовное развитие человечества» (издание 4), представляющее собой совмещенный вариант Введения и прежнего самостоятельного текста. В результате своего отрыва от основного произведения оно на самом деле содержит темноты и неясности, в частности в виде заключений о языке, представляющихся исключительно умозрительными и ничем не обоснованными.

Подготовка академического собрания трудов Гумбольдта к печати была затруднена состоянием его архива, о чем пишет Альберт Лейтцман в комментарии к работе Гумбольдта «Насколько можно судить о прошлом культурном состоянии коренных народов Америки по остаткам их языков?» (Humboldt 1823): «Рукопись родилась под несчастливой звездой, как и вообще многие американские бумаги Гумбольдта. Они попали после смерти Гумбольдта в руки его младшего научного сотрудника Бушмана, который готовил также издание труда о языке кави, и острому уму которого мы обязаны рядом важных собственных работ о языках Америки. С рукописями покойного, которые к тому же вообще не были его личной собственностью, а были завещаны Берлинской королевской библиотеке, где сам он был чиновником, он обращался так, что это не назовешь иначе, чем бесцеремонностью и непочтительностью. Он не только разобрал готовые сочинения на отдельные фрагменты, которые приходится теперь с трудом собирать из самых разных папок наследия, но еще и внес во многие работы сплошную стилистическую правку и извратил их вычеркиваниями и приписками, даже целые листы порезал и вообще использовал эти реликвии как собственный черновик. Историческое изучение и использование этих бумаг он тем самым чрезвычайно затруднил и вынудил издателя затратить массу времени и труда на восстановление изначально-го связного текста. Так, наше сочинение³ нашлось – обстоятельство, ускользнувшее даже от внимательного взгляда Штейнтала, – скрепленным в одно целое с более поздней работой⁴, причем был изъят целый ряд страниц, которые обнаружились в разных подшивках» (Humboldt 1823:477). В еще худшем состоянии в результате Второй мировой войны нашел архивы Гумбольдта К. Мюллер-Фолльмер. Главное же состоит в том, что множество его рукописных лингвистических трудов оставалось неизвестным ученой публике вплоть до самого недавнего времени. Из такого рода обстоятельств выросли многие несправедливые суждения о философии языка Гумбольдта и представления о нем,

³ «Насколько можно судить о прошлом культурном состоянии коренных народов Америки по остаткам их языков?».

⁴ «Исследование американских языков. Фрагмент» (Humboldt 1826).

например, у О.А. Радченко, как о «кабинетном революционере», который сам выбрал такую судьбу своему научному наследию, остающемуся «лингвофилософской криптограммой», «одной из тайн языковедения» (Радченко 2006:28). В.П. Даниленко определяет эту «кабинетную революцию» следующим образом: «Если сказать очень коротко: он открыл новый – идиоэтнический – взгляд на содержательную сторону языка, который противостоит традиционному взгляду на нее – универсалистскому. Последний был господствующим в XVIII веке» (Даниленко 2010:28).

Между тем, Гумбольдт был не только и, быть может, даже не столько «кабинетным» ученым, сколько лингвистом, оставившим большой массив результатов «полевых» исследований в путешествиях и описаний огромного числа языков, о чем свидетельствуют не только архивные материалы, но также его письма. 3 января 1812 года он сообщает К.Г. Кёрнеру, что исследует американские языки, чтобы написать о них по просьбе брата работу, которую тот хочет включить в свою книгу. В связи с этим Гумбольдт открывает свои планы, из которых можно видеть, что философские идеи или выводы он считал обоснованными, только если они имели доказательства в виде результатов практических исследований языков. «Я успел довольно далеко продвинуться в изучении мексиканского языка, – пишет Гумбольдт, – и уже имею интересные наблюдения. Если я, пользуясь этим и не упуская случая подключить одновременно наиболее известные из других языков, смогу продвинуться в разработке некоторых идей столь далеко, чтобы счесть возможным выдвинуть общие принципы, позволяющие судить о языках в их связи с народами, их происхождением и историей, их характером и их развитием (Bildung), то склонен буду написать об этом что-то общее, основным предметом чего было бы развитие философской идеи, а из самих языков были бы взяты лишь примеры и подтверждения» (Humboldt 1880:126). «Полевые» исследования были, собственно, неотъемлемым принципом его работы как ученого. 8 июля 1827 года он пишет Ф.Г. Велькеру: «Мой принцип, подтвержденный опытом, состоит в том, что в языке ничего нельзя сделать, не добравшись до всякой подробности, кажущейся совсем мелкой» (Humboldt 1859:142). А двумя годами раньше в

другом письме Ф.Г. Велькеру от 16 мая 1825 года он свидетельствует о своем сознательном выборе: «Изучение языка, как я его понимаю, столь необъятно, что, если не собираешься отказаться (а этого я не хотел бы) *a priori*, то придется заниматься бесконечно разными вещами. Меня это не пугает. Я хорошо понимаю, что если буду таким образом распыляться, то дело не дойдет до произведения, охватывающего целое. Но, с одной стороны, я твердо убежден в том, что, не пройдя предварительно так много отдельных частных, лучше и не браться за целое. С другой стороны, главным смыслом моей жизни, собственно, никогда не были ни писательский труд, ни активная деятельность. Главная моя цель заключалась в том, чтобы путем писательских и практических занятий и путем самого пристального созерцания вобрать в себя как можно больше от различных видов бытия и трудов человеческих» (Op.cit.:142).

К. Мюллер-Фолльмер развеивает еще одно широко распространенное заблуждение относительно того, что языковедческими исследованиями Гумбольдт занимался преимущественно в последние полтора десятилетия жизни, оставив государственную и дипломатическую службу: работа с его рукописями дает доказательства того, как последовательно вырастали, начиная с 1800 года, теоретические положения его философии языка из практических занятий разными языками. Одновременно он констатирует, что «до сих пор во всех разнородных и лежащих вне преемственности работах о Гумбольдте собственно гумбольдтово языкознание оставалось в неизвестности на заднем плане, и нигде эмпирические исследования не могли установить прямую связь с практическими разработками Гумбольдта. Это относится также и к основанному Вайсгербером семантическому языкознанию (*inhaltsbezogene Sprachwissenschaft*), которое, в отличие от формалистической генеративной грамматики Хомского, смогло в плодотворном восприятии взглядов Гумбольдта на язык вернуть исследовательскую практику в согласии с его принципами» (Müller-Vollmer 1993:6). Огромный массив трудов Гумбольдта, который является показателем масштабности и разносторонности его практических лингвистических исследований,

оставался до недавнего времени фактически неизвестным языковедческой науке (исключение составляют перевод и публикация Юсто Гарате одной из баскских грамматик (Gárate 1933) из наследия Гумбольдта и его совсем забытая работа о глагольной системе языков североамериканских аборигенов, переведенная и изданная в 1885 году Дэниэлом Бринтоном (Brinton 1885)) и даже упоминался лишь в единичных случаях (в частности: Buchholz 1986; Arens 1967; Tintemann 2009:179-188).

К. Мюллер-Фолльмер инициировал новое издание его «Трудов по языкознанию» в Германии, которое будет состоять предположительно из 12-14 томов. Цель этого издания заключается в том, чтобы представить целостную картину наследия Гумбольдта, включив в него как теоретические сочинения по филологии и теории языка, так и практические исследования, ранее не известные. Во втором разделе, посвященном баскской тематике, уже изданы Б. Хурхом «Баскские лексикологические изыскания и грамматика» (Humboldt 2012) с предисловием и комментариями, «Сочинения по антропологии басков» (Humboldt 2010) с дополнительным томом, содержащим отдельные материалы из архива Гумбольдта, подготовленные им к публикации в сотрудничестве с М.Х. Керехетой и Д. Эль Сарка (Humboldt 2002). В третьем разделе, посвященном американским языкам, изданы «Мексиканская грамматика» (Humboldt 1994) и «Словарь мексиканского языка» (Humboldt 2000) Гумбольдта (в соавторстве с Э. Бушманом) М. Рингмахером, «Центральноамериканские грамматики» (Humboldt 2009) и «Южноамериканские грамматики» (Humboldt 2011) М. Рингмахером и У. Тинтемманн, а также «Североамериканские грамматики» (Humboldt 2013) М. Верлато.

Архив Гумбольдта свидетельствует (см. Humboldt 1993:410-444, 454-460) о том, что в своей домашней библиотеке он имел (в виде грамматик и словарей) описание более 150 языков, а его собственноручные рукописные труды (грамматики, словари, описание словообразования и словоизменения, отдельные материалы и записи – комментарии к текстам, списки слов, алфавиты и т.п.) охватывают более 400 языков. Пользуясь различными доступными ему материалами и иными источниками, Гумбольдт составил к концу 1821 года «20 специальных грамматик», как он

пишет Ф.Г. Велькеру в письме от 6 ноября 1821 года (Humboldt 1859:52), сожалея о том, что еще более 30 американских языков пока невозможно изучить в силу недостатка подробных сведений о них. Задача этой работы состояла в том, чтобы описать особенности (das Charakteristische) грамматического строя этих языков, определить их типологические признаки, а также их отличия «от прочих языков земного шара». Из этого видно, что к Гумбольдту меньше всего может относиться утверждение, например, С.Д. Кацнельсона: «‘Универсализм’ и ‘логицизм’ стали отныне символами опасностей, подстерегающих исследователя на пути к объективному описанию грамматического строя. В этой обстановке менее всего можно было ожидать, что *отрешенные от эмпирических фактов* (курсив мой. – Л.Л.) и смутно очерченные универсалистские идеи Гумбольдта найдут путь в умы языковедов» (Кацнельсон 1985:32).

Цель этих практических исследований языков была направлена на то, чтобы создать, как уже говорилось, основу для построения новой науки о языке, о которой он писал в разных своих работах в разных формулировках. Гумбольдт даже составил своего рода план-проспект многотомного труда из двух частей под названием «Введение в общее языкознание», первая часть которого должна была состоять из десяти книг, по примечанию самого Гумбольдта, а вторая – из трех разделов. В качестве иллюстрации к общей цели этого неосуществленного проекта можно привести следующее высказывание его автора: «Выявить различность строения человеческого языка, описать ее в ее существенных чертах, упорядочить кажущееся бесконечным многообразие более простым образом, с правильно выбранных точек зрения, добраться до источников этой различности и ее влияния на силу мышления, чувствование и образ мыслей говорящих и следовать сквозь все превратности истории за ходом духовного развития человечества с помощью глубоко вплетенного в него, сопровождающего его от ступени к ступени языка, есть важное и масштабное дело общего языкознания» (Humboldt 1828:37) (к общему языкознанию Гумбольдт относил и сравнительно-исторические исследования).

Бенжамин Уорф, указывая на то, что, будучи носителями определенного языка, «все мы связаны с определенными способами интерпретации даже тогда, когда считаем себя наиболее свободными», утверждает: «Человеком, более свободным в этом отношении, чем другие, оказался бы лингвист, знакомый со множеством самых разнообразных языковых систем. Однако до сих пор таких лингвистов не было» (Уорф 2003:210).

Такой лингвист, как мы видим, был. Мощь философской мысли Гумбольдта, коренившейся в практическом знании множества разных языковых систем, позволила ему занять то место в науке о языке, которое столь несравненно высоко оценил М. Хайдеггер.

Литература

Алпатов 2005 – Алпатов В.М. Вильгельм фон Гумбольдт // Алпатов В.М. История лингвистических учений. – М.: Языки славянской культуры, 2005. – С. 60-75.

Даниленко 2010 – Даниленко В.П. Вильгельм фон Гумбольдт и неогумбольдтианство. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. – 216 с.

Кацнельсон 1985 – Кацнельсон С.Д. История типологических учений // Грамматические концепции в языкознании XIX века. – Л.: Наука, 1985. – С. 6-58.

Радченко 2006 – Радченко О.А. Язык как мирозидание. Лингвофилософская концепция неогумбольдтианства. – М.: КомКнига, 2006.

Уорф 2003 – Уорф Б. Наука и языкознание // Языки как образ мира. – М.: АСТ, 2003. – С. 202-219.

Arens 1967 – Arens H. Sprachwissenschaft. Der Gang ihrer Entwicklung von der Antike bis zur Gegenwart. – Freiburg/München: Karl Alber, 1967.

Bopp 1840 – Bopp F. Rezension zu Wilhelm von Humboldt *Über die Kawi-Sprache auf der Insel Java*, Bd. 1-3 // *Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik*. Jg. 1840, Bd. 2. – Berlin: Besser, 1840. – Sp. 697-741.

Bopp 1841 – Bopp F. Über die Verwandtschaft der malayisch-polynesischen Sprachen mit den indisch-europäischen. – Berlin: Ferdinand Dümmler, 1841. – 164 S.

Brinton 1885 – Brinton D. The Philosophical Grammar of American Languages as set forth by Wilhelm von Humboldt, with the translation of an unpublished memoir by him on the American Verb // Proceedings of the American Philosophical Society 22, (1885) No. 117. – P. 306-354.

Buchholz 1986 – Buchholz U. Das Kawi-Werk Wilhelm von Humboldts. Untersuchungen zur empirischen Sprachbeschreibung und vergleichenden Grammatikographie. – Münster: Nodus, 1986.

Gárate 1933 – Gárate J. Guillermo de Humboldt: estudio de sus trabajos sobre Vasconia; por acuerdo de la Deputación de Vizcaya lo publica la Junta de Cultura Vasca. – Bilbao: Imprentas Provincial, 1933.

Heidegger 1967 – Heidegger M. Der Weg zur Sprache // Sprache und Wirklichkeit. Essays. – München: Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH, 1967. – S. 44-69.

Humboldt 1821 – Humboldt W. von. Ueber den Einfluss des verschiedenen Charakters der Sprachen auf Literatur und Geistesbildung (1821) // Wilhelm von Humboldt. Werke in fünf Bänden. Hrsg. von Andreas Flitner und Klaus Giel. Band 3. – Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1963. – S. 26-30.

Humboldt 1823 – Humboldt W. von. Inwiefern lässt sich der ehemalige Culturzustand der eingebornen Völker Amerikas aus den Ueberresten ihrer Sprachen beurtheilen? (1823) // Wilhelm von Humboldts Werke. Hrsg. von Albert Leitzmann. Fünfter Band. 1823-1826. – Berlin: B.Behr's Verlag, 1906. – S. 1-30.

Humboldt 1826 – Humboldt W. von. Untersuchungen über die Amerikanischen Sprachen. Bruchstück (1826) // Wilhelm von Humboldts Werke. Hrsg. von Albert Leitzmann. Fünfter Band. 1823-1826. – Berlin: B.Behr's Verlag, 1906. – S. 344-363.

Humboldt 1828 – Humboldt W. von. Über die Sprachen der Südseeinseln (1828) // Wilhelm von Humboldts Werke. Hrsg. von Albert Leitzmann. Sechster Band. 1827-1835. Erste Hälfte. – Berlin: B.Behr's Verlag, 1907. – S. 37-51.

Humboldt 1838 – Humboldt W. von. Über die Kawi-Sprache auf der Insel Java, nebst einer Einleitung über die Verschiedenheit des

menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluß auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts. Zweiter Band. – Berlin: Gedruckt in der Druckerei der Königlichen Akademie der Wissenschaften, 1838.

Humboldt 1839 – Humboldt W. von. Ueber die Kawi-Sprache auf der Insel Java, nebst einer Einleitung über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts. Dritter Band: Südsee-Sprachen, als östlicher Zweig des Malayischen Sprachstammes. – Berlin: Druckerei der Königlichen Akademie der Wissenschaften, 1839. – S. 425-1028.

Humboldt 1859 – Wilhelm von Humboldts Briefe an F. G. Welcker. Hsg. von R. Haym. – Berlin: Verlag von Rudolph Gaertner, 1859.

Humboldt 1880 – Ansichten über Ästhetik und Literatur von Wilhelm von Humboldt. Seine Briefe an Christian Gottfried Körner (1795-1830). Hrsg. von F. Jonas. – Berlin: Verlag von L. Schleiermacher, 1880.

Humboldt 1993 – Wilhelm von Humboldts Sprachwissenschaft. Ein kommentiertes Verzeichnis des sprachwissenschaftlichen Nachlasses von Kurt Müller-Vollmer. Mit einer Einleitung und zwei Anhängen. – Paderborn/München/Wien/Zürich: Ferdinand Schöningh, 1993.

Humboldt 1994 – Humboldt W. von. Mexicanische Grammatik. Hrsg. von Manfred Ringmacher. – Paderborn: Schöningh, 1994.

Humboldt 2000 – Buschmann E., Humboldt W. von. Wörterbuch der mexicanischen Sprache. Hrsg. von Manfred Ringmacher. – Paderborn: Schöningh, 2000.

Humboldt 2002 – Die baskischen Materialien aus dem Nachlaß Wilhelm von Humboldts. Astarloa, Charpentier, Fréret, Aizpitarte und anderes. Hrsg. von Hurch, Bernhard. Unter editorischer Mitarbeit von María José Kerejeta, Dina El Zarka und Ralf Vollmann. – Paderborn: Schöningh, 2002.

Humboldt 2009 – Humboldt W. von. Mittelamerikanische Grammatiken. Hrsg. von Manfred Ringmacher und Ute Tintemann. – Paderborn: Schöningh, 2009.

Humboldt 2010 – Humboldt W. von. Schriften zur Anthropologie der Basken. Hrsg. von Bernhard Hurch. – Paderborn: Schöningh, 2010.

Humboldt 2011 – Humboldt W. von. Südamerikanische Grammatiken. Hrsg. von Manfred Ringmacher und Ute Tintemann. – Paderborn: Schöningh, 2011.

Humboldt 2012 – Humboldt W. von. Baskische Wortstudien und Grammatik. Mit einer Einleitung und Kommentar/ Hrsg. von Bernhard Hurch. – Paderborn: Schöningh, 2012.

Humboldt 2013 – Humboldt W. von. Nordamerikanische Grammatiken. Hrsg. von Micaela Verlato. – Paderborn: Schöningh, 2013.

Hurch 2009 – Hurch B. Más que una continuidad filológica: Humboldt qua Schuchardt. Lección de ingreso como Amigo de Número de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País // Nuevos Extractos de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Suplemento 18-G del Boletín de la RSBAP (2009). – P. 17-42.

Müller-Vollmer 1991 – Müller-Vollmer K. Mutter Sanskrit und die Nacktheit der Südseesprachen: Das Begräbnis von Humboldts Sprachwissenschaft // Athenäum. Jahrbuch für Romantik 1 (1991). – S. 109-133.

Müller-Vollmer 1993 – Müller-Vollmer K. Wilhelm von Humboldts sprachwissenschaftlicher Nachlaß // Wilhelm von Humboldts Sprachwissenschaft. Ein kommentiertes Verzeichnis des sprachwissenschaftlichen Nachlasses von Kurt Müller-Vollmer. Mit einer Einleitung und zwei Anhängen. – Paderborn/München/Wien/Zürich: Ferdinand Schöningh, 1993. – S. 5-89.

Pott 1876 – Pott A.F. Wilhelm von Humboldt und die Sprachwissenschaft. – Berlin: Verlag von S. Calvary & Co., 1876. – S. CCCXXI.

Tintemann 2009 – Tintemann U. Von Tegel bis Santiago de Chile. Wilhelm Von Humboldts Netzwerke // *Kennen Sie Preußen – wirklich?* Das Zentrum «Preußen —Berlin» stellt sich vor. Hrsg. von Bärbel Holtz und Wolfgang Neugebauer. – Berlin: Akademie Verlag, 2009. – S. 179-188.

Trabant 2006 – Trabant J. Europäisches Sprachdenken. Von Platon bis Wittgenstein. – München: C.H. Beck, 2006.

ГОМЕРОВСКАЯ ЛЕКСИКА ВОЗМЕЗДИЯ В ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

А. В. ЛОГИНОВ

В древнегреческом языке есть слова, которые можно считать однокоренными с диахронной точки зрения: τίνω, ποινή, τιμή, ἄποινα. Однако значения этих слов могут считаться довольно далекими друг от друга. Уже В. Шульце в 1892 г. предложил считать, что эти слова образованы от двух корней. В данной работе будут рассмотрены семантические аргументы в пользу происхождения этих слов от одного или двух корней.

Идея о том, что эти слова могут восходить к одному корню, была впервые высказана в книге Г. Курциуса. Г. Курциус не видел ничего противоречивого в том, что значения ‘почитать’ и ‘мстить’ могут развиваться из значения ‘платить’ (Curtius, 1866, s. 429). А. Фик также был согласен с тем, что реконструируемый им корень мог сочетать в себе значения ‘почитать’ и ‘наказывать’ (Fick, 1890, p. 24, 379).

Однако В. Шульце предложил считать, что τίνω, ποινή, τιμή происходят от двух корней: kēi/kī и kēi/kī (Schulze, 1892, s. 366). В древнегреческом языке *kēi/kī соответствует tī в словах со значением, связанным с оказанием почестей. Этому же корню соответствует санскр. sāyati, sāyu. Корень *kēi в древнегреческом, по мысли В. Шульце, представлен в словах, относящихся к возмездию. Однако со временем в древнегреческом корни tī и tī перестали различаться. Слова, имевшие первоначально значение ‘уважение, честь’, получили значение связанное с платой (Schulze, 1892, s. 356). Этим В. Шульце объясняет тот факт, что в II. 3. 375 вместо ожидаемого ποινή в значении ‘компенсация’ Гомер употребляет τιμή.

Аргументы В. Шульце посчитали убедительными Э. Френкель (Fraenkel, 1910, p. 184) и Э. Швицер (Schwyzer, 1939, s.

697). Э. Буасак, напротив, согласился с точкой зрения Г. Курциуса (Boisacq, 1916, p. 973-974, 801).

Э. Бенвенист в сделал несколько предположений о значении гомеровских слов возмездия. Он поставил вопрос следующим образом: “Возможно ли от значения ‘получить наказание, вызвать мщение’ перейти к идее ‘почитать, оказывать честь’ (Бенвенист, 1995, с. 273). Э. Бенвенист считает, что “эти значения можно было бы объединить лишь достаточно расплывчатой связью” (Бенвенист, 1995, с. 273). По его мнению, в праиндоевропейском существовало два корня: $*k^wēi$ и $*k^weī$ (Бенвенист, 1995, с. 63). Соответственно, в древнегреческом это будет два лексических гнезда: $τίω$ и $τιμῆ$ как произошедшие от $*k^wēi$ и $ποινῆ$ как потомок $*k^weī$ (Бенвенист, 1995, с. 63).

Ю. Покорный реконструирует следующие корни: $*k^weī$ ‘обращать внимание на что-либо, почитать, наказывать’, $*k^wē[i]$ -го ‘наблюдающий, защищающий’, $*k^woi-nā$ ‘наказание, цена’, $*k^wi-ti-$ ‘понимание, отплата’ и $*k^wi-t-ti-$ ‘благоразумие, честь’. К этим корням восходит следующая группа слов: санскр. $śāyati$ ‘обращает внимание, заботится, стыдится’, $śāyu$ ‘выказывающий почтение’, старослав. $čajō$, $čajati$ ‘ждать, надеяться’, санскр. $cinōti$, $cikēti$ ‘замечает’, $citī-$ ‘понимание’, греч. $ἀτίζω$ ‘я не обращаю внимания’, $τηρός$ ‘защищающий’ и пр.

Как другую группу слов, произошедших от $*k^weī$, Ю. Покорный выделяет санскр. $śāyātē$ ‘мстит, наказывает’, $cētār$ ‘мститель’, $āra-citī$ ‘возмездие’ (ср. греч. $ἀποτίσις$), авест. $čikauyāt$ ‘должен наказывать’, $kaēnā$ ‘наказание’, гр. $ποινῆ$, старослав. $сѣна$, лит. $káina$, перс. $kīn$ ‘ненависть’, авест. $kāθa$ - ‘отплата’, $c’iθi$ ‘искупление вины посредством денег’, $c’iθā$ ‘наказание’, осет. $čithā$ ‘почёт’ (ср. гр. $τιμῆ$), гр. $τίω$, $τίνω$, $τίσις$, старослав. старослав. $сѣнити$, $kajō$, $kajati$ $сѣ$ и пр. К этой группе, возможно, относится ирл. cin ‘поприцание, ответственность’ (Pokorny, 1959, s. 636-637).

Если значение первой группы слов связано с вниманием, стыдом и пониманием, то вторая группа совмещает в себе значения почтения, платы и наказания. То есть, Ю. Покорный не видит ничего противоестественного в том, что один и тот же корень может значить и почтение, и мщение.

Г. Фриск считает, что в греческом и санскрите вполне возможно проследить связи между словами, обозначающими мщение и наблюдение/почитание. Звеном, соединяющим эти две группы значений, по его мнению, может быть санскр. *śāyati* ‘наблюдать, стыдиться, опасаться’ (Frisk, 1960, s. 903).

П. Шантрэн считает, что не по форме, но по значению корни, представленные в *τίω* и *τίνω* различаются между собой (Chantraine, 1977, p. 1123).

Т. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов считают, что “семантическое сопоставление этой группы соотносимых друг с другом индоевропейских лексических образований позволяет судить о недифференцированности для индоевропейского понятия “платы” и “возмещения” в ритуально-правовом смысле” (Гамкрелидзе, Иванов, с. 809). Они также подчёркивают, что кровная месть мыслится в категориях обмена: “Кровная месть считается таким же возмещением (платой за кровь), как и возмещение за убыток или плата за невесту” (Гамкрелидзе, Иванов, с. 809). Однако представляется необходимым обратить внимание на то, что Г. Т. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов сопоставляли только те слова в индоевропейских языках, которые связаны с возмездием. Они не высказали своего мнения о проблеме, на которую впервые обратил внимание В. Шульце.

В. Э. Орёл посвятил праиндоевропейской кровной мести специальное исследование. Он также считает, что кровную месть надо интерпретировать в рамках представлений об обмене (Орёл, 1986, с. 134). При кровной мести обменивают кровь на кровь: “Кровь, таким образом, мыслится как неуничтожимая, вечная во времени и постоянная в определённых пространственных границах субстанция, организующее начало, обеспечивающее целостность и связность родовой общности. Убийство, пролитие крови наносит ущерб этому родовому фонду и должно быть компенсировано за счёт аналогичного фонда другого рода” (Орёл, 1986, с. 135). В. Э. Орёл реконструирует формулы, связанные с местью в праиндоевропейском, и приходит к выводу, что праиндоевропейская месть мыслилась в категориях, имеющих отношение к обмену и торговле: “В этом смысле формулы

типа “господин крови”, “братъ кровь”, “давать кровь”, “цена крови” составляют элементы парадигм “господин X”, “братъ X” и т. п., где X приобретает самые различные значения из предметной области того, чем – в архаическом сознании – можно было обладать” (Орёл, 1986, с. 143).

Г. Рикс выделяет три корня $*k^wej$: 1) ‘наблюдать, обращать внимание’; 2) ‘собирать, укладывать слоями’; 3) ‘наказывать’ (Rix, 2001, s. 377-380). Однако он считает, что 1. $*k^wej$ и 3. $*k^wej$ одного происхождения (Rix, 2001, s. 380). Г. Рикс добавляет к традиционно сопоставляемым словам из индоевропейских языков лик. A ttiti, лик. B kikití ‘платит’, гр. мик. qe-ja-me-no (Rix, 2001, s. 379-380).

Дж. П. Мэллори и Д. К. Адамс изучали правовые обычаи в праиндоевропейском обществе. Они реконструировали корень $*k^wej$ со значением ‘компенсация’. Однако при реконструкции значения корня Дж. П. Мэллори и Д. К. Адамс, как и Г. Т. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов, не стали учитывать индоевропейские слова со значением ‘обращать внимание’ и ‘почитать’ (J. P. Mallory, 2006, p. 277).

Подводя итоги рассмотрению мнений исследователей на происхождение слов τίνω, ποινή, τιμή, ἄποινα, хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что существует две позиции, восходящие к Г. Курциусу и В. Шульце. Согласно первому мнению, τίνω, ποινή, τιμή, ἄποινα восходят к одному индоевропейскому корню. Эту идею поддерживают Г. Курциус, Э. Буасак, Ю. Покорный, Г. Фриск, И. Гофман, Г. Рикс. Для исследователей, придерживающихся другой концепции (В. Шульце, Э. Френкель, Э. Швицер, Э. Бенвенист, П. Шантрен), эти древнегреческие слова происходят от двух корней со значениями ‘мстить’ и ‘наблюдать, почитать’. Г. Рикс предполагает, что в праиндоевропейском существовало два корня, которые, в свою очередь, восходят к одному.

Хотелось бы отметить ряд спорных моментов в рассуждениях сторонников происхождения выше названных греческих слов от двух корней. Наиболее развёрнутую аргументацию привёл Э. Бенвенист. Его аргументы относятся, главным образом, к сфере семантики слов. Однако предположение Э. Бенвениста о том,

что значения ‘получить наказание, вызвать мщение’ и ‘почитать, оказывать честь’ не связаны друг с другом можно оспорить. Во многих “примитивных” культурах лексика возмездия связана с почтением, честью и т. д. В этом нет никакого противоречия. Мсть всегда есть форма защиты чести (Бурдые, 2001, с. 198 сл.) (Рулан, 1999, 173-176). Также вряд ли можно говорить о том, что развитие значения идёт от “честь” к “мести” или наоборот. Оба значения вполне могут иметь первоисточником идею платы. Если мсть, согласно теории французского социолога П. Бурдые, является способом обмена символическими “баллами” между двумя социальными группами, то честь – это сумма таких “баллов”. Этнографические параллели подтверждают, что честь, мсть и обмен тесно связаны во многих культурах: “У племён бети оскорблённые должны “вернуть зло” (vudan), а обидчики должны возместить им убытки (кип). У кабилов убийство обозначается термином ertal – отдача трупа: убийство создаёт кровный долг, а мсть его выплачивает, возвращая труп” (Рулан, 1999, 174). В Калабрии говорят, что честь замешана на крови (Рулан, 1999, 174). Русское слово “мсть” родственно словам из сферы обмена (Фасмер, 1986).

Э. Бенвенист пишет, что “разбираемое значение, выраженное в $\tau\acute{\iota}\nu\mu\alpha\iota$, $\tau\acute{\iota}\varsigma\varsigma$, $\lambda\omicron\upsilon\eta\acute{\iota}$ и в соответствующих им формах других языков, можно определить как ‘заставить платить страховое возмещение; объявлять цену преступлению, и особенно уголовному преступлению’ (Бенвенист, 1995, с. 275). А значение $\tau\acute{\iota}\mu\acute{\eta}$, по его мнению, включает в себя идеи почтения и материального поощрения (Бенвенист, 1995, с. 274). $\tau\acute{\iota}\mu\acute{\eta}$ для Э. Бенвениста представляет собой “достоинство божественного происхождения, которое жребий приносит лицу царского рода; в это понятие входит не только власть, но и почётные привилегии, а также соответствующие материальные блага” (Бенвенист, 1995, с. 274). Исследователь убедительно доказывает, что у $\tau\acute{\iota}\mu\acute{\eta}$ может быть подобное значение в гомеровском тексте. Однако у Гомера есть одно место (II. 3. 375 сл.), в котором $\tau\acute{\iota}\mu\acute{\eta}$ явно имеет значение ‘компенсация’: $\tau\acute{\iota}\mu\acute{\eta}$ должны выплатить троянцы после убийства Париса Менелаем. Э. Бенвенист пытается доказать, что под $\tau\acute{\iota}\mu\acute{\eta}$ здесь понимается дань и “признание царской власти и

предоставление сопутствующих этой власти почестей” (Бенвенист, 1995, с. 275). Однако нигде у Гомера не говорится о том, что причиной конфликта троянцев и греков было непризнание троянцами царского достоинства Агамемнона и Менелая. Зато эпос вполне определённо говорит о том, что причиной Троянской войны было похищение Елены и сокровищ. Вопрос об “инсигниях” царской власти нигде в гомеровских поэмах не обсуждается, и думать о том, что в этом месте речь идёт о нём, на мой взгляд, слишком смелое предположение. Э. Бенвенист пытается доказать, что *τιμή* в этом месте лишь сопоставляется с выплатой компенсации троянцами. Исследователь даже пишет, что “*τιμή* лишь случайно стоит рядом с глаголом со значением ‘возмещать’ (Бенвенист, 1995, с. 275). Наконец, Э. Бенвенист пытается игнорировать позднейшее значение *τιμή*, ставшее основным: ‘плата, цена’. По этим причинам нельзя принять аргументы Э. Бенвениста против интерпретации *τιμή* в II. 3. 375 сл. как ‘компенсации’. Действительно, в этом контексте есть проблема различения *τιμή* и *ποινή*. К сожалению, у нас есть всего один контекст у Гомера, где противопоставляется *τιμή* и *ποινή*, и мы не можем сделать какие-либо заключения относительно отличия этих двух понятий. Интерпретация этого эпизода показывает лишь то, что *τιμή* и *ποινή* не являются синонимами, что, кажется, никто из исследователей и не доказывал.

Другая трудность, возникающая перед Э. Бенвенистом, отрицающим связь *τιμή* с возмездием, – это древнегреческие слова *τιμωρεῖν* и *τιμωρός*. Э. Бенвенист считает, что эти слова – результаты вторичных контактов между двумя гнездами слов (Бенвенист, 1995, с. 276).

Хотелось бы отметить, что В. Шульце и особенно его последователи явно “модернизировали” мыслительную структуру праиндоевропейцев, приписав людям, жившим в древности, категории мышления человека Нового времени, в которых месть, почести и плата, действительно, являются понятиями из совершенно разных сфер жизни.

Необходимо также обратить внимание на то, что в гомеровском эпосе значения возмездия, платы и почтения очень тесно связаны в *τίνω*, *ποινή*, *τιμή*, *ἄποινα*.

Для начала рассмотрим значение τίνω в гомеровских текстах: причины появления действия, обозначенного как τίνω, результаты, к которым оно приводит, и его характер.

Самой распространённой причиной возникновения действия τίνω является убийство близкого человека: убийство сына (Π. 15.115, Od. 24.470), отца (Od. 3.195, 3.203-206), какого-либо другого родственника (Π. 9.634-635), друга (Π. 18.93, 21.134, 22.270), товарища (Π. 16.398; Od. 9.479, 23.312-313), попытка убийства брата (Π. 11.142). Ранение также является одной из причин, способной побудить к тому, что называется τίνεiv (Π. 21.399).

Следующая группа причин появления τίνω связана с оскорблением, нанесённым чести героя: Π. 1.508, 22.18-20.

Преступления против семьи также вызывают к жизни это действие: похищение Елены (Π. 3.28, 3.286, 3.288-289, 3.366, 3.459-460), “сватовство женихов” (Od. 15.177, 14.163, 23.31, 23.57, 3.216, 24.352, 5.24, 13.386, 13.193, 17.540, 16.255, 11.118, 22.60-64, 1.268), отказ освободить за выкуп Хрисеиду (Π. 1.42), прелюбодеяние Ареса (Od. 8.347-348, 8.355-356).

Четвёртой группой причин появления действия τίνω являются “преступления против собственности”: Od. 15.236, 12.378, 12.383-384. Сюда же, относится часть причин, побудивших Одиссея на месть женихам. τίνω может появиться и в случае отказа выполнить просьбу (Od. 22. 218).

Как пятую группу можно выделить преступления рабов против господ (Od. 22.168-169).

Обман (Od. 13.213) и клятвопреступление (Π. 19.259-260) также будут поступками, которые влекут за собой, действие, обозначаемое как τίνεiv.

Наконец, развод также является поступком, вслед за которым можно τίνεiv (Od. 2.132-133).

Среди положительных причин можно выделить следующие: спасение жизни (Π. 18.407-408), другой хороший поступок (Od. 22.235, 13.14-15, 14.166) или заслуги объекта перед субъектом τίνω (Π. 8.186, 1.244, 1.509-510, 9.118, 16.274; Od. 7.67).

Выше было приведено 56 ситуаций, приводящих к возникновению действия, обозначенного как τίνω/ὑποτίνω. Из них в

45 случаях причинами являются поступки, носящие деструктивный характер (убийство, разорение дома и т.д.). В 11 случаях τίνω есть реакция на поведение, одобряемое в гомеровском обществе.

Если мы посмотрим на результаты, к которым приводит или должно приводить действие τίνω, то ими будут: гибель объекта τίνω (Π. 15.115, 21.134, 18.93, 3.28, 3.366, 3.351, 161-162, 15.177, 22.270, 11.142, 16.398; Od. 12.378, 12.383-384, 3.195, 3.203-206, 14.163, 15.236, 317, 23.31, 23.57, 3.216, 24.352, 5.24, 13.386, 13.193, 17.540, 16.255, 22.168-169, 11.118, 22.60-64, 1.268), поражения, обрушившиеся на ахейское войско в наказание за оскорбление Ахилла (Π. 1.508), чума (Π. 1.42), уплата выкупа (Od. 8.347-348, 355-356, 11.3.286, 3.288-289, 3.459-460, 9.634), ослепление (Od. 23.312-313, 9.479). Действие τίνω было направлено на убийство объекта τίνω, но не было завершено в Π. 22.18-20, 21.399, 18.34-35; Od. 22.218, 24.470. Не наказал Зевс и феакийцев по просьбе Одиссея, решившего, что его обманули (Od. 13.213-214). Не накажут боги и за клятвопреступление, так как Агамемнон выполнил все свои обещания в отношении Ахилла: Π. 19.259-260.

Услугой за оказанное благодеяние заканчивается действие в: Π. 18.407-408, 8.186; Od. 22.235, 13.14-15, 14.166. τίνεῖν приводит к оказанию почестей в: Π. 1.244, 1.509-510, 9.110, 9.118, 16.274; Od. 7.67. Телемах рассматривает возможность выплаты приданого как завершающей фазы τίνω в Od. 2.132-133.

Характер действия, обозначаемого как τίνω, предполагает: поединок с целью убийства объекта τίνω (Π. 15.115, 18.34-35, 18.93, 21.134, 22.270, 16.398, 11.142, 22.18-20, 3.366, 3.351, 15.177, 317, 3.216, 24.352, 21.399, 161-162; Od. 24.470, 3.195, 3.203-206, 23.312-313, 3.28, 14.163, 23.31, 23.57, 5.24, 13.386, 13.193, 17.540, 16.255, 11.118, 22.60-64, 1.268, 15.236, 22.218, 22.168-169), увод в рабство жён и детей троянцев (Π. 4.161-162), кару богов (Π. 22.18-20, 1.508, 19.259-260; Od. 9.479, 1.42, 12.378, 12.383-384, 13.213), выплату приданого (Od. 2.132-133), вергельда (Π. 9.634-635, 3.286, 3.288-289, 3.459-460; Od. 8.347-348, 355-356), благодарность, выраженную каким-либо делом (Π. 18.407-408, 8.186;

Od. 22.235), отблагодарить с помощью каких-либо ценных предметов (Od. 13.14-15, 14.166), оказание почестей (Π. 1.244, 1.509-510, 9.110, 9.118, 16.274; Od. 7.67).

Из всего выше перечисленного следует, что в значении τίνω сочетаются благодарность, месть и оказание почестей.

Слово τιμή в гомеровских поэмах может обозначать: власть (Π. 2. 196–197, Π. 1. 278–279, Π. 17. 251, Π. 6. 193, Π. 15. 189, Π. 9. 616, Od. 11. 495, Od. 11. 503, Od. 24. 30), славу (Π. 1. 353, Π. 16. 84–85, Π. 24. 57), честь (Π. 4. 410, Π. 9. 319, Π. 17. 92), почести (Π. 9. 605, Π. 9. 608, Π. 23. 649, Od. 5. 335, Od. 8. 479–480, Od. 11. 302–304), обязанность чествования (Od. 11. 338), компенсацию (Π. 3.286, Π. 3.459, Od. 22. 56–58).

В эпосе есть места, которые, учитывая возможную этимологию τιμή, можно интерпретировать двояким образом. Так, про Орсилоха и Крефона говорится, что они пришли под Илион τιμήν Ἀτρείδης Ἀγαμέμνονι καὶ Μενελάῳ ἄρνυμένῳ – добывая славу для Атридов, Агамемнона и Менелая. Но вполне приемлемым переводом будет “добываясь мести для Атридов, Агамемнона и Менелая” (Π. 5.552-553). В другом месте Эвмей говорит, что Одиссей отправился под Трою Ἀγαμέμνονος εἵνεκα τιμῆς (Od.14.70-71). Одиссей спрашивает, как погиб хозяин свинопаса: Ἀγαμέμνονος εἵνεκα τιμῆς – то ли ради славы Агамемнона, то ли из-за мести Агамемнона (Od. 14.117). Ещё одно место, где τιμή может быть переведено двояко – Od. 1.117: Одиссей будет то ли иметь возможность отомстить, то ли принять царскую власть (царские почести?) – τιμήν δ' αὐτὸς ἔχοι. Так же неясно, как переводить эпитет Зевса Ἐπιτιμήτωρ ἱκετάων τε ξείνων τε (Od. 9.270-271).

Глагол τιμάω, чаще всего, значит ‘почту, выкажу уважение’: Π. 1.454, 23.787, 22.235, 11.46, 13.113, 16.271, 12.310, 16.271, 9.38, 16.460, 23.649, 9.297, 19.280, 23.339; Od. 13.28, 3.379, 5.36, 7.69, 14.203, 15.365, 1.312, 22.129. Однако этот глагол может переводиться на русский язык как мстить. Так, Зевс думает, как бы ему отомстить за Ахилла: Π. 2.4. Здесь стоит обратить внимание на

то, что данное место допускает два толкования. Вполне возможна такая интерпретация: Зевс думает, как бы ему почтить Ахилла. Та же самая двоякость возможна и в II. 16.237. Ахилл благодарит Зевса за то, что тот “τίμησας μὲν ἐμέ, μέγα δ’ ἵψαιο λαὸν Ἀχαιῶν” - ”ты отомстил за меня и погубил много ахейцев”. Точно так же мольба Фетиды к Зевсу может содержать как просьбу “почтить” Ахилла, так и пожелание “отомстить” за него: “τίμησόν μοι υἱόν” (II. 1.505). Такова же ситуация в II. 1.559 и II. 15.77.

Безусловно принадлежит к сфере возмездия слово ποινή. ποινή в гомеровских текстах может обозначать: убийство обидчика (II. 14.483-484, 21.27-28, 13.659, 16.398, Od. 23.312-313), компенсацию за убийство человека, выкуп (II. 18.498-499, 9.633). Слово ἄποινα в эпосе имеет значение ‘выкуп за тело убитого’ (II. 22.349, 24.137, 24.276, 24.555-556, 24.578), ‘выкуп за пленника’ (II. 21.100, 11.134, 1.13), ‘подарок, сделанный, чтобы склонить к принятию нужного решения’ (II. 9.120, 19.138). И ποινή, и ἄποινα у Гомера имеют семантику платы. Так же как τίνω, τιμή. Поэтому гомеровские свидетельства нельзя использовать для доказательства происхождения этих слов от двух разных корней.

Представляется вполне обоснованным утверждать, что в гомеровском эпосе нельзя найти бесспорных семантических аргументов для выделения двух корней, к которым восходят разбираемые древнегреческие слова. Этнографические параллели заставляют также отойти от тезиса об отсутствии тесной связи между почтением, платой и возмездием.

Список литературы

- Бенвенист, Э. (1995). *Словарь индоевропейских социальных терминов*. М.: Прогресс, Универс.
- Бурдые, П. (2001). *Практический смысл*. М.-СПб.: Алетея, «Институт экспериментальной социологии».
- Орёл, В. Э. (1986). Об одном институте индоевропейского права. Опыт лингвистического комментария. *Вестник древней истории*, 1, 130–144.
- Рулан, Н. (1999). *Юридическая антропология. Учебник для вузов*. М: Норма.

- Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В. (1984). *Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и пракультуры. Т. 1, 2.* Тбилиси: издательство Тбилисского университета.
- Фасмер, М. (1986). *Этимологический словарь русского языка. Том 2. Пер. и доп. О. Н. Трубачева, под ред. Б. А. Ларина.* М.: Прогресс.
- Boisacq, E. (1916). *Dictionnaire étymologique de la langue grecque. étudiée dans ses rapports avec les autres langues indo-européennes.* Heidelberg: Carl Winter - Universitätsverlag, Paris: C. Klincksieck.
- Chantraine, P. (1977). *Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. Tome IV-1. P-Y.* Paris: Klincksieck.
- Curtius, G. (1866). *Grundzüge der griechischen Etymologie.* Leipzig: Druck und Verlag von B. G. Teubner.
- Fick, A. (1890). *Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen. Erster Teil.* Göttingen: Vandenhoeck und Ruprechts Verlag.
- Fraenkel, E. (1910). *Geschichte der griechischen Nomina agentis - ter, - tor, - tes(-t-). Erster Teil. Entwicklung und Verbreitung der Nomina im Epos, in der Elegie und in den ausserionisch-attischen Dialekten.* Strassburg: Verlag von Karl J. Truebner.
- Frisk, H. (1960). *Griechisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 2.* Heidelberg: Carl Winter - Universitätsverlag.
- J. P. Mallory, D. Q. A. (2006). *The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World.* Oxford: Oxford university press.
- Pokorny, J. (1959). *Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 2.* Bern-München: Francke Verlag.
- Rix, H. (2001). *Lexikon der indogermanischen Verben.* Wiesbaden: Dr. L. Reichert Verlag.
- Schulze, G. (1892). *Quaestiones epicae.* Gueterslohiae: C. Bertelsmann.
- Schwyzer, E. (1939). *Griechische Grammatik auf der Grundlage von Karl Brugmanns griechischer Grammatik. Bd. I. Allgemeiner Teil. Lautlehre. Wortbildung. Flexion.* München: Beck'sche Verlagsbuchhandlung.

ТЕОРИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ СЕМАНТИЧЕСКИХ ПЕРЕХОДОВ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Т. А. МИХАЙЛОВА

1. Сравнительный метод диахронической реконструкции, как известно, опирается в первую очередь на разработанную систему диахронических фонетических переходов, многие из которых имеют статус «закона» (см. Collinge 1985). Именно это определяет данное направление языкознания как наиболее точное и уподобляющееся естественным наукам (химии и биологии). На базе «внимательного сопоставления похожих слов» (Герценберг 2010: 9) устанавливаются точные фонетические соответствия, и исконные лексемы отделяются от заимствованных. На базе данных сопоставлений определяется родство языков и строятся соответствующие генетические схемы, называемые «деревьями» (как и понятие «семья» - термин был заимствован из биологии, см.: Бурлак, Старостин 2005: 154). Однако историческая фонология не всегда в достаточной степени описывает процесс перехода как мотивированный данными фонотактики, и в родственных языках могут наблюдаться регулярные тенденции к фонетической дивергенции, чем, собственно говоря, и определяется процесс ветвления семьи. Так, например, островные кельтские языки известны своей «леницией», которая была очень точно и ёмко определена В.П.Калыгиным как «введение гласного элемента в сегмент согласного» (Калыгин 2001: 98). Но указанная вокализация консонанта в разных ветвях языков пошла по двум разным путям: в гойдельском – по пути спирантизации, в бриттском – по пути вокализации (озвончения) Ср., например, ОК **katu-* ‘битва’, давшее др.ирл. *cath* /kaθ/ при ср.валл. *cad* /kad/.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНО В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОИФН «ДИНАМИКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ КУЛЬТУРЫ», ПРОЕКТ «СЕМАНТИЧЕСКИЕ ИЗОГЛОССЫ ЕВРОПЕЙСКОГО КУЛЬТУРНОГО АРЕАЛА».

В то же время в не близкородственных языках могут наблюдаться идентичные фонетические переходы. Например: гойдельский $nt > d$ ($nt > nd > dd > d$) фиксируется также в скифском (предположительно – относящемся к юговостоиранским языкам, см. Кулланда 2013: 34). Парадоксальным образом «химические» законы фонетического развития предстают иногда как результат немотивированных мутаций (в чем-то подобных генным мутациям) и их точность определяется в итоге лишь их относительно надежной системностью внутри семьи или под-группы.

2. Как ни странно, бóльшую надежность и системность на этом фоне представляют переходы семантические, не претендующие на то, чтобы служить базой для генетической реконструкции, но зато демонстрирующие регулярную семантическую мотивированность. Продолжая биологические параллели, мы назовем их – конвергентными. Обобщающая их теория получила название «теории универсальных семантических переходов» (УСП, или *semantic shift theory*, см. Зализняк 2001; Зализняк 2009; Zalizniak et al., 2012). Зоной ее применения оказывается не диахроническая генетическая реконструкция, но лингвистическая типология, однако накопленный данной теорией материал в настоящее время предстает как дополнительный инструментарий для диахронических реконструкций сравнительно-исторического языкознания. Более того, на интуитивном уровне существование ограниченного числа семантических переходов всегда ощущается и ощущалось лингвистами, занимающимися этимологией и реконструкцией. Показательным примером в данном случае может служить вышедшая недавно монография В.Блажека, посвященная анализу и.-е. обозначений кузнеца (Blažek 2010). Как отмечает автор, «термин *кузнец* не принадлежит к прото-индоевропейскому языку и вследствие этого *божественный кузнец* был введен в пантеон индоевропейских богов позднее» (р.1). Не реконструируется обозначение кузнеца и на и.-е. уровне: в каждой группе языков возникают собственные перифрастические лексемы. В.Блажек анализирует диахроническую семантику 50 генетически не связанных лексем, обозначающих кузнеца в и.е. языках и в результате суммируя свои наблюдения, выделяет всего лишь восемь групп-семантем: «умелец,

мастер», «тот, кто ударяет», «хозяин огня» и проч. Так, например, прото-оссет. **kurd-* ‘кузнец’ возводится им к и.е. **keH₂ŋ-* ‘бить молотом, разбивать’ и аналогичную семантическую деривацию автор постулирует для обще-герм. обозначения кузнеца: **smiP* < **smēi-* ‘бить, разбивать, бить молотом’. Интересно, что в своем анализе автор, как я понимаю, не знакомый с теорией универсальных семантических переходов, интуитивно приходит к подтверждению их реального существования и, более того, демонстрирует возможность применения данной методики для глубокой языковой реконструкции.

3. Теория УСП в настоящее время находится в стадии разработки и предстает во многом как лишенная точных критериев и во многом описательная. Как пишет ее «лидер» в нашей стране Анна А. Зализняк, «Интерпретация некоторой совокупности языковых фактов как реализации определенного семантического перехода есть результат сложной исследовательской работы, включающей применение определенных принципов и методов, но в целом не формализуемой и опирающейся, в значительной степени, на опыт и интуицию исследователя» (в печати). Кроме того, реальный историко-лингвистический материал далеко не всегда позволяет делать вывод об истинной **универсальности** семантических сдвигов, поэтому я бы предпочла называть их скорее фреквентальными или репрезентативными. В плане диахронической реконструкции, тем не менее, очень важным оказывается надежно засвидетельствованное постулирование семантического перехода $X > Y$ для языковых групп A, B, и C, т.к. на его базе может быть произведена реконструкция прото-семантики X для имеющегося значения Y в группе D. Так, утрата и.е. обозначений огня в романских языках и возведение соответствующих лексем к лат. *focus* ‘очаг; дом, жилище’ (родств. с *foveo* ‘грею, согреваю’), что также на более глубоком уровне поддерживается и.е. **āt(e)r-* предположительно изначально имеющей значение ‘очаг, жечь’¹ (IEW, 69), заставляет предположить наличие аналогичной исходной семантики и у кельтских основ,

¹ Являясь основным обозначением огня в авестийском (*ātarš*, перс. *ādar*) ее продолжения распространяются в балканском ареале, отчасти конкурируя с другими обозначениями огня как на диалектном, так и на семантическом

обозначающих огонь: др.ирл. *tene*, ср. валл. *tân* - к и.е. **tpnV*- 'жар, тепло', откуда также авест. *tafno* 'жар', норв. *teva* 'отдываться, пыхтеть от жары', др. инд. *tápati* 'является, пребывает теплым; сжигает; разогревает; кается; мучит', при *tapant-* 'жаркий', лат. *tepeō* 'являюсь теплым', *tepidus* 'теплый' (LEIA, T-50; IEW, 1069-1070; Isaac 2007, 68).

4. Теория УСП в применении к сравнительно-историческому языкознанию может привлекаться и для уточнения этимологии. Так, развитие семантики 'муж, супруг' < 'хозяин дома, муж' реконструируется Меллори и Адамсом как базовое для раннего обще-индоевропейского на основе и.е. **pótis* (Mallory and Adams 2006: 207), ср. лит. *pats* при *pati* 'жена', снскр. *pati-* 'муж, супруг' ~ *patnī-* 'жена, супруга', др.гр. *πότις* 'супруг' В качестве исходной семантики лексемы предполагается - **pot-* 'мочь, обладать силой'. Аналогичный отмеченному Меллори семантический переход присутствует и в германском. Так, готск. *aba* 'муж' предположительно по мнению В.П.Лемана (Lehmann 1986: 1) соотносится с др.исл. *aflī* 'могущество, власть' (др.англ. *afol* 'то же', при др.в.н. *uobo* 'фермер, хозяин дома'). На фоне проведенных параллелей предложенная З.Файстом (и поддержанная В.Орлом в Orel 2003: 1) этимология, возводящая готск. *aba* к «детскому языку» и обозначению старшего в семье (при др.исл. *aflī* 'дед, старик' и проч., Feist 1939: 1) предстает семантически не мотивированной. Аналогичные сопоставления др.ирл. *aithechtige* 'муж' со скандинавскими лексемами с аналогичной вторичной семантикой и исходным значением «крестьянин дома» позволило нам отказаться от ошибочного возведения *aithecht* к и.е. **pótis* (и объяснить немотивированную утрату долготы анлаута, см. Михайлова – в печати).

5. Наибольший интерес представляет раздел теории УСП, отмечающий «обратные переходы» (типа *работать* – *страдать* – *работать*). Так, наряду с широко засвидетельствованным переходом *девочка* → *служанка*, нами был засвидетельствован для среднеирл. переход *служанка* → *девочка*, демонстрирующий потенциальную широту семантического интенционала лексемы,

уровне. Ср. рум. *vatră*, болг.диал. *vatra*, укр.диал. *vatra*, сербск. *vatra*, алб. *vatrë* и др.

не реализующегося на экстенциональном языковом уровне. Последний вывод позволяет предположить, что теория УСП может также - прогнозировать развитие семантики внутри лексем конкретного языка, однако, как мы полагаем, это – дело будущего (хотя отдельные наблюдения в данной области уже были сделаны). Главным (и абсолютно необходимым) при изучении феномена семантической конвергенции остается не столько фиксация самого феномена, но и изучение ее мотиваций, что выводит данную область исторического языкознания в ареал общекультурных и социальных исследований.

Литература

Бурлак С.А., Старостин С.А. Сравнительно-историческое языкознание. М., Academia, 2005.

Герценберг Л.Г. Краткое введение в индоевропеистику. СПб., Нестор-история, 2010.

Зализняк Анна А. О понятии семантического перехода // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Труды Международной конференции Диалог'2009. Бекасово, 27-31 мая 2009. М., 2009, 107-112.

Зализняк Анна А. Семантическая деривация в синхронии и диахронии: проект создания «Каталога семантических переходов» // Вопросы языкознания, № 2, 2001, 13-25.

Зализняк Анна А. Семантический переход как объект типологии (в печати – Вопросы языкознания).

Калыгин В.П. Роль просодических признаков в истории кельтских языков // Язык и культура: факты и ценности. К 70-летию Ю.С.Степанова. М., ЯСК, 2001.

Кулланда С.В. Скифский язык и история // Раевский Д.С., Кулланда С.В., Погребова М.Н. Визуальный фольклор: поэтика скифского звериного стиля. М., ИВРАН, 2013.

Михайлова Т.А. О логике семантической деривации в возникновении и эволюции терминов свойства: др.ирл. *aithech tige* vs. др.англ. *husbonda* (в печати – Вестник МГУ. Сер. 9. Филология).

Blažek V. Indo-European "Smith" and his Divine Colleagues. Institute for the Study of Man, Washington, DC, 2010.

Collinge N.E. The Laws of Indo-European. Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, 1985.

Feist S. Gottischen Sprachen mit Einschluss des Krimgotischen. Leiden, 1939.

Isaac G.R. Studies in Celtic Sound Changes and their Chronology. Innsbruck, Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft, 2007.

LEIA - Lexique étymologique de l'irlandais ancien de J. Vendryes (T,U - E.Bachellery et P.Y. Lambert. Paris, 1978).

Lehmann W.P. A Gothic etymological dictionary. Leiden, 1986.

Mallory J.P., Adams D.Q. The Oxford Introduction to the Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World, Oxford, 2006.

Orel V. A Handbook of Germanic Etymology. Leiden, 2003.

Zalizniak Anna A., Bulakh, M., Ganenkov, D., Gruntov, I., Maisak, T., Russo. M. The Catalogue of semantic shifts as a database for lexical semantic Typology // Koptjevskaja-Tamm, Maria & Martine Vanhove (eds.), *Linguistics* 50–3, Vol. 2012, 633 – 669.

О НОВОМ ТИПЕ ПРАУРАЛЬСКИХ ОСНОВ

А. В. НИКУЛИН

Ниже обосновывается необходимость выделения в прауральском языке (далее ПУ) дополнительного типа основ на основании специфической рефлексии в различных ветвях уральской языковой семьи и будет детально обсуждаться рефлексия этого типа основ в дочерних языках.

О существовании класса основ с такими особенностями известно уже давно. Так, А. Генетцем (Genetz 1897, 11; Genetz 1899, 15, 17) был обнаружен ряд ПФ основ с исходом на **-aCCi*, восходящий к ПУ основам на **-äCCä* (в традиционной интерпретации). В.М. Иллич-Свитыч, по-видимому, первым предпринял попытку реконструировать в таких случаях для ПУ специальные типы основ (основы вида **-ä-a*, **-a-o* и **-ō-a*, см. [ОС-НЯ]). В [UEW] многие такие основы сочтены **a-* и *ä-*основами, претерпевшими редукцию гласного второго слога в ПФ (этой точки зрения придерживается большинство современных уралистов).

В 2012 г. саамский лингвист А. Айкио установил, что долгие ПФ гласные **ō* и **ē* представляют собой результат регулярного удлинения ПУ **a* и **ä* в позиции перед одиночным звонким согласным (Aikio 2012, 233), что позволило выявить сразу несколько новых этимологий с таким же соотношением.

Все ПУ основы этого типа содержали в первом слоге либо **ä*, либо **o*. Абсолютное их большинство между гласными двух первых слогов содержит кластер с лабиальным или **l*. На основании этого позиционного ограничения мы предполагаем, что следует восстанавливать лабиальный гласный второго слога, вероятно, **o*.

1. Рефлексы в ПФ

Все такие основы претерпели в ПФ языке метафонию первого слога с результатом **a* (возможно, не после ПУ палатального, где *Ć* — любой палатальный прауральский согласный. Рефлекс **o* второго слога — **e* (**i* в ауслауте), то есть ПУ **o*-основы в ПФ совпали с ПУ **i*-основами (**e*-основы в традиционной реконструкции). Аблаут предшествовал ПФ удлинению и переходу в средний подъём гласных верхнего подъёма перед одиночными сонантами в **e*-основах: ПУ **kolo* ‘умирать’ > ранне-ПФ **kale* > ПФ **kōle*-, ПУ **pālo* ‘половина’ >> ранне-ПФ **pale* > ПФ **pōle*-.

Указывалось, что некоторые из таких основ имеют *a*-основу в ливском языке, однако это объясняется тем, что ПФ основы на **-Rve*- регулярно давали *a*-основу в ливском языке, причём только в курляндском диалекте (в салацком диалекте обнаруживается вокализация **v*, как и в сопредельных вырусских диалектах): ПФ **hirvi* ‘лось’ > лив. *īr(v)a* ‘косуля (уст.)’, ПФ **pilvi* ‘облако’ > лив. *pīla* (сал. *pilu*), ПФ **polvi* ‘колено’ >> лив. *piōla* (сал. *polu*).

Ниже приводится материал (включены новые этимологии из Aikio 2009, Aikio 2012).

ПУ **jävro* ‘озеро’ > ПФ **jarvi*/**järvi*¹;

ПУ **kālo* ‘высаживаться, идти вброд’ > ПФ **kōle*;

ПУ **kāso* ‘роса’ > ПФ **kasi*, **kastek*;

ПУ **kolo* ‘умирать’ > ПФ **kōle*;

ПУ **komto* ‘крышка’ > ПФ **kanci* (ген. **kanden*);

ПУ **korto* ‘жечь’ > ПФ **karci* (ген. **karden*) ‘нагар’;

ПУ **lāmo* ‘струп, короста, сыпь’ > ПФ **lōmi* ‘веко, родимое пятно’;

ПУ **lomto* ‘низкий, низина’ > ПФ **lanci* (ген. **landen*) ‘низина’;

ПУ **nolo* ‘лизать’ > ПФ **nōle*;

ПУ **pālo* ‘половина’ > ПФ **pōli*;

¹Вероятно, переходу в задний ряд гласного первого слога воспрепятствовал анлаутный **j*; ср., однако, вод. диал. *jarvi* и лив. курл. *jāra*.

- (?) ПУ **pāno* ‘ставить’ > ПФ **pane*²;
 ПУ **pārto* ‘доска’ > ПФ **parci* (ген. *parden*) ‘насест, пол, чердак’;
 ПУ **rodvo* ‘карельская берёза, свилеватая древесина’ > ПФ **ratvi*;
 ПУ **polmo* ‘коса (волос)’ > ПФ **palmi*, **palmikkoI*;
 (?) ПУ **polo* ‘брусника’ > ПФ **pōla*³;
 ПУ **por(a)vo* ‘связка, плот’ > ПФ **parvi* ‘группа, стая; плот’ (сюда же лив. *bara* (мн. *barād*));
 (?) ПУ **sāmo* ‘этноним’ > ПФ **sōmi*;
 ПУ **sāppo* ‘жёлчь’ > ПФ **sappi* ‘жёлчь’;
 ПУ **sāro* ‘жила, сухожилие’ > ПФ **sōri* (лив. *súor*, *zúor*, новая этимология);
 (?) ПУ **śāno* ‘трут’ > ПФ **sēni* ‘гриб’;
 ПУ **śolmo* ‘пролив’ > ПФ **salmi*;
 ПУ **śolo* ‘кишка’ > ПФ **sōli*;
 ПУ **śorvo* ‘рог’ > ПФ **sarvi*;
 ПУ **śolo* ‘забота’ > ПФ **hōli*;
 ПУ **tālvo* ‘зима’ > ПФ **talvi*;
 ПУ **tommo* ‘дуб’ > ПФ **tammi*;
 ПУ **vāško* ‘металл’ > ПФ **vaski* ‘медь’;
 ПУ **vojo* ‘мочь’ > ПФ **voi*-;

2. Рефлексы в ПС

В прасаамском языке **o*-основы отражаются как **ē*-основы, внешне совпадая с ПУ **a* и **ā* основами. Гласный первого слога **o* закономерно переходит в ПС **oa*. Что касается гласного первого слога **ā*, то его рефлексация в **ē*-основах двояка (ПС **ea* и **ā* (Korhonen 1988)). Для рефлексов ПУ **o*-основ мы можем

²Ожидалось бы **riupne*-. По предположению М.А. Живлова, удлинению воспрепятствовала парадигматическая аналогия.

³Эта этимология крайне проблемна с фонетической точки зрения. Вероятно, после удлинения гласного первого слога ПФ слово перешло из *e*-основ в *a*-основы для избежания омонимии с **pōli* ‘половина’ (Kallio 2012, 167 со ссылкой на Koivulehto 1987, 204). Вероятно, с этой основой связано ПФ **karpalo* ‘клюква’, где аномальные звонкие согласные в основном наблюдаются в тех же диалектах, что и в рефлексах **pōla*.

предложить такое распределение: ПС **ea* встречается исключительно после лабиальных.

ПУ **jävro* ‘озеро’ > ПС **jāvrē*;

ПУ **kālo* ‘высаживаться, идти вброд’ > ПС **kālē*- ‘идти вброд’;

ПУ **kāmo* ‘вид обуви’ > ПС **kāmēk*;

ПУ **kāso* ‘роса’ > ПС **kāsē*- ‘сыреть’;

ПУ **komto* ‘крышка’ > ПС **koamtē*;

ПУ **korto* ‘жечь’ > ПС **koartē*-;

ПУ **lomto* ‘низкий, низина’, вероятно, не связано с ПС **luomtē*- ‘нагибаться’;

ПУ **hōlo* ‘лизать’ > ПС **hōaloa*-;

ПУ **pālo* ‘половина’ > ПС **pealē*;

ПУ **rodvo* ‘карельская берёза, свилеватая древесина’ > ПС **roađvē*;

ПУ **polmo* ‘коса (волос)’ > ПС **poalmē*;

ПУ **por(a)vo* ‘связка; плот’ > ПС **poarēvē* ‘плот’;

ПУ **sāmo* ‘этноним’ > ПС **sāmē* ‘саам’;

ПУ **sāppo* ‘жёлчь’ > ПС **sāppē*;

(?) ПУ **šāno* ‘трут’ > ПС **šānā*;

ПУ **šolmo* ‘пролив’ > ПС **šoalmē*;

ПУ **šolo* ‘кишка’ > ПС **šoalē*;

ПУ **šorvo* ‘рог’ > ПС **šoarvē*;

ПУ **šolo* ‘забота’ > ПС **soaloa*-

ПУ **tālvo* ‘зима’ > ПС **tālvē*;

ПУ **vojo* ‘мочь’ > ПС **voajē*-;

ПУ **vāško* ‘металл’ > ПС **veaškē* ‘медь’.

3. Рефлексы в ПМд

В прамордовском языке ПУ именные **o*-основы отражаются как основы на **-ə*, если второй консонант основы — одиночный сонант:

ПУ **kāto* ‘вид обуви’ > ПМд **kātə* (эрз. кем⁴, мокш. кяма, кямот);

⁴Этот рефлекс нерегулярен, ожидалось бы **кеме*. Вероятно, отпадение ауслутного гласного было обусловлено стремлением избежать омонимии со

ПУ **lāmo* ‘струн, короста, сыпь’ > ПМд **lāmā* (эрз. *леме(ть)* ‘экзема’);

ПУ **pālo* ‘половина’ > ПМд **pāl’ā* ‘половина’ (эрз. *пель⁵*, мокш. *пяле*);

ПУ **polo* ‘некоторая задняя часть тела’ > ПМд **pulā* ‘хвост’ (эрз. *пуло(м)*, мокш. *пула, пулом*);

ПУ **solo* ‘кишка’ > ПМд **sulā* (эрз. *сюло(м)*, мокш. *сюла, сюлом*);

ПУ **sorvo* ‘рог’ > ПМд **surā* (эрз. *сюро(м)*, мокш. *сюра, сюром*);

ПУ **tälvo* ‘зима’ > ПМд **täl’ā* (эрз. *теле(ть)*, мокш. *тяла, тялом*);

ПУ **tolo* ‘клин, гвоздь’ > ПМд **tulā* (эрз. *туло(м)*, мокш. *тула, тулом*);

ПУ **tomto* ‘дуб’ > ПМд **tumā* (эрз. *тумо(м)*, мокш. *тума, тумом*).

ПУ именные **o*-основы отражаются как ПМд основы на **-ä*, если это основы на шумный:

ПУ **komto* ‘крышка’ > ПМд **kundā* (эрз. *кундо, кундм*);

ПУ **säppo* ‘жёлчь’ > ПМд **säp’ā* (эрз. *сэпе, сэпть*, мокш. *сяпе, сяпм*);

ПУ **vāško* ‘металл’ > ПМд **v’škā* ‘провода, провод’ (эрз. *уське, уськть*, мокш. *уське, уськм*).

У основы ПМд **ä’rkā* ‘озеро’ < ПУ **jävro* тип основы установить не удаётся из-за присутствия деривационного суффикса.

Из вышеприведённых примеров ясно, что в *o*-основах ПУ **o* первого слога > ПМд **u*, а ПУ **ä* > ПМд **ä*. Исключений этому нет (**v’š-* < **v’š-*, как в слове **v’žā’ā* ‘топор’ < **v’šārā*).

Ситуация с глагольными основами сложнее. В ПМд отразилось четыре ПУ глагольных *o*-основы, и единообразия рефлексации они не обнаруживают.

ПУ **kālo* ‘высаживаться, идти вброд’ > ПМд **kulā-* ‘идти вброд’ (эрз. *келемс* (Pt.3Sg *кельсь*), мокш. *кялемс* ‘идти’);

словом *кеме* ‘крепкий’ < ПМд **ketā*. Мокшанская форма может восходить только к **ä*-основе.

⁵Синонимичная форма *пель* восходит, вероятно, к ПУ **pāli*.

ПУ **kolo* ‘умирать’ > ПМд **kulə-* (эрз. *куломс* (Pt.3Sg *кулось*), мокш. *куломс* (ср. тж. *кулси* ‘умирающий’));

ПУ **korto* ‘жечь’ > ПМд **kərta* ‘палить’ (эрз. *киртамс*, мокш. *крхтамс*, *крхнемс*);

ПУ **holo* ‘лизать’ > ПМд **nola* (эрз. *ноламс*, *нолсемс* (Pt.3Sg *нолсесь*), мокш. *ноламс*, *нолсемс*).

Как видно, последние две из этих основ имеют **a*-основу и нерегулярный вокализм первого слога. Заметим, что глагол **holo* имеет в ПС не **ē-*, а **oa*-основу, что ставит под сомнение отнесение этого глагола к классу **o*-основ.

4. Рефлексы в ПМр

ПУ именным **o*-основам могут наследовать как ПМр **ə*-основы, так и консонантные основы (распределение неясно). Среди рефлексов глагольных **o*-основ тоже представлены оба возможных типа основ (основы с **ä* в первом слоге становятся глаголами *A*-спряжения, а основы с **o* — глаголами *E*-спряжения).

Обычным рефлексом **ä* первого слога является, несомненно, ПМр **ε*. ПУ **o* первого слога, как правило, сохраняется без изменений. По всей видимости, в позиции после дентального перед лабиальным (или кластером с лабиальным) наблюдались особые рефлексы верхнего подъёма.

ПУ **jävro* ‘озеро’ > ПМр **jer*;

ПУ **kälö* ‘высаживаться, идти вброд’ > ПМр **kelA* ‘идти вброд’;

ПУ **kämo* ‘вид обуви’ > ПМр **kem*;

ПУ **kolo* ‘умирать’ > ПМр **kolE-*;

ПУ **komto* ‘крышка’ > ПМр **komdə-*;

ПУ **korto* ‘жечь’ > ПС **k{o/ɔ}rðE-*;

ПУ **lämo* ‘струп, короста, сыпь’ > ПМр **lim/*lümə*;

ПУ **lomto* ‘низкий, низина’ > ПМр **landaka*, **mülandə*

ПУ **holo* ‘лизать’ > ПС **nɔlE-*;

ПУ **pälö* ‘половина’ > ПС **pɛl(ə)/*wɛl*;

ПУ **polo* ‘некоторая задняя часть тела’ > ПМр **puləkš* ‘предплечье’;

ПУ **säro* ‘жила, сухожилие’ > ПМр **ser*;

- ПУ **šāno* ‘трут’ > ПМр **šen*;
 ПУ **šolo* ‘кишка’ > ПМр **šolə*;
 ПУ **šorvo* ‘рог’ > ПМр **šur*;
 ПУ **tälvo* ‘зима’ > ПМр **telə*;
 ПУ **tommo* ‘дуб’ > ПМр **tumə*;
 ПУ **vāško* ‘металл’ > ПМр **wɔ{z/ž}*.

5. Рефлексы в ПП

В прапермском языке гласные первого слога ПУ **o*-основ развиваются, как в ПМд, а тематический гласный бесследно исчезает. Примечательно, что ПУ **o*-основам никогда не наследуют коми основы с *j*-наращением (есть только одно исключение), а также ПП основы с анлаутным звонким согласным.

ПУ **kälö* ‘высаживаться, брести’ > ПП **käl-/kel*⁶ ‘брести’ (ПК **kæl-/käl-*, ПУд **kol-* ‘протоптать дорогу’);

ПУ **kämö* ‘вид обуви’ > ПП **käm* (ПК **kæm* ‘лапоть’);

ПУ **kolo* ‘умирать’ > ПП **kul-* (ПК **kul-*, ПУд **kul-*);

ПУ **komto* ‘крышка’ > ПП **kud* (ПК **kud*);

ПУ **lämo* ‘струп, короста, сыпь’ > ПП **läm* (ПК **læm*, ПУд **lom*);

ПУ **lomto* ‘низкий, низина’ > ПП **lud* (ПК **lud*, ПУд **lud*);

ПУ **nolo* ‘лизать’ > ПП **nul-* (ПК **nul-*, ПУд **nUl-*);

ПУ **pälo* ‘половина’ > ПП **päl* (ПК **pæl*, ПУд **pal*);

ПУ **päno* ‘ставить’ > ПП **pän-* (ПК **pæn-*, ПУд **pon-*);

ПУ **polo* ‘некоторая задняя часть тела’ > ПП **pUl-* ‘лопатка’ (ПК **pul-*);

ПУ **polo* ‘брусника’ > ПП **pul* (ПК **pul*);

ПУ **por(a)vo* ‘связка; плот’ > ПП **pur* ‘плот’ (ПК **pur*, ПУд **pur*);

ПУ **säppo* ‘жёлчь’ > ПП **söp* (ПК **sæp*, ПУд **sep*);

ПУ **säro* ‘жила, сухожилие’ > ПП **vir-sär* ‘кровеносный сосуд’ (ПК **virsær*, ПУд **virser*);

ПУ **šāno* ‘трут’ > ПП **šän* ‘трут’ (ПУд **šenki*);

⁶ Регулярный рефлекс ПФУ **ä* в **o*-основах — ПП **ä*, его следы сохранились в коми-язьвинском **köl-*, а также в рефлексах каузатива **kält-* ‘ловить бреднем’ > ПК **kælt-*, ПУ **kalt-* (этимология в [КЭСК, 138], вероятно, ошибочна). Другие коми и удмуртские идиомы обнаруживают рефлексы ПП **e*.

ПУ **solmo* ‘пролив’ > ПП **sunm*⁷ (ПУд **sum* ‘маленькое продолговатое озеро вдоль реки’);

ПУ **solo* ‘кишка’ > ПП **sul* ‘кишка’ (ПК **sulj-*, ПУд **sul*);

ПУ **sorvo* ‘рог’ > ПП **sur* ‘рог’ (ПК **sur*, ПУд **sur*);

ПУ **älvo* ‘зима’ > ПП **äl* ‘зима’ (ПК **äel*, ПУд **tol*);

(?) ПУ **tommo* ‘дуб’ > ПП **tU-pU* (ПК **tupu*, ПУд **tipi*);

ПУ **väško* ‘металл’ > ПП **-väš* (ПК **-iš* (кз. *-iš*), ПУд **-veš* (удм. *-veš*)).

Из-за нерегулярностей в вокализме отвергается этимология ПУ **pärto* ‘доска’ > ПП **berd* ‘стена’ (ПК **bärd*, ПУд **bord*).

6. Рефлексы в угорских языках

Судя по всему, ПУ **o*-основы к праугорскому состоянию совпали с ПУ **i*-основами. ПОУ демонстрирует те же рефлексы ПУ гласного первого слога **o*, что и в **i*-основах (М.А. Живлов, устное сообщение).

Гласный **o* первого слога отражается в венгерском как *a*, а в ПОУ — как **a* или **ë* (вероятно, после палатальных согласных). Гласный **ä* первого слога имеет в венгерском рефлекс *ë* > *e*. Видимо, все венгерские имена, восходящие к **o*-основам, имеют чередование долгот.

ПУ **kälö* ‘высаживаться, брести’ > венг. *kel-*, ПОУ **kälV-* (ПМнс **k^wäl-*, ПХ **kül-*, **käləy-*);

ПУ **käso* ‘роса’ > ПОУ **käθü* (ПМнс **kätäl*, ПХ **ketä*);

ПУ **kolo* ‘умирать’ > венг. *hal-*, ПОУ **kala-*, **kalī-* (ПМнс **käl(ä)-*, ПХ **kal-*, **kilä-*);

ПУ **holo* ‘лизать’ > венг. *nyal-*, ПОУ **ñēli-*, **ñēlī-* (ПМнс **hal-*, ПХ **ñil(ä)-*, **ñiləj-*, **ñaləmt-*);

ПУ **pälö* ‘половина’ > венг. *fél* (акк. *felet*, диал. *fël*), ПОУ **pä[ä]* (ПМнс **pälä*, ПХ **pä[ä]*);

ПУ **päno* ‘ставить’ > ПОУ **p{ë/a}ni-* (ПМнс иррег. **pinä-*, ПХ **pīn-*);

ПУ **pärto* ‘доска’ > ПОУ **pärtä* (ПМнс **pärtä*, ПХ **pärt*);

ПУ **polo* ‘брусника’ > ПМнс **pil*;

⁷ПК **šānm* (кз. *šon*, вв. *šonm-*) ‘ложбина’ не может сюда относиться ввиду вокализма.

ПУ **por(a)vo* ‘плот, связка’ > ПОУ **parī* ‘плот’ (ПМнс **pārā*, ПХ **pīrā*);

ПУ **säppo* ‘жёлчь’ > венг. *epe* (диал. *ēpē*), ПОУ **θ{ä/ā}p{ä/ü}* (ПМнс **tāpā*);

ПУ **säro* ‘жила, сухожилие’ > венг. *ér* (акк. *eret*, диал. *ēr*), ПОУ **θārā* ‘корень’ (ПМнс **tār(ä)*, ПХ **lār*);

ПУ **säno* ‘трут’ > венг. *szén* (акк. *szenet*) ‘уголь’, ПОУ **šēnāy* ‘древесный гриб’ (ПМнс **šīnV_Y*, ПХ **sānV_Y*);

ПУ **šolo* ‘кишка’ > ПОУ **šVla* (ПХ **sal*);

ПУ **tälvo* ‘зима’ > венг. *tél* (акк. *telet*), ПОУ **tIVV_Y* (ПМнс **tālā*, ПХ **tülāy*);

ПУ **väško*⁸ ‘металл’ > венг. *vas* ‘железо’, ПОУ **wV_YšV* (ПМнс **wiš* ‘свинец’, ПХ **wi_Y* ‘железо’);

(?) ПУ **vojo* ‘мочь’ > венг. *vív-*.

Венг. *szarv* ‘рог’ и ПОУ **čVrpV/*čVrpV* ‘вид лося’ (ПМнс **šārp*, ПХ **čerpV*), вероятно, имеют иной источник заимствования, чем ПУ **šorvo*.

В целом особенности рефлексии **o*-основ в угорских языках не вполне ясны.

7. Рефлексы в ПСд

Рефлексия ПУ **o*-основ в самодийских языках также не обнаруживает единообразия. Две основы на **-olo* развиваются, как **i*-основы (с переходом **l > j > θ*, см. Aikio 2012, 246):

ПУ **kolo* ‘умирать’ > ПСд **kåä-*;

ПУ **holo* ‘лизать’ > ПСд **háä-*;

Основы с гласным первого слога **ä* обнаруживают **a*-основы:

ПУ **kāso* ‘роса’ > ПСд **kāta_Y* ‘иней’, **kātār* ‘наст’;

ПУ **pälo* ‘половина’ > ПСд **pälä*⁹;

⁸Соответствие между мансийским и хантыйским иррегулярно, равно как и венгерский рефлекс. Это заставляет думать о возможном заимствовании из какого-либо близкородственного идиома в хантыйский и венгерский (но не мансийский), однако мы затрудняемся предложить кандидатуру на источник заимствования.

⁹Мы предполагаем, что в этом случае **-la > *-lā*, как это регулярно происходило с **-lā*.

ПУ **väško* ‘металл’ > ПСд **wäsa*;

Остальные основы пока не позволяют говорить о каких-либо закономерностях регулярного развития:

ПУ **lomto* ‘низина’ > ПСд **l̥mto(j)*;

ПУ **päno* ‘ставить’ > ПСд **p̥n-*;

(?) ПУ **polo* ‘брусника’ > ПСд **p̥əl-* ‘морозка’;

ПУ **por(a)vo* ‘плот, связка’ > ПСд **p̥årV* ‘деревянная подставка для хранения’.

8. Заключение

Выше мы выделили класс прауральских основ, обнаруживающий специфическую рефлексацию в целом ряде уральских языков, причём для всех финнопермских языков, кроме марийской группы, её удалось полностью описать. Представляется, что это позволит значительно уточнить реконструкцию не только прауральского, но и праностратического языка.

Предметом дальнейших исследований должно стать установление точных правил рефлексации таких основ в угорских и самодийских языках, а также поиск новых этимологий, относящихся к этому типу (в особенности не имеющих рефлексов в ПФ и ПС). Кроме того, ряд из них (по крайней мере, **jävro* ‘озеро’, **śorvo* ‘рог’), несомненно, заимствован в западные ПУ диалекты из индоевропейских языков. Детальное изучение источников заимствования может пролить свет на фонетическую реализацию такого ауслаута в ПУ языке.

Литература

Aikio, A. The Saami loanwords in Finnish and Karelian (неопубл.; 2009).

Aikio, A. On Finnic long vowels, Samoyed vowel sequences, and Proto-Uralic *x. // *Per Urales ad Orientem. Iter polyphonicum multilingue. Festschrift tillägnad Juha Janhunen på hans sextioårsdag den 12 februari 2012.* Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia = Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 264. — Helsinki, 2012.

Genetz, A. Ensi tavuun vokaalit suomen, lapin ja mordvan kaksi ja useampitavuisissa sanoissa. // *Suomi III*, 13. — 1897.

Unkarin ensi tavuun vokaalien suhteet suomalais-lappalais-mordvalaisiin. // *Suomi III*, 16. — 1899.

Kallio, P. The non-initial-syllable vowel reductions from Proto-Uralic to Proto-Finnic. // *Per Urales ad Orientem. Iter polyphonicum multilingue*. Festschrift tillägnad Juha Janhunen på hans sextioårsdag den 12 februari 2012. Suomalais Ugrilaisen Seuran Toimituksia = Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 264. — Helsinki, 2012.

Koivulehto, J. Zu den frühen Kontakten zwischen Indogermanisch und Finnisch-Ugrisch. // *Parallelismus und Etymologie: Studien zu Ehren von Wolfgang Steinitz anlässlich seines 80. Geburtstags am 28. Februar 1985*. — Berlin, 1985.

Korhonen M. The History of the Lapp Language. // *The Uralic Languages: Description, History, and Foreign Influences*. — Brill, 1988.

Károly, R. Uralisches etymologisches Wörterbuch [Uralic Etymological Dictionary]. 3 volumes, translated from Hungarian by Mária Káldor. — Wiesbaden, 1986.

Лыткин В.И., Гуляев Е.С. Краткий этимологический словарь коми языка [КЭСК]. — М., 1970.

Иллич-Свитыч, В.М. Опыт сравнения ностратических языков (семито-хамитский, картвельский, индоевропейский, уральский, дравидийский, алтайский). Сравнительный словарь [ОС-НЯ]. — М., 1971 (т. 1), 1976 (т. 2), 1984 (т. 3).

РЕКОНСТРУКЦИЯ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОДСИСТЕМ (СЛУЧАЙ ДИВЕРГЕНЦИИ ГЕРМАНСКИХ -AN- И -ÖN-ОСНОВ)

Н. Б. ПИМЕНОВА

В настоящее время сравнительно-историческое языкознание не обладает разработанным инструментарием для реконструкции на словообразовательном уровне, применяя методы, аналогичные методам реконструкции морфем. Общепринятые приложения этих методов к словообразованию ведут к реконструкции деривационного акта и древнейшего общезыкового (либо ареального) фонда производных. Недостатком таких приложений является то, что в случае отсутствия специфических фонетических и фономорфологических данных они лишены семантических и структурно-системных обоснований, которые позволяли бы утверждать, что восстанавливаемые единицы соответствуют правилам и закономерностям общезыковой системы и реализовывались в общезыковой период.

Однако в дополнение к традиционным подходам может быть предложена и иная, весьма перспективная модель, предполагающая реконструкцию параметров самой словообразовательной системы (ср. Пименова 2011).

При этом виде реконструкции по древнейшим письменным данным отдельных родственных языков восстанавливаются особенности словообразовательных типов с унаследованными формантами, сложившиеся в результате внутриязыкового развития родственных языков после их дивергенции. Кроме традиционно привлекаемых данных об изменении частеречной принадлежности и структурно-морфологических признаков продуктивных баз, принципиальное значение здесь имеет исследование семантических параметров продуктивности, а также семантической взаимосвязи различных мотивирующих основ и семантических

вариантов производных в составе типов. Анализ семантических параметров продуктивности типов предполагает выявление зон количественной продуктивности и зон системных ограничений в производстве единиц определенных семантических классов; сведения о семантических взаимосвязях мотивирующих основ и семантических вариантов производных дают дополнительный материал для верификации семантической конфигурации словообразовательных типов.

Специфическая конфигурация семантической структуры словообразовательных типов составляет основу для сравнения входящих в подсистемы словообразовательных типов как внутри языка, так и между языками. В результате оказывается возможным определить различные линии эволюции словообразовательных систем, а также в ряде случаев установить языковые дописменные и общезыковые характеристики словообразовательных типов и их соотношений в системе.

В связи с особой лабильностью словообразовательных подсистем область применимости данной модели на настоящий момент охватывает, во-первых, близкородственную реконструкцию и, во-вторых, реконструкцию тех процессов словообразовательной перестройки и эволюции, которые относятся ко времени, достаточно близко предшествующему периоду письменной фиксации.

Предлагаемые подходы могут быть частично продемонстрированы на примере развития германских ап- и бп-основ в мотивированных существительных, входящих в подсистему отвлеченных отглагольных имен.

В древнегерманских языках -п- образует в сочетании с тематическим гласным форманты -ап- (имена м.р.) и -бп- (имена ж.р.), производящие обозначения лиц (для отглагольных имен - *nomina agentis*), неодушевленных предметов, а также обозначений отвлеченных действий и свойств. В древневерхненемецком языке (западногерманская подгруппа, 8-11 в.) субъектные имена на -ап- (с переносом глагольного признака на субъект признака: имена деятеля, инструментальные имена и т.п.) образуются от глаголов всех семантических классов, включая глаголы изменяющего воздействия на объект, в то время как базы отвлеченных

ап-имен представлены преимущественно глаголами состояния, глаголами неконтролируемых процессов, а также некоторыми непереходными глаголами действия и единичными глаголами действия, не изменяющего объект; чисто отвлеченные результативные имена среди зафиксированных ап-имен не представлены. Таким образом, субъектные имена и отвлеченные имена представляют два разных словообразовательных типа; при этом синхронное положение отвлеченного ап-типа в системе дзн. языка характеризуется доминантной ролью "нерезультативности" и "безобъектности". Историческое взаимовлияние субъектных имен и отвлеченных имен на синхронном уровне проявляется в присутствии ряда нерезультативных образований от глаголов воздействия на объект, обозначающих болезни ("квази-агены"), ср. напр. *dampfo*, *dempfo* "насморк" к *dempfen* "душить" (с возможностью субъектной мотивации "душащее").

Показательно, что такие же особенности устанавливаются для периферийных типов с комбинированными формантами, включающими основообразующий элемент -ап: -*idan*, -*man*, -*sman*, -*san*.

Ср. имена на -*man*: *glîzamo* "блеск" к *glîzan* "сверкать, сиять", *skîmo* "свет, блеск, луч" к *skînan* "светить", *gismakmo* "вкус" к *gismakkên* "иметь вкус", *skalmo* (гlossы 9 в.), *skelmo* (гlossы 12 в.) "эпидемия, чума" ("квазиагенс") к сильному глаголу **skelan* "резать", восстанавливаемому по про-изводному от него слабому глаголу *skellen* "чистить, снимать корку, срезать", *swîmo* "головокружение" к *swînan* "убывать, испытывать потерю сил", *drâsamo* "запах" к *drâ-sen* "сопеть, фыркать, ржать" (т.е., собственно, "с силой вдыхать и выдыхать воздух"), *kîmo* "зародыш, семя, растение" к *kînan* "прорасти, зацвести", *bluomo* "цветок" к *bluoen* "цвести" (наряду с отвлеченным значением "цветение, роскошь"), *slîhmo* "слизь; слизистая оболочка" к *slîhhan* "ползти", *sâmo* "семя, посев" к *sâen* "сеять, сажать" (единственное в группе имя с объектно-пассивным переносом значения), *wahsamo* "рост, плод, сила, жизненная энергия" к *wahsan* "расти, прибавлять" (суффикс -*man* или -*sman*), *wazamo* "проклятие" к *wâzan* "нападать, прогонять";

имена на -sman: *dîhsemo* "пост" к *dîhan* "расти, прибавлять", *framdîhsemo* "пост, прогресс, успех" от *framdîhan* "расти, продвигаться, продвигаться", *hintardîhsemo* "потомство" к *hintar* "после" и *dîhan* "расти", т.е. к **hintardîhan* "взрастать следом" (с субъектным переносом), имя на -san *lingiso* "удача, успех" к *lingan* "расти, удаваться".

Семантическая структура двн. отглагольного типа на -*ōn*- обнаруживает иные признаки. Среди отвлеченных *ōn*-имен есть как имена, мотивированные глаголами состояния и глаголами неконтролируемых процессов, так и имена, мотивированные глаголами действия, в том числе глаголами, обозначающими изменяющее воздействие на объект. Кроме того, *ōn*-тип обнаруживает внутри системы явное, хотя и лишь частичное движение к "объектным" двн. типам, характеризующимся продуктивностью имен внешнего нерезультативного объекта, внешнего эффицированного (полностью созданного) объекта и локативов. Это движение поддерживается влиянием смежного *ō*-типа с выраженным "объектным полюсом" (тип на -*ō*- связан с типом -*ōn*-имен формальной близостью суф-фикса, так как формант -*ōn*-имен включает в себя -*ō*- в качестве составного компонента).

"Объектный" полюс -*ōn*-имен представлен как объектно-результативными образованиями, так и некоторыми именами внешнего нерезультативного объекта, ср. *binisûga* (с вариативностью -*ō*- и -*ōn*- основы) "пчелиный цветок (медонос)" к *bini* "пчела" и *sûgan* "пить, сосать", т.е. "то, что сосет пчела". Благодаря присутствию среди отвлеченных имен на -*ōn*- образований к глаголам действия значение результативного объекта в *ōn*-типе не изолировано от основного, отвлеченного значения, как в именах мужского рода на -*an*-. Наличие *ōn*-имен с конкретно-предметным значением результативного объекта соответствует присутствию среди отвлеченных *ōn*-имен образований от объектных предельно-результативных глаголов, ср. *banā* "убийство", возможно, также *firslunta* с нулевой огласовкой корня (одна фиксация в корпусе, принадлежность к *ōn*-основам под вопросом) "поглощение, пожирание" (лат. *devoratio*) от **firslintan*, *slintan*

”поглощать”, *manslaga* ”убийство” к *man* ”человек”, *slahan* ”убивать” (одна фиксация в корпусе, принадлежность к *ōn*-основам под вопросом).

Иными словами, отличие двн. типа на *-ōn*- от типа на *-an*- состоит в присутствии конкретных образований со значением внешнего объекта, а также отвлеченных имен от предельных глаголов. При этом признаки, отличающие двн. тип на *-ōn*- от типа на *-an*-, одновременно являются признаками, сближающими его с типом на *-ō-*. Черты сходства *-an*- и *-ōn*-типа имеют архаический характер, так как они соотносятся с направлениями формирования германских *n*-имен. Черты различия *-an*- и *-ōn*-типов, напротив, следует связывать со становлением родовой дифференциации *n*-имен, которая происходила за счет осново-образующих суффиксов *-a*- и *-ō-*, различающих родовую принадлежность имен.

Поскольку свойства словообразовательных типов, в отличие от состава производных, как обнаруживается, обладают значительной диахронической устойчивостью, при изучении древнейших письменных источников оказывается возможной верификация полученных результатов на основе более поздних данных. Так, выявленные свойства двн. типов на *-an*- и *-ōn*- подтверждаются данными средневерхненемецкого корпуса (12-15 в.).

Семантические свойства двн. отглагольных типов на *-an*- и *-ōn*-, по всей очевидности, не являются наследием общегерманской системы, поскольку, в частности, готские *-an*- и *-ōn*-типы (восточногерманская подгруппа, 4 в.) подобных особенностей не обнаруживают. Напротив, наиболее точным внутрисистемным соответствием двн. отвлеченному типу на *-an*- по всем основным семантическим параметрам является готский тип с суффиксом *-ōn*-.

В готском языке представлены *nomina agentis* на *-an*-, ср. напр. гот. *skula* ”должник” к претерито-презентному глаголу *skal* ”должен”, которые встречаются редко в сравнении с *nomina agentis*, образованными по другим моделям. Отдельные конкретно-результативные имена мужского рода на *-an*- указывают на историческое существование соответствующих *nomina actionis*, ср.

gataura "разрыв, дыра" от gatairan "рвать, разрушать", но для обозначения отвлеченных процессов предпочитают другие образования, ср. от gatairan в конкретном значении gataura "дыра", но в отвлеченном значении *ti*-имя gataurfs "разрушение". Отвлеченные имена на -an- в готском, в отличие от древневерхненемецкого, малоупотребительны (малопродуктивны) и представлены единственным образованием *drobna* "возмущение, беспорядок" от *drobnan* "беспокоится".

В то же время с семантической точки зрения место древневерхненемецких отвлеченных имен на -an- в готском языке занимают более продуктивные имена женского рода на -ōn-. Именно эти образования дают точную семантическую параллель к древневерхненемецким отвлеченным существительным на -an- как по лексическому значению всей группы и по мотивации, так и по употреблению в контексте. Группу отвлеченных существительных на -ōn- в готском языке составляют имена: *armaio* "милосердие" от *arman* "сжалиться", *brinno* "жар, горячка" от *brinnan* "гореть", *-lubo* "любовь" в *broþrulubo* "любовь к ближнему", соотносящееся с *liubs* "милый" (другая ступень аблаута), ср. корень в отглагольных именах гот. *lubains* с другим значением "надежда" и двн. *muotluba* "любовь", *reiro* "дрожь (в отношении к личному субъекту); землетрясение" к *reiran* "дрожать", *winno* "страдание" от *winnan* "страдать", *fullo* "заплата; полнота" от *fulljan* "наполнять" или прилагательного *fulls* "полный"; как словоформа к *bifaiho* от глагола *bifaihon* "обделять" сюда может относиться также *bifaihon* (вин.пад. ед.ч.) "побор, обделение" (если не форма от *bifaihons* - имени на -ni-).

Как и группа древневерхненемецких отвлеченных отглагольных имен на -an-, немногочисленная группа готских отглагольных имен на -ōn- образована преимущественно от глаголов неконтролируемых процессов и состояний; только глагол, мотивирующий спорное по основе *bifaiho*, следует отнести к глаголам действия.

Другими словами, область употребления готских отглагольных имен на -ōn- в целом соответствует области, закрепленной в двн. языке за an-именами. Кроме того, именно по модели на

-ōp- в готском языке образуются продуктивные неличные имена с субъектным переносом.

Таким образом, между двн. именами на -ap- и готскими именами на -ōp- устанавливается целая система семантических со-ответствий на разных уровнях – от семантического состава мотивирующих глаголов и набора словообразовательных значений до соотносительности с именами, образованных с помощью других суффиксов.

Наличие явных системных соответствий между двн. отвлеченным типом на -ap- и готским типом на -ōp- и иное положение готских имен на -ap- в системе по сравнению с двн. языком объясняет и некоторые детали развития систем, в частности, отсутствие семантических параллелей между древневерхненемецкими мотивированными именами на -tan (см. выше) и готскими именами с суффиксом -m- (ИЕ -men). В готском языке мотивированные имена с суффиксом -m- относятся, как и в древневерхненемецком языке, к мужскому роду слабого склонения, но словообразовательный тип отглагольных имен на -ap- занимает в готском языке иное место в системе отвлеченных типов: по данным корпуса он не имеет значительной продуктивности и представлен единичными именами с субъектной мотивацией и несколькими производными с "объектным" конкретно-результативным значением. Отвлеченные имена на -ap- в готском совсем не проявляют конкурентоспособности с другими типами. Как следствие, готские имена на -ap- с суффиксом -m- не образуют группу с какими-либо особыми семантически-ми характеристиками и не проявляют системного сходства с двн. именами на -tan. Ср. skeima "светильник" от skeinan "светить", malma "песок" к talan "молоть", stoma "уверенность, сущность" к standan "стоять" (с исходной мотивирующей основой претерита *stop*).

В исторической перспективе системное сходство готского типа отвлеченных -ōp-имен женского рода с двн. типом именам мужского рода на -ap- может быть объяснено происхождением германского типа на -n-, относительно поздно (Wessen 1914: 129-130; СГГЯ 1963: 207) подвергшегося родовой дифференциации.

В результате различные *n*-типы разных древнегерманских языков унаследовали общий семантический набор, по-разному перераспределив между собой отдельные значения, в том числе значения *nomina agentis* и *nomina actionis*, свойственные общегерманским *n*-именам. Соответственно, для объяснения специфического семантического параллелизма древневерхненемецких имен на *-an-* и готских имен на *-ōn-* может быть принята во внимание гипотеза о закреплении разных формантов за семантическими комплексами, которые сложились в период, предшествующий выделению отдельных языков.

Литература

Пименова Н.Б. Древневерхненемецкие словообразовательные типы отвлеченных имен (реконструкция системных отношений). М., Языки славянских культур, 2011

Сравнительная грамматика германских языков. Том III: Морфология. М., 1963

Wessén E. Zur Geschichte der germanischen *n*-Deklination. Uppsala, Universität Dissertation, 1914

ФАКТОРЫ ЗАМЕДЛЕНИЯ И УСКОРЕНИЯ ЗНАКОВОГО МЕТАБОЛИЗМА В ЯЗЫКЕ

А. А. ПОЛИКАРПОВ

1. Классификация факторов.

Вопрос о закономерностях *сменяемости (сохранности)* знакового материала (лексического, морфемного, фразеологического) в человеческих языках был впервые эксплицитно поставлен в работах М.Сводеша по глоттохронологии (Swadesh, 1953; 1955). Им было заявлено, но не доказано, что лексические списки так называемого базового словаря (100 – 215 слов, покрывающих наиболее важные и присутствующие во всех культурах «понятия»-смыслы) за один и тот же период времени в разных языках «распадаются» (т.е. меняются по своему составу) примерно в одной и той же степени. Однако полученные ещё в 50-е годы прошлого столетия данные (см., например, Lees, 1953) свидетельствовали о том, что значимо различаются между собой как средние цифры сохранности за один и тот же период лексических обозначений этого списка *для разных языков (или для одного языка, но в разные исторические периоды его развития)*, так и *разных слов внутри этого списка одного языка (точнее, любого языка)*. Эти результаты не объяснены до сих пор, кроме попытки (Atkinson, et al., 2007). И то, эту попытку нельзя считать удовлетворительной, т.к. разную сохранность лексических единиц авторы пытаются объяснить разной частотой употребления современных слов индо-европейских языков, покрывающих «понятия» глоттохронологического списка. Кроме того, что частота употребления языковых знаков является производной от их функциональных свойств, а не наоборот, нужно отметить, что и свойства самого «понятия»-смысла (степень его широты) могут быть определяющими для варьирования употребления слова

(по крайней мере, для активности употребления слова в том значении, которым оно покрывает данный смысл).

Отметим, что факт, на самом деле, не распада словаря, а постоянного его *обновления*, как в глоттохронологии, так и в общезыковедческих работах, ставящих проблему закономерностей исторического развития лексической системы языка, со стороны его причин и механизма, остаётся до сих пор необъяснённым. Действительно, что, на самом деле, заставляет одни единицы уходить из языка, а другие – приходить на их место? Можно только подозревать, что с каждой знаковой (морфемной, лексической, фразеологической) единицей языка в её жизни (в ходе её использования) происходят какие-то процессы, аналогичные процессам рождения, взросления, старения и смены поколений в живых сообществах, которые и могут вести к вымиранию одряхлевших лингвистических индивидов и замене их юными индивидами-знаками. Но далее таких поверхностных аналогий между жизнью биологических и лингвистических (знаковых) индивидов многие исследователи языковой эволюции не идут до сих пор. Только рассмотрение принципов коммуникативного акта позволяет прийти к выводу, что *каждый элементарный акт языкового общения это и элементарный такт в языковой эволюции* (Поликарпов, 2001). Дело в том, что существует *тенденция к расширению смысловой области любого значения в результате его употребления* (в том числе и к такому её расширению, которое сопровождается *появлением нового значения*). Это, в свою очередь, определяет *тенденцию к абстрактивизации значений знаков* и т.п. (см. подробнее в наших работах по модели жизненного цикла знака, например, (Поликарпов, 2007)).

Тем самым, в наших работах предлагается тот причинный механизм, который движет *направленной изменчивостью* каждой из единиц языка как *результатом их употребления*, что и ведёт каждую единицу, в конечном счёте к истощению её жизненного потенциала (названного в наших работах ассоциативно-семантическим потенциалом), к закономерному концу её «жизни». С позиций этого же подхода также могут быть найдены и *источники нового знакового материала, идущие на смену отработанным знакам*.

Для выяснения принципиальных количественных соотношений *универсального метаболического механизма языка* в ряде работ последних лет мы теоретически предсказали и экспериментально проверили ряд прогнозов данной модели (Поликарпов, Селезнева, 2004; Поликарпов, Филимонова, 2005; Поликарпов и др., 2008; Поликарпов, 2013; Поддубный, Поликарпов, 2011; Poddubny, Polikarpov, 2013).

Наряду с фактором употребления знаков как *универсальным фактором* процессом расходования их ассоциативно-семантического потенциала присутствуют и следующие *локальные факторы*:

(а) *факторы общего ускорения и замедления темпа знакового метаболизма в определённом языке;*

(б, в, г) *факторы ускорения или замедления темпа знакового метаболизма в разных по своей природе смысловых областях языка.*

Фактор (а) определяется тем, что языкам, заметно отличающимся типологически по параметру аналитизма/синтетизма, свойственна *разная интенсивность использования их знаковых единиц, а, значит, и разный темп прохождения ими своего жизненного цикла*. Чем язык относительно более аналитичен, тем меньше в нём инвентарь морфемных и лексических единиц, тем активнее эти единицы используются отдельно и в комбинациях для номинации тех или иных смыслов, тем быстрее они изнашиваются и сменяются.

Фактор (б) связан с тем, что одни смысловые области для нас *приятны*, а другие *неприятны*. Неприятные (неприличные и т.п.) области постоянно *эвфемистически* переобозначаются. Притом, эвфемизм, пришедший на замену некоторому относительно неприемлемому обозначению, сам через определённое время «пропитывается» отрицательными компонентами из контекстов употребления эвфемизма, перестаёт быть достаточно нейтральным средством обозначения. И, значит, опять должен быть заменён новым эвфемизмом. За счёт таких постоянных переименований вслед за каждым эвфемистическим циклом следует другой.

Вследствие сказанного *темп переобозначения существенно выше для неприятных, чем для нейтральных и, тем более, приятных областей. Наинизшим является темп переобозначения приятных смысловых областей.*

Эвфемистические замены, как правило, не отменяют вовсе употребление прежних номинаций. Рост эвфемистических целей ведет к образованию в некоторых смысловых областях объемных стилистически дифференцированных синонимических групп.

Фактор (в) связан с тем, что *обозначаемые смыслы обладают разной эмоциогенностью.* Части тела, психические функции, поведение человека и т.п. – это всё смысловые области, подверженные *дисфемизации.* При дисфемизации нейтральные обозначения активно заменяются параллельными им более экспрессивными обозначениями, вносящими дополнительные шуточные, оскорбительные и иные экспрессивные оценки обозначаемого объекта (голова – котелок, лицо – морда, лицо – лик и т.п.). Выстраиваются целые серии дисфемистических наименований, тоже образующие синонимические группы. Некоторые из наименований со временем нейтрализуются и полностью заменяют прежний основной способ обозначения.

Фактор (г) связан с тем, что обозначаемые смыслы варьируют по своей *ширине* в очень большом диапазоне. *Более широкие смыслы, естественно, покрываются относительно более абстрактными значениями знаков, что и определяет более высокую устойчивость знаковых обозначений этих смыслов в сравнении с более узкими, более специфическими областями.* Т.е. чем более широкой является та или иная смысловая область (в сравнении со смысловыми областями других значений других знаков), тем больше вероятности, что в том или ином виде она будет сохранна через некоторое время, а значение, покрывающее эту область, будет продолжать исполнять эту функцию, не уступая её значениям других знаков или комбинаций знаков.

Эта гипотеза была высказана ещё в работе (Арапов, Херц 1974). В нашей работе (Поликарпов, Селезнёва 2004) на материале существительных глоттохронологического списка для индоевропейских языков было показано, что относительно более

сохранными во времени оказываются лексические обозначения понятий, расположенных в семантической классификации (Русский семантический словарь 1998) относительно выше (т.е. являющихся относительно более абстрактными, чем обозначения других понятий).

Факторы (б), (в), (г) будучи представлены для разных смысловых областей с разной интенсивностью, могут по отдельности комбинироваться с типологическим фактором (а), тоже представленным с разной степенью интенсивности в языках мира. Это и определяет разнообразие условий и результатов метаболического процесса в разных языках, в разных участках их смысловых континуумов.

2. Экспериментальный анализ фактора ширины смысловой области.

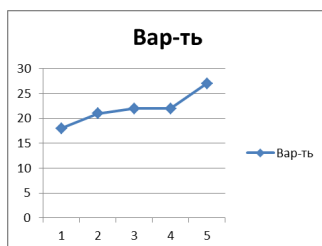
Для полноты анализа этого вопроса мы разметили 200 элементов глоттохронологического списка теми тезаурусными категориями, которые были предложены в «Словаре синонимов русской речи» (под ред. Л. Г. Бабенко (2007)). Как и в предшествующем случае, мы выявляем зависимость средней степени вариативности обозначений в БД А. Дайена (1994) от высоты тезаурусных узлов (а, значит, и широты тех смысловых областей, которые покрываются соответствующими смыслами).

Ниже приводится Таблица 1 отображающие эти данные.

Таблица 1

TezУровень	Вар-ть
5	18
4	21
3	22
2	22
1	27

Рис. 1



Как видно из этих данных, наша гипотеза подтверждается с использованием другого источника семантических данных и на более полном материале глоттохронологического списка.

Литература

Арапов М.В., Херц М.М. (1974). Математические методы в исторической лингвистике. – М., 1974.

Поддубный В.В., Поликарпов А.А. (2011). Вывод закона синхронного полисемического распределения языковых знаков на основе диссипативной стохастической динамической модели эволюции знаковых ансамблей // Синхронное и диахронное в сравнительно-историческом языкознании: Материалы VII Международ. науч.конф.— М.: “Добросвет”, Изд-во “КДУ”, 2011. — С. 182–190.

Поддубный В.В., Поликарпов А.А. (2011). Диссипативная стохастическая динамическая модель развития языковых знаков // Компьютерные исследования и моделирование. – М., 2011. Т.3, №2.- С. 103-124.

Поликарпов А. А. (1994/1995). Жизненный цикл слова и эволюция языка. Ст. 1,2 // Русский филологический вестник. 1994, Т. 79, № 1 (С. 85–100.); 1995, Т. 81, № 1 (С. 77–92).

Поликарпов А.А. (1998). Циклические процессы в становлении лексической системы языка: моделирование и эксперимент. АДД. – М., 1998. http://www.philol.msu.ru/humlang/modela/h_titul.htm.

Поликарпов А.А. (1998a). Циклические процессы в становлении лексической системы языка: Моделирование и эксперимент. Автореф. докт. дисс. – М., 1998. — 55 с.

Поликарпов А.А. (2001). Когнитивное моделирование циклических процессов в становлении лексической системы языка. // Труды Казанской школы по компьютерной и когнитивной лингвистике. TEL – 2001. (Казань 25 – 28 октября 2001). – Казань, 2001. С. 57-99. (См. также Интернет-версию: http://www.philol.msu.ru/lex/kogn/kogn_cont.htm).

Поликарпов А.А. (2001a). Зависимость сохранности общеславянской лексики во времени от категориальной принадлежности и возраста слов // Исследование славянских языков в рус-

сле традиций сравнительно-исторического и сопоставительного языкознания. Москва, филологич. ф-т МГУ, 30-31 октября, 2001 г. Тезисы международной конференции. — М., 2001. — С. 95-97. http://www.philol.msu.ru/~lex/articles/slav_tez.htm

Поликарпов А.А. (2007). Системно-квантитативный подход в лингвистике // Филологические школы и их роль в систематизации научных исследований. — Смоленск: Маджента, 2007. — С. 35–59.

Поликарпов А.А. (2007а). Системная зависимость степени сохранности древнерусских слов в современном русском языке от их возраста, категориальной принадлежности, частоты и полисемии // Лингвистическая компаративистика в культурном и историческом аспекте / Под общ. ред. В.А. Кочергиной. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 2007а. — С. 232–260.

Поликарпов А.А. (2009). Универсальные, типологические, локально-смысловые и частно-лингвистические факторы исторической сменяемости знаковых единиц языка // VIII Международная конференция по языкам Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии и Западной Африки (Москва, 23–24 сентября 2009 г.): тезисы и доклады. — М.: Ключ-С, 2009. — С. 125–141.

Поликарпов А.А. (2013). Закономерности знакового метаболизма в языке: универсальные, типологические и локально-смысловые факторы направленной изменчивости и сменяемости знаков // *Sprachgeschichte und Sprachwandel im Slavischen*. — Heidelberg: Peter Lang, 2013 (inprint).

Поликарпов А. А., Кукушкина О. В., Токтонов А.Г. (2008) Проверка теоретически предсказанных неадериватологических закономерностей данными русской корпусной неадериватографии // Теория и история славянской лексикографии / Отв. ред. М.И. Чернышёва. - М., 2008. — С. 392–427.

Поликарпов А.А., Селезнева-Елецкая Л.А. (2004) Степень абстрактности и субъективности смысла – факторы варьирования степени сохранности во времени его лексических обозначений // Сравнительно-историческое исследование языков: Современное состояние и перспективы: Сб. статей по материалам Междунар. науч. конф. (Москва, 22-24 января 2003г.) / Составитель В.А. Кочергина. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. — С. 327–376.

Поликарпов А.А., Филимонова Т.А. О системной зависимости негативных денотативных и субъективно-оценочных признаков фразеологических единиц от их возраста // *Cognitive Modeling in Linguistics*. CLM-2005. – Москва, 2005.

Русский семантический словарь. Т.1 / Под ред. Н.Ю. Шведовой. – М., 1998.

Pagel, Atkinson and Meade (2007). Frequency of word-use predicts rates of lexical evolution throughout Indo-European history, *Nature* 449, 11 Oct 2007.

Poddubny V.V., Polikarpov A.A. (2014fc). Stochastic Dynamic Model of Evolution of Language Signs Ensembles // *Quantitative Linguistics: Models and Findings (Proc. of the QUALICO-2012 Conference)*. – Belgrade, 2014 (in print).

Polikarpov A.A. (2001) Cognitive Model of Lexical System Evolution and its Verification // *Human Language (HumLang) electronic bulletin (list)* (http://www.philol.msu.ru/lex/articles/cogn_ev.htm).- М., 2001.

Polikarpov A.A. (2006) Towards the Foundations of Menzerath's Law (On the Functional Dependence of Affix Length on their Positional Number within Words) // Peter Grzybek (ed.). *Contributions to the Science of Text and Language. Word Length Studies and Related Issues*. - Dordrecht: Springer, 2006. – Pp. 215-240.

Swadesh M. (1952). Lexico-statistical dating of prehistoric ethnic contacts, *Proceedings of the American Philosophical Society*, 6 (1952).

Swadesh M. (1955). Towards greater accuracy in lexicostatistical dating, *International Journal of American Linguistics* 21, 121 (1955).

ПЕРЕДАЧА НА ПИСЬМЕ СМЫЧНЫХ СОГЛАСНЫХ АККАДСКОГО ЯЗЫКА В ТЕКСТАХ АЛАЛАХА VII

О. В. ПОПОВА

Предлагаемое исследование имеет целью выделить некоторые особенности передачи смычных согласных аккадского языка в текстах Алалаха VII. Это исследование входит в рамки сравнения аккадского языка Алалаха VII с хеттским языком Богазкёя с точки зрения их клинописной передачи на письме.

Принято считать, что хеттское клинописное письмо было заимствовано из Северной Сирии во время кампаний Хаттусули I в середине 17 века¹ до н.э. Именно аккадские тексты Алалаха VII являются для нас свидетельством клинописной передачи аккадского языка этого периода в Северной Сирии.

Первые исследования аккадских текстов Алалаха были приняты Д. Вайзманом² и Ж. Гиакумакисом³. Однако в этих исследованиях не проводилось различия между текстами Алалаха IV и текстами Алалаха VII. Тексты Алалаха VII изучаются в настоящее время с точки зрения палеографии в сравнении с хеттскими текстами⁴. Исследование по сравнению смычных согласных Алалаха VII и древнехеттских текстов было предпринято

¹ van den Hout, T. : 2012. The Ductus of the Alalah VII Texts, in : ed. E. Devecchi, Palaeography and scribal practices in Syro-Palestine and Anatolia in the Late Bronze Age. Leiden. 147-170.

² Wiseman, D.J. : 1953. The Alalakh Tablets. London.

³ Giacomakis, G. : 1970. The Akkadian of Alalah. The Hague : Paris.

⁴ van den Hout, T. : 2012. The Ductus of the Alalah VII Texts, in : ed. E. Devecchi, Palaeography and scribal practices in Syro-Palestine and Anatolia in the Late Bronze Age. Leiden. 147-170 ; Weeden, M. : 2011. Hittite Logograms and Hittite Scholarship. Wiesbaden : Harrassowitz (StBoT 54); Wilhelm, G. : 2010. Remarks on the Hittite Cuneiform Script, in : ed. I. Singer, Luwian and Hittite Studies Presented to David Hawkins on the Occasion of His 70th Birthday. Tel Aviv. 256-262.

А. Клекхорстом⁵ в статье *Initial Stops in Hittite (with an excursus on the spelling of stops in Alalah Akkadian)*.

Для предлагаемого исследования мы располагаем 278 текстами Алалаха VII в копиях, сделанных М. Дитрихом, О. Лоретцом и Ф. Цеебом⁶. На материале этих текстов мы постараемся выделить особенности передачи в клинописи Алалаха VII смычных согласных аккадского языка.

⁵Kloekhorst, Alwin: 2010. Initial Stops in Hittite (with an excursus on the spelling of stops in Alalah Akkadian), in: ZA 100. 197-241.

⁶Zeeb, F. : 2001. Die Palastwirtschaft in Altsyrien nach den spätaltbabylonischen Getreidelieferlisten aus Alalah (Schicht VII), AOAT 282. Münster.

Dietrich, M. - Loretz, O.: 2004. Alalah-Texte der Schicht VII (I). Historische und juristische Dokumente, UF 36, 43-150 ; Dietrich, M. - Loretz, O.: 2005. Alalah-Texte der Schicht VII (II): Schuldtexte, Vermerke und Sonstiges, UF 37, 241-314; Dietrich, M. - Loretz, O.: 2006. Alalah-Texte der Schicht VII (III): Die Listen der Gruppen ATaB 40, ATaB 42, ATaB 43 und ATaB 44, UF 38, 87-137.

О СЕМАНТИКЕ ЛЕКСЕМЫ ΗΣΥΧΙΑ: 'СПОКОЙСТВИЕ/ТИШИНА', 'ИСИХИЯ', 'PAX AMABILIS'

О. М. САВЕЛЬЕВА

Предполагается кратко рассмотреть особенности формирования лексико-семантической парадигмы в системе греческого языка на примере лексемы ἡσυχία со следующих позиций: семантика лексемы в текстах некоторых древних авторов; семантические основания терминологизации этого слова в средневековом греческом языке; соотношение смыслов в случае возможного «замещения» слова ἡσυχία формулой *pax amabilis* для обозначения понятия «спокойствие, тишина».

1. Семантику лексемы ἡσυχία в ее начальном употреблении в поэтическом языке архаики и ранней классики можно описать через «мир, спокойствие как ровное душевное состояние, глубоко положительное по своей природе и воздействию». Такое понимание лексемы отмечено, например, в хоровой лирике у Пиндара в экспозиции к оде Пифийской 8, 1-12, где имеет место персонификация образа спокойствия: оно, являясь «дочерью Справедливости - Правды», обладает «благоразумием», способно «делать города великими», «любит мягкость/ кротость, но становится суровым, если следует покарать гордыню». В традиции комментирования корпуса Пиндара контекст указанного эпиникия (446 г. до. н.э.) принято связывать с негативным отношением Пиндара к Афинам и выражением порицания их гордыни после поражения гегемонии Афин и демократии в 447 г. Апелляция Пиндара к «спокойствию» позволяет вычлениť семантический компонент лексемы ἡσυχία, который можно обозначить как «прерывание плохого состояния» и которым задан основной вектор соотношения текста и ситуации уже в первом

фиксируемом употреблении лексемы ἡσυχία в значении «мир, покой, спокойствие» у Гомера (Od.18.22).

2. Понимание лексемы ἡσυχία как «тишина» при описании пира в Немейской 9 Пиндара (Nem. 9.48) не предполагает смысла «тишина как молчание, отсутствие разговоров, безмолвие», что доказывается содержанием всего эпизода и описанием звуковой стороны пира: «возрастает победа с нежной/ легкой песнью», «голос близ чаш с вином звучит уверенно». Ἠσυχία в картине пира передает уравновешенность, что входит в дискурс греческого симпосия. Идея умеренности передается и в традиционном призыве смешать вино с водой. Основа семантики ἡσυχία как «спокойствие-уравновешенность» точно передано в переводе М.Л. Гаспарова «Безмятежность мила застолице» с трансформацией субъекта и залога оригинала.

3. Развитие терминологического значения у слов ряда ἡσυχία в узусе христианской лексики в связи с завершением формирования в 14в. в Византии мистически-религиозной традиции исихазма может быть отдельным вопросом исторической семантики и лексикологии. Как известно, строгая аскетическая практика исихазма предполагала покой, отрешенность и безмолвие, но исихия в целом - понятие, гораздо большее, чем простое молчание. При всей значимости компонента ἡσυχάζειν — «пребывать в состоянии покоя и безмолвия», в святоотеческой литературе (св. Иоанн Лествичник, св. Василий Великий) неизменно проводится тезис, что исихия - это «внутренняя тишина», «вхождение в себя», необходимость спокойного внимания и сосредоточенности; это уединение, понимаемое отнюдь не только как место в пространстве, но особое душевное молчание, духовно-содержательно отграничиваемое от семантики квиетизма. Не имея цели прямолинейно свести термин «исихия» к классическому для греческого языка значению «спокойствие», изложенному выше, отметим, что процесс специализации слова в греческом языке средневекового периода был основан на базовой семантике ἡσυχία «ровное состояние души» и закрепил ее для словаря своего времени.

С позиций лексической семантики, в семантике ἡσυχία можно увидеть не взаимоисключение, а сочетание и взаимодействие ЛСВ «спокойствие» и «тишина», и, если прибегнуть к методике моделирования внутрисловных связей Д. Н. Шмелева, здесь представлена «диффузность значений многозначного слова», имея в виду, что «отдельные значения,... отграничиваемые друг от друга в определенных позициях, в других позициях оказываются совместимыми, выступающими нераздельно» (Шмелев 2008: 77). При реализации ЛСВ греческого слова соблюдается, по Шмелеву, логическое условие «их тематической общности» (там же).

4. В силу того, что непосредственно греческая лексема ἡσυχία оказалась закреплённой в системе духовных терминов, а нравственно-философское представление о благодетельном спокойствии/ тишине при этом оставалось актуальным для языковой и литературной практики, можно предположить, что после оформления терминологии исихазма оно с достаточно полным соответствием передавалось в европейской культуре латинским *paux amabilis*. В лексический состав данного идиоматического сочетания вошли слова, традиционные для римских формул (напутственных пожеланий, эпитафий, надгробных речей).

Художественно-философский «Мирообраз Тишины», как его принято обозначать, оказавшийся вовлечённым в жанровый контекст литературных направлений сентиментализма и романтизма, сопоставим с символом «Возлюбленной Тишины», введенным М. В. Ломоносовым в русский литературный и языковой обиход XVIIIв.

Литература

Pindari Carmina cum fragmentis. Epinicia. Pars I. Post Brunonem Snell ed. H. Maehler. Teubner VGS. Leipzig. 1971.

Гаспаров М. Л. Поэзия Пиндара.// Пиндар. Вакхилид. Оды. Фрагменты. М., 1980.

Гаспаров. М. Л. Древнегреческая хоровая лирика // Об античной поэзии. Поэты. Поэтика. Риторика. СПб., 2000.

Остин Дж. Слово как действие// Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. М., 1986.

Шмелев Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики. М., 2008.

ПРОБЛЕМНЫЕ ЧЕРЕДОВАНИЯ С УЧАСТИЕМ /L/: ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЕ И ОБЩЕИНДООЕВРОПЕЙСКИЕ ДАННЫЕ

О. М. СЕРГЕЕВА

0. Предмет наших научных интересов среди прочего составляет описание и систематизация явлений, связанных с нерегулярными чередованиями согласных в индоевропейском слове, условия которых остаются невыясненными; в первую очередь это «беглые» согласные в позиции абсолютного начала корня. Стремясь составить исчерпывающий перечень такого рода явлений, мы обратили внимание на необходимость рассмотреть ряд разрозненных примеров, мнимо обнаруживающих чередование l с нулём. Настоящее сообщение имеет целью обосновать отказ от рабочего предположения об и.-е. «подвижном l», которое первоначально казалось возможным выдвинуть на основании этих примеров. Поясним, что «подвижным» мы называем согласный, наблюдаемый в абсолютном начале некоторой корневой морфемы, которая за вычетом этого согласного удовлетворяет стандартным критериям этимологического тождества другой корневой морфеме, не содержащей этого согласного и имеющей его позицию незаполненной.

1. В своё время имела хождение этимология германских и армянского слов со значением «печень»: др.-сканд. *lifr*, др.-верх.-нем. *lebara*, англ. *liver* и пр., арм. *leard* и, возможно, др.-прусс. *lagno* – соединявшая этот ряд с продолжениями ИЕ **īekurt* «печень»: греч. ἥπαρ, лат. *iesur*, лит. (pl. tant.) *jeknos*, др.-инд. *yakṛt*, авест. *yaḱarə*, др.-ирл. *iuchaír* «икра». Из наиболее авторитетных источников её цитируют Э. Бенвенист (Бенвенист 1955/2004: 32) и со скепсисом Ю. Покорный (Pokorny 1959: 504). Бенвенист восстанавливает для объединённого ряда праформу **īekurt*.

Вполне естественно, что такое решение могло быть принято далеко не всеми и предпринимались попытки подыскать более традиционное объяснение для серии на l-. Однако в основном эти последние свелись к отсылкам на возможность незакономерных деформаций. Так, Покорный (l. с.) ведёт речь о табу. Согласно (Джаукян 1980: 40; Orel 2003: 245), германские формы соответствуют греческому λιπαρός «жирный», но могли подвергаться контаминации с не сохранившимся германским продолжением **īekurt*. У (Martirosyan 2008: 306-307) рассматриваются и та и другая возможности наряду с некоторыми другими, способными объяснить лишь отдельно взятую армянскую форму, никакой из гипотез предпочтения не отдаётся.

Реконструкция Бенвениста наводит на мысль о том, чтобы представить начальное l «подвижным» – в том смысле, в котором таковым является широко известное s mobile, а также его более редкие аналоги, «подвижные» k и d. Однако для того, чтобы пополнить этот ряд ещё одним согласным, необходимо показать, что поведение последнего отличается повторяемостью, т. е. имеется убедительное число примеров, демонстрирующих нерегулярное присутствие/отсутствие начального l в соответствии с п. 0.

2. В пределах греческого языка нам удалось выявить несколько случаев кажущегося чередования начального l с нулём:

- λείβω – εἶβω «лить (по капле)». У λείβω имеются надёжные ИЕ связи (к лат. libare и далее лит. lieti, слав. ЛИТИ), тогда как εἶβω невозможно объяснить иначе, чем видоизменением λείβω, которому оно тождественно по значению и сочетаемости. По одной гипотезе, εἶβω возникло, дабы замещать λείβω в идентичной метрической позиции в тех случаях, когда предшествующее слово оканчивалось на согласный: δάκρυα λείβω, но δάκρυον εἶβω (Strömberg ap. Chantraine 1968-1980 : 316). Аналогичное, более развёрнутое предположение находим у (Haslam 1976): на основании факта встречаемости εἶβω и αῖα «земля» лишь в позиции конца стиха автор предполагает, что оба возникли в результате мутации формульных выражений типа δάκρυον λείβων > δάκρυον εἶβων,

πατρίδος γαῖης > πατρίδος αἴης, совершавшейся в интересах «метрической нормализации». К сожалению, автор не разъясняет фонетических деталей, признавая, правда, что такое преобразование не могло произойти путём «единомоментного обезглавливания» по произволу исполнителя (206), но и только. К тому же неизвестны какие-либо другие случаи, кроме этих двух, в которых бы действовал подобный приём. Производными от εἶβω часто называют ἵβανον/ἵβανη «ведро», ἵβδης «отверстие в корпусе судна для спуска воды» (Chantraine l. c.); если бы это было достоверно, то подтверждало бы самостоятельность εἶβω наряду с его дублетом, но о правдоподобии такого объяснения этих слов допустимо говорить, только уже имея самостоятельность εἶβω подтверждённой, так что имеет место логический замкнутый круг.

- греч. λαῖμα · τὸ αἷμα «кровь» (Suid., со следующим комментарием: *παρὰ τοῦ λαῖμονος* «передельно по образцу лаимон “горло”» · οἱ δὲ λαῖμα τοῦτέστιν ὄρμημα «согласно некоторым, лаῖμα означает “порыв”» · ἐτι μέντοι τῶν περὶ τὴν Ἀσίαν τινες ἐπὶ τῶν ἀναιδῶν καὶ ἐκτολμῶν οὕτω λέγοισι Ἀριστοφάνης Ὀρνίσι «а некоторые из живущих в области Азии говорят так в адрес бесстыдных и нахальных, (см.) Аристофан, “Птицы”») Согласно Шантрёну, последнее восходит к ошибке в Ar. Av. 1562-1564, к которой предлагается исправление на форму инфинитива λαῖμᾶν; λαῖμα = ὄρμημα «порыв» можно связать с λιλαιόμαι «вожделеть». Наряду с этим ср. ещё λαῖμα · τὸ ἱερὸν θῦμα «священная жертва» (ibid.), связанное м. б. с λαῖγμα · τὸ ἱερὸν «святилище» (Theognost. Can. 9), Hesych. λαῖγματα : πέμματα, οἱ δὲ σπέρματα, ἱερά; ἀπάργματα «лепёшки, по некоторым семена, священные подношения». (Chantraine 1968-1980 : 613) Итого перед нами, по всей видимости, несколько разных λαῖμα, а именно λαῖμα 1 = αἷμα, λαῖμα 2 = ὄρμημα, λαῖμα 3 = ἱερὸν θῦμα. Из всего данного материала объяснить отношения

λαῖμα и αῖμα не удаётся, но нельзя и однозначно разделить их, так как у самого αῖμα при этом также нет этимологии: сближение с др.-верх.-нем. *seim* «мёд» крайне ненадёжно в семантическом отношении (Frisk 1960 : 39).

- греч. λατμένεα : δουλεία (Hesych.) и ἀτμενία «рабство» (от ἀτμήν «раб» неизвестного происхождения) – то и другое без этимологии, и, вероятно, негреческие. Можно предположить, что наряду с названным ἀτμήν мог быть заимствован и имевшийся в языке-источнике его вариант *λατμήν, причём в пределах этого языка-источника формирование такой дублетной пары было возможно. Допустим и вариант скрещения ἀτμενία с λατρεία на греческой почве, но следует помнить, что λατρεία имеет иное значение – «наёмная служба», от λάτρον «плата».

Третий случай сразу же подлежит исключению, однако и применительно к двум оставшимся мы не имеем достаточных оснований говорить о явлении, восходящем к праязыковому состоянию. В ряде примеров, демонстрирующих мнимую «подвижность» l, таковая вполне объяснима вторичными (нефонологическими) преобразованиями.

Так, в паре λικμάω – ικμάω (Hesych: ικμάω · λικμάω) «веять зерно» обе формы являются вторичными по отношению к *νικμάω < *νικνύω из *νίκ-von и возникли в результате серии метатез и диссимиляций, ср. νίκλον · τὸ λίκνον «корзина», νικλεῖν · λικμάω (Hesych.) и лит. *niekoti*, латыш. *niēkāt*, галл. *nihtio*, бретонск. *niza* с тем же значением «веять зерно»; ικμάω могло произойти из префиксальной формы, такой, как ἀνικμώμενα (Pl. Ti. 53a), полученной в результате гаплогонии *ἀνανικμώμενα (Chantraine 1968-1980 : 640).

Подобным же образом дублеты φαῦλος – φλαῦρος «никчёмный, пустячный» происходят благодаря различным способам диссимиляции из *φλαῦλος (Chantraine 1968-1980 : 1183).

Итак, предположение о правомочности постулирования l mobile для греческого языка на основании вышеприведённых данных следует считать неподтвердившимся. Пара λείβω – εἶβω при этом по-прежнему представляет собой проблему, решить

которую в рамках настоящего исследования, по-видимому, не удастся.

3. Вернёмся к общеиндоевропейским данным, предположительно указывающим на иррегулярные чередования с участием *l*.

Э. А. Макаев (1970: 265), рассуждая о проблеме т. н. подвижных преформантов в целом, среди прочего цитирует этимологические выкладки Й. Отрембского в качестве образца разысканий, совершенно не внушающих доверия и оттого дискредитировавших исследования проблемы подвижных преформантов как таковые. В числе этих примеров присутствует $\lambda \epsilon \acute{\iota} \beta \omega - \epsilon \acute{\iota} \beta \omega$, а также серия др.-англ. *lus* : рус. вошь : лит. *utė*(*lė*).

Последнее сравнение, как выясняется, снискало больше доверия, чем прочие (хотя бы потому, что каких-либо иных возможных решений не усматривается). На возможность объединения герм. *lus* : рус. вошь : лит. *utė*, латыш. *uts*, а также др.-инд. *yū-ka-* всерьёз указывал Шульце (ар. Фасмер 1964/2009: I 359); Покорный также объединяет их, предполагая табуистическое искажение (Pokorný 1959: 692) и при этом сомневаясь, отнести ли сюда же тох. В *luwa* «зверь» (мн. ч. *luwasa*) или отождествить его со ст.-слав. ЛОВЬ «зверь = предмет охоты». Майрхофер также разделяет гипотезу о табу, объединяя *yūka-* с формами на *l-*, в т. ч. лит. *liulė* «вошь» (Mayrhofer 1992-2001: II 415), ср. (Fraenkel 1964: 379). Так или иначе, признаётся чередование *l/j*/ноль, хотя бы оно было и нефонетического происхождения. Стоит заметить, что **lūs* ограничено германскими и кельтскими языками (Orel 2008: 252), **us-* балто-славянскими (Fraenkel 1964: 1173).

4. Более того, это чередование на и.-е. материале, возможно, не уникально. Так, возвращаясь к сравнению двух рядов терминов для «печени», о которых шла речь в начале, вполне допустимо вести речь не о подвижном начальном *l*, а именно о чередовании *j/l*.

В связи с арм. *leard* указывают на арм. же *luc* «ярмо» с аналогичным необъяснимым замещением *j* на *l*, предполагая возможность контаминации с *loyc* «распрягать» (= греч. $\lambda \acute{\upsilon} \omega$) (Minshall

1955: 499) (Джаукян 1980: 40) (Martirosyan 2008: 316). Сколько можно судить, в других языках известнейший корень **ieug'*- / **iug'*- никаких отклонений подобного рода не обнаруживает.

Критику попытки Дюмезиля приписать переход **i* > **l* ещё одному армянскому слову см. (Minshall: op. cit.)

Так или иначе, в общей сложности мы имеем три набора соответствий, в которых допустимо усматривать чередование *l/i*(/#) в начальной позиции:

**iekur*- / **lekur*- «печень»,

**iug'*- / **iug'*- «ярмо»,

**iũ*- / **iũ*- / **ũ*- «вошь».

Мы можем констатировать, что небольшое число обнаруженных примеров, отнюдь не в полной мере компенсируемое их надёжностью (так, **iug'*- известно лишь в пределах армянского языка), позволяет судить о повторяемости рассматриваемого чередования лишь со значительной осторожностью. Ясно при этом, что данных для каких-либо выводов о природе и условиях данного чередования недостаточно. Мы также в состоянии лишь поставить вопрос о возможности взаимосвязи этого явления с двоякой рефлексацией **i* в греческом (ἵπλρ : ζῦρον), но не решить его.

5. Итак, мы установили, что:

1) Сколько-нибудь убедительные примеры подвижного *l* как такового отсутствуют.

2) Имеет смысл говорить о нескольких случаях чередования *l/i* (и даже *l/i*/ноль) в начальной позиции.

3) Это последнее может быть предварительно охарактеризовано как предположительно удовлетворяющее условию повторяемости и на этом основании расцениваться как явление одного порядка с феноменами типа балто-слав. *n* / *d* (лит. *debesis* : и.-е. **nebes*- «небо, облако», лит. *namas* : и.-е. **domos* «строение, дом», балто-слав. **devin*- : и.-е. **neuŋ* «девять»); *g* / *i* в лат. *geminus* : др.-инд. *yama*- «близнец»; анат. *l* / *n* в хетт. *le* : лат. *ne*, хетт. *laman*, лув. *alaman* «имя» : и.-е. **nomŋ*, хетт. *lammar* «момент» : лат. *numerus* «число, счёт». Все названные «чередования» согласных не только имеют свои условия невыясненными,

но и не поддаются уверенной оценке на предмет повторяемости при числе примеров, не превышающем трёх.

Литература

А. Словари

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка в четырёх томах. Пер. с нем. и дополнения О. Н. Трубачёва. – (М., 1964-1973.) – М., Астрель : Аст, 20094.

Chantraine, Pierre. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. — Paris, Éditions Klincksiek, 1968-1980.

Fraenkel, Ernst. Litauisches Etymologisches Wörterbuch. – Heidelberg, Carl Winter : Universitätsverlag – Göttingen, Vanderhoeck und Ruprecht, 1962.

Frisk, Hjalmar. Griechisches etymologisches Wörterbuch. – Heidelberg, Carl Winter : Universitätsverlag, 1960.

Mayrhofer, Manfred. Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen. Bande I – III. – Heidelberg, Carl Winter : Universitätsverlag, 1992-2001.

Martirosyan, Hrach K. Etymological Dictionary of the Armenian Inherited Lexicon. – Leiden – Boston, Brill, 2008.

Orel, Vladimir. A Handbook of Germanic Etymology. – Leiden – Boston, Brill, 2003.

Pokorny, Julius. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. – Francke Verlag Bern und München, 1959.

В. Литература

Бенвенист Э. Индоевропейское именное словообразование. – Пер. с фр. Н. Д. Андреева. – (М., 1955). – М., Эдиториал УРСС, 2004.

Джаукян Г. Б. Сравнительная грамматика армянского языка. – Издательство Академии наук Армянской ССР, Ереван, 1982.

Макаев Э. А. Структура слова в индоевропейских и германских языках. – М., 1970.

Minshall, Robert. 'Initial' Indo-European */y/ in Armenian. // Language, Vol. 31, No. 4 (Oct. - Dec., 1955), pp. 499-503.

Haslam, M. W. Homeric Words and Homeric Metre: Two Doublets Examined (λείβω/εἰβω, γὰρ/αῖα). // Glotta, 54. Bd., 3./4. H. (1976), pp. 201-211.

ДИАХРОНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРИГЛАГОЛЬНОГО ФОКУСА (НА МАТЕРИАЛЕ ХЕТТСКОГО ЯЗЫКА)

А. В. СИДЕЛЬЦЕВ

Типология реализации фокуса, т.е. то, как различные языки выражают фокус в последнее время развивается достаточно динамично, см, например, (Büring 2009; van der Wal 2012). Среди прочего, были выделены языки, которые маркируют фокус посредством изменения порядка слов (Büring 2009). Объектом данной статьи является диахроническое развитие приглагольного фокуса в хеттском языке.

1. Понятийный аппарат

В отношении понятийного аппарата анализа предложения в терминах актуального членения, которым мы пользуемся в данной работе, мы следуем за (Lambrecht 1994): он оперирует понятиями топика (темы) и фокуса (ремы) без дополнительных терминов. Для работы значимо различие между информационным и контрастивным фокусом (Kiss 1998).

Более детальная таксономия типов фокуса представлена в (Krifka 2007): информационный фокус понимается как фокус вопрос-ответ (при эксплицитных и имплицитных вопросах). Контрастивный фокус представлен коррективным и аддитивным фокусом. Разновидностью контрастивного фокуса является исчерпывающий (exhaustive) фокус (Krifka 2007). Выделяются

РАБОТА ПОДДЕРЖАНА ГРАНТОМ РГНФ NO 11-04-00282А «ТИПОЛОГИЯ МОРФОСИНТАКСИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ» И ПРОГРАММОЙ ОТДЕЛЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА ОИФН «ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНОЙ ДИНАМИКИ».

также подтверждающий (confirmative), параллельный и ограничительный (delimitation) типы фокусов¹. Также выделяется истинностный (verum) фокус. Данный фокус имеет отношение к истинностному значению предложения (Féry 2007; Krifka 2007). Еще одним типом является традиционный эмфатический фокус, который в терминологии М.Крифки называется скалярным (Krifka 2007).

2. Структура хеттской клаузы

В хеттской клаузе представлены следующие линейные позиции, которые определяются соотношением информационной структуры высказывания и его синтаксическим устройством²:

левая периферия (занимаемая составляющими, которые являются определенными типами фокусов и топикой, например контрастивным фокусом или топиком³, а также союзами, рядом наречий и вводными частицами),

средняя позиция (middle field) (занимаемая субъектом и объектом),

предглагольная позиция₁ (занимаемая определенными типами фокуса⁴, в первую очередь контрастивным фокусом, а также вопросительными словами – субъектами и объектами с дискурсивным значением неожиданности⁵, см. ниже).

За этими позициями следует глагольный комплекс, который состоит из нескольких позиций:

непосредственно предглагольная позиция₁ (занимаемая неопределенными местоимениями⁶, а также именными группами в локативе и некоторыми наречиями)

¹ Сходная таксономия принадлежит Дику, она представлена в хеттологической традиции (Goedegebuure 2003; 2009).

² Ср. (Luraghi 1990 passim; Hoffner, Melchert 2009: 406). Вынесенные за пределы клаузы именные группы не учитываются. Позиции определяются линейно, а не структурно, вслед за (Féry 2007: 170).

³ См. (Vai 2011).

⁴ См. (Goedegebuure 2003; 2009).

⁵ См. (Goedegebuure 2009).

⁶ См. (Luraghi 1990: 36-37; Sideltsev 2002: 155-58; Hoffner, Melchert 2008: 286, 406). Ср. (Hoffner, Melchert 2008: 286). Строго говоря, неопределенные

позиция преверба (занимаемая превербом),
непосредственно предглагольная позиция₂ (занимаемая отрицаниями и отрицательными местоимениями⁷, именными группами в локативе и некоторыми наречиями)/ **предглагольная позиция₂** (занимаемая вопросительными словами – наречиями типа *kuwat* “почему”),

позиция глагола (занимаемая глаголом),
непосредственно постглагольная позиция (зеркальным образом отражающая **непосредственно предглагольную позицию₁** и **2**, а также зеркальным образом отражающая **предглагольную позицию₂** и являющуюся позицией контрастивного фокуса для составляющих из **непосредственно предглагольной позиции₁** и **2**).

В клаузах, немаркированных с точки зрения информационной структуры, т.е. с узким фокусом на глаголе или с широким фокусом на предикате в норме заполнены левая периферия (при помощи соединительных частиц и союзов), средняя позиция (субъектом и объектом) и глагольный комплекс, как в следующем примере:

Пр. 1. МН/MS (СТН 147) KUB 14.1 + KBo 19.38 rev. 45

nu=wa=mi mān idālu-n memia-n kuiš [meta-i] #

CONN=QUOT.PART=мне если дурной-ACC.SG.C слово-ACC.SG кто-нибудь сказать-3SG.PRS

левая периферия средняя позиция неспоср.предглаг.поз.
глагол

“Если кто-нибудь скажет мне дурное слово”⁸.

Как мы уже отметили, постглагольная позиция зеркально отражает непосредственно предглагольные позиции **1** и **2**. В предыдущем примере относительное местоимение (в функции неопределенного) употреблялось в непосредственно предглагольной позиции. В следующем примере неопределенное местоимение находится в постглагольной позиции:

Пр. 2. МН/MS (СТН 199) ABoT 65 obv. 8

местоимения могут употребляться и в средней позиции, т.е. в немаркированной позиции для субъекта и объекта. Происходит это, однако, очень редко.

⁷ См. (Hoffner, Melchert 2009: 341, 406).

⁸ Вслед за (Beckman 1996: 150).

mGIŠGIDRU–DINGIR^{LIM}–i-n *tapaššē-t kuitki* #
 Хаттусили-ACC.SG.C лихорадить-3SG.PST что-
 то.NOM.SG.N

“Хаттусили некоторым образом подхватил лихорадку”⁹.

В этом и аналогичных случаях информационная структура глагола и неопределенного местоимения в постглагольной позиции *ex situ* не отличается от *in situ*. В структурном плане глагол в таких случаях перемещается на левый край глагольного комплекса (в функциональный узел Т в минималистской программе¹⁰). Данное перемещение глагола не мотивировано информационной структурой.

Как следует из приведенной выше схемы и следующего ниже примера, составляющие в непосредственно предглагольной позиции (неопределенные местоимения, отрицания итп) всегда находятся ближе к глаголу, чем фокусированные составляющие в предглагольной позиции (вопросительные слова, контрастивно фокусированные субъекты и объекты):

Пр. 3. NH/NS (CTH 177.3) KUB 23.101 obv. ii 5

nu tu-el ^{LÜ}TEMU *kuwat UL punuš-ta* #

CONN ты-GEN.SG посол почему NEG спросить-3SG.PST

“Почему ты не спросил своего посла?”¹¹.

Весьма схожее распределение засвидетельствовано в осетинском и соседних языках (Erschler 2012), и даже, возможно, является фреквенталией (Kim 1988).

3. Приглагольный фокус в хеттском

Как следует из приведенной выше структуры хеттской клаузы, узкий фокус в хеттском не на глаголе может макироваться как

⁹ Вслед за (Hoffner 2009: 243, 245). Ср. (Hagenbuchner 1989: 152).

¹⁰ То, что перемещение не происходит в позицию, обычно занятую превербом, следует из того факта, что глагол перемещается в позицию слева от неопределенных местоимений, которые *предшествуют* позиции преверба. Таким образом, позиция, в которую перемещается глагол, находится левее позиции преверга и не совпадает ни с одной из поверхностных позиций в хеттской клаузе.

¹¹ Вслед за (de Roos 2005: 52; Hoffner, Melchert 2008: 428). Ср. (Hagenbuchner 1989: 278-9).

in situ (в случае информационного фокуса), так и *ex situ* (в случае контрастивного фокуса). Если фокус маркируется *ex situ*, он может находиться в трех позициях – левая периферия, предглагольная позиция и постглагольная позиция. Позиция фокуса на левой периферии не представляет интереса для данной статьи. Предглагольная позиция фокуса иллюстрируется следующим примером с заменяющим (*replacing*) фокусом подлежащем¹²:

Пр. 4. OH/OS (CTH 291) KBo 6.2 obv. i 19

LÚ A.ZU=*ya kušša-n apā-š*=*pat pai* #

врач=и плата-ACC.SG он-NOM.SG.C=вместо давать. 3SG.PRS
 “И он заплатит гонорар врача вместо (пациента)”¹³.

Постглагольная позиция фокуса содержится в следующем примере:

Пр. 5. NH/NS (CTH 456.1.A) KUB 9.15 obv. ii 16'-20'

1. *n=aš=kan ŠÀ URU^{LIM} šešdu* #

2. *mahhan=ma GE₆-anza lukzi* #

3. ^{MUL}UD.ZAL.LE=*kan wizzi* #

4. *luk-zi nāwi* #

светать-3SG.PRS еще.не

5. *n=aš=kan URU-riaz arha hūdāk paiddu* #

6. ^DUTU-*uš=an=kan ŠÀ URU^{LIM} lē wemiyanzi* #

“(1) Пусть проведет ночь внутри города. (2) Но когда ночь станет светлее (3) (и) поднимется утренняя звезда, (4) (но) еще не **рассветет**, (5) пусть он покинет немедленно город; (6) пусть солнце не застанет его внутри города”¹⁴.

Глагол *lukzi* “светать” в клаузе 4 данного контекста является топиком. Он был введен как информационный фокус в клаузе 1. В клаузе 4 он установленный топик, а отрицание – контрастивный фокус, истинностный фокус (*verum focus*) (Féry 2007; Krifka 2007).

Из такого рода примеров следует, что предглагольная и постглагольная позиции фокуса идентичны с функциональной точки

¹² См. (Goedegebuure 2003: 301).

¹³ Вслед за (Hoffner 1997: 23; Goedegebuure 2003: 301).

¹⁴ Вслед за (Kümmel 1967: 32-3; CHD L-N: 422).

зрения и по частотности. Это не совсем так. Предглагольная позиция фокуса никак не соотносится с непосредственно предглагольной позицией (которую занимают неопределенные местоимения, отрицания итп)¹⁵, в то время как постглагольная позиция фокуса является *ex situ* позицией фокусирования для составляющих, которые *in situ* располагаются в непосредственно предглагольной позиции¹⁶. Это происходит с отрицаниями и наречиями типа *QATAMMA/ apeniššan*¹⁷: в постглагольной позиции они маркируют контрастивный фокус¹⁸, а в непосредственно предглагольной позиции – информационный фокус. Собственно говоря, постглагольная позиция и употребляется как позиция фокуса только для составляющих из непосредственно предглагольной позиции.

Вторая важная особенность постглагольной позиции состоит в том, что постглагольная позиция фокуса в подавляющем большинстве случаев представлена в клаузах, которые состоят лишь из двух составляющих¹⁹. Таким образом, те составляющие, которые в предглагольной позиции маркировали информационный фокус, а в постглагольной маркируют фокус контраста

¹⁵ За исключением предглагольной позиции вопросительных слов-наречий, которая совпадает с непосредственно предглагольной позицией наречий. В данном случае фокусирование происходит *in situ*.

¹⁶ Ср. (Bauer 2011).

¹⁷ Это не всегда так: представлены и случаи, в которых информационная структура отрицания в пред- и постглагольной позициях идентичны. Это имеет место в случае информационного фокуса. В данном случае возникает вопрос – не удобнее ли бы было описать эти случаи как различные позиции – как это сделано с предглагольной и непосредственно предглагольной позициями. В данном случае, однако подобное разграничение менее убедительно, т.к. в отличие от предглагольной и непосредственно предглагольной позиций постглагольная и непосредственно постглагольные позиции никогда не заполнены одновременно в клаузе. Более того, и постглагольный контрастивный фокус (нетождественный информационному статусу *in situ*), и постглагольный информационный фокус (тождественный информационному статусу *in situ*) являются позициями *ex situ* для составляющих из одной и той же позиции – непосредственно предглагольной.

¹⁸ См. **Пр. 5** выше.

¹⁹ Т.е. случаи, в которых постглагольная позиция ничем не отличается с точки зрения информативной структуры от непосредственно предглагольной, не демонстрируют таких ограничений.

(отрицания и некоторые наречия), употребляются в постглагольной позиции почти исключительно в двусоставных клаузах. Как мы уже неоднократно отмечали, в других случаях (например, с неопределенными местоимениями) непосредственно предглагольная и постглагольная позиции идентичны с функциональной точки зрения, что наводит на мысль о свободном варьировании. Это странное распределение заставляет предположить двучастный сценарий для объяснения возникновения постглагольной позиции фокуса.

Тот факт, что одни и те же составляющие употребляются и в непосредственно предглагольной²⁰, и в постглагольной позиции, а также то, что информационная структура и глагола²¹, и данных составляющих идентична в обеих позициях в некотором числе случаев делают неизбежным предположение, что изначально постглагольная позиция не была маркирована как позиция фокуса: глагол свободно перемещался из канонической финальной позиции в позицию на левом крае глагольного комплекса, что приводило к свободному варьированию SOXV/SOVX²².

Лишь позже постглагольная позиция стала ассоциироваться с фокусом: как мы видели выше, непосредственно предглагольная позиция, среди прочего, использовалась для фокусирования *in situ* – в случае вопросительных наречий типа *kuwat* “почему”. При свободном перемещении глагола внутри глагольного комплекса эти составляющие также попадали в линейно постглагольную позицию. При этом постглагольная позиция была спорадически переосмыслена как позиция фокуса (*dedicated focus position*) и стала использоваться как таковая²³ для составляющих, для которых непосредственно предглагольная позиция была канонической²⁴.

²⁰ Являющейся для них позицией *in situ*.

²¹ И в канонической финальной, и в позиции левого края глагольного комплекса.

²² Где X – составляющая, занимающая непосредственно предглагольную позицию при каноническом порядке слов.

²³ А точнее, для маркирования контрастивного и скалярного фокуса.

²⁴ Как отрицания и некоторые наречия.

Это произошло в основном в двусоставных клаузах, т.к. именно в этом типе клауз составляющие в предглагольной позиции представляются немаркированными относительно информационной структуры. Если информационный статус этих составляющих таков, что в других случаях коррелирует с позицией *ex situ*, постглагольная позиция выступает как единственная позиция *ex situ*, т.к. перемещение в левую периферию не даст линейного эффекта *ex situ* в двусоставной клаузе: линейно непосредственно предглагольная и периферийная позиции в двусоставных клаузах не отличаются²⁵.

Тот факт, что хеттский обладает тремя позициями фокуса, противоречит типологическим обобщениям, согласно которым язык может содержать не более двух позиций фокуса (*dedicated focus positions*) и что конкретный язык может обладать либо только предглагольной, либо только постглагольной позицией фокуса. Первая характерна для языков SOV, вторая – SVO (Kim 1988; Buring 2009). Как минимум с диахронической точки зрения это обстоятельство может наводить на мысль, что одна из позиций фокуса должна объясняться как производная/ вторичная. Постглагольная позиция фокуса самый очевидный кандидат на эту роль: она самая редкая, а также демонстрирует ограничение на структуру клаузы (двусоставность). Поэтому я предполагаю, что постглагольная позиция фокуса возникла из перемещения глагола на левую границу глагольного комплекса и возникшего из-за этого свободного варьирования SOXV/SOVX.

Эта же зависимость между свободным варьированием SOXV/SOVX и постглагольным фокусом также представлена в тех немногих языках SOV, в которых представлен постглагольный фокус – осетинском (Erschler 2012: 686-7) и нахско-дагестанских (Belyaev, Forker in press), например, в осетинском:

Пр. 6. а. предглагольный фокус

tukd-i [ɛrmest mɛn-ɛn]_F nɐ ravardtonɕɐ

война-OBL только я.OBL-DAT NEG давать.3PL.PST

²⁵ Если отрицания или наречия встречаются в клаузах, в которых более чем два составляющих, они перемещаются в левую периферию, если маркируют контрастивный или скалярный фокус.

“Во время войны они давали (медали) не только мне” Æghuzarti (2009)

b. постглагольный фокус

ba-jzadej=ma=ši [ermest=der farast]_F

PRV-оставаться.3SG.PST=ЕЩЕ=ABL.3PL только=ЕМР
девятъ

“Их осталось только девять” Maliti (2008) (Erschler 2012: 687, Ex. 41).

Необходимо подчеркнуть, что в осетинском постглагольная позиция также содержит и топики (Лютикова, личное сообщение).

4. Заключение

Хеттский, как и осетинский и нахско-дагестанские языки опровергает обобщение (Büring 2009), что язык может содержать не более двух позиций фокуса (dedicated focus positions) и что конкретный язык может обладать либо только предглагольной, либо только постглагольной позицией фокуса. Первая характерна для языков SOV, вторая – SVO. Вопреки данным ожиданиям хеттский демонстрирует три позиции фокуса – в левой периферии, предглагольной и постглагольной.

Все же хеттский однозначно показывает, что постглагольная позиция фокуса производна от предглагольной позиции фокуса. Поэтому обобщение Бюринга все еще валидно по крайней мере с диахронической точки зрения.

Литература

Bauer 2011 – Bauer A., Verberststellung im Hethitischen // Krisch Th. et al. (eds.), Indogermanistik und Linguistik im Dialog – Akten der XIII. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft vom 21. bis 27. September 2008 in Salzburg. Wiesbaden: Reichert, 2011: 39-48.

Beckman 1996 – Beckman G., Hittite Diplomatic texts. Atlanta, Georgia, 1996.

Belyaev, Forker in press – Information structure of Nakh-Daghestanian languages // Fernandez-Vest M.M. Jocelyne, Van Valin

Robert D. Jr. (eds.), Information structure and spoken language in a cross-linguistic perspective. In press.

Büring 2009 – Büring D., Towards a Typology of Focus Realization // Zimmermann M., Féry C. (eds), Information Structure. OUP, 2009: 177-205.

CHD – The Hittite Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago. Ed. by H.Güterbock†, H.Hoffner, and T.van den Hout, L-N, The Oriental Institute of the University of Chicago, 1989-.

de Roos 2005 – Roos J. de, Die Hethiter und das Ausland // Prechel D. (ed.), Motivation und Mechanismen des Kulturkontaktes in der späten Bronzezeit. / Eothen 13. Firenze, 2005: 39-58.

Erschler 2012 – Erschler D., From preverbal focus to preverbal “left periphery”: The Ossetic clause architecture in areal and diachronic perspective // *Lingua* 122, 2012: 673-699.

Féry 2007 – Féry C., Information Structural Notions and the Fallacy of Invariant Correlates // Féry C., Fanselow G., Krifka M. (eds.), The Notions of Information Structure. / Interdisciplinary Studies on Information Structure. Working Papers of the SFB 632. Potsdam: Universitätsverlag, 2007: 161-184.

Goedegebuure 2003 – Goedegebuure P., Reference, Deixis and Focus in Hittite. The demonstratives *ka-* “this”, *apa-* “that” and *asi* “yon”. Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam, 2003.

Goedegebuure 2009 – Goedegebuure P., Focus Structure and Q-Word Questions in Hittite. // *Linguistics*, Vol. 47/4, 2009.

Hagenbuchner 1989 – Hagenbuchner A., Die Korrespondenz der Hethiter. 2. Die Briefe mit Transkription, Übersetzung und Kommentar. / *THeth.* 16. Heidelberg, 1989.

HED – Puhvel J., Hittite Etymological Dictionary. / Trends in Linguistics. Documentation 1-. Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 1984-.

Hoffner 1997 – Hoffner H. Jr, The Laws of the Hittites. / *DMOA* 23. Brill: Leiden, New York, Köln, 1997.

Hoffner 2009 – Hoffner H. Jr., Letters from the Hittite Kingdom. Atlanta, 2009.

Hoffner, Melchert 2008 – Hoffner H. Jr., Melchert C., *A Grammar of the Hittite Language. Part 1: Reference Grammar*. Winona Lake, Indiana, 2008.

Kim 1988 – Kim Alan Hyun-Oak, Preverbal focusing and type XXIII languages // Hammond, M., Moravcsik E. and Wirth J. (eds) *Studies in Syntactic Typology* John Benjamins, 1988: 147-169.

Kiss 1998 – Kiss K. É., Identificational focus and information focus. // *Language* 74, 1998: 245-273.

Krifka 2007 – Krifka M., Basic notions of information structure // Féry C., Fanselow G. and Krifka M. (eds.), *Interdisciplinary Studies on Information Structure. / Interdisciplinary Studies on Information Structure. Working Papers of the SFB 632*. Potsdam: Universitätsverlag, 2007: 13-56.

Kümmel 1967 – Kümmel H.M., *Ersatzrituale für den hethitischen König* / StBoT 3, Wiesbaden: Harrasowitz, 1967.

Luraghi 1990 – Luraghi S., *Old Hittite Sentence Structure*. Routledge: London - New York, 1990.

Lambrecht 1994 – Lambrecht K., *Information Structure and Sentence Form*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

Probert 2006 – Probert Ph., Clause boundaries in Old Hittite relative sentences // *TPS* 104: 1, 2006: 17-83.

Sideltsev 2002 – Sideltsev A., Inverted Word Order in Middle Hittite // Shevoroshkin, V. V., Sidwell, P. J. (eds.). *Anatolian Languages. / Association for the History of Language Studies in the Science & History of Language* 6. Canberra, 2002: 137-188.

Vai 2011 – Vai M., Osservazioni sulla periferia sinistra della frase in ittita // *Anatolistica, indoeuropeistica e oltre nelle memorie dei seminari offerti da Onofrio Carruba (anni 1997-2002) al Medesimo presentate. / Antiqui Aevi Grammaticae Artis Studiorum Consensus. Series maior* I. Milano, 2011: 39-56.

van der Wal 2012 – van der Wal, Why does focus want to be adjacent to the verb? // Workshop ‘Parametric variation in discourse configurationality’, 28-29 August 2012. meeting *Societas Linguistica Europaea*, Stockholm.

ИЗБЫТОЧНАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ КАК ГЛАВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА

М. Н. СЛАВЯТИНСКАЯ

Вводные замечания

Древнегреческий язык ставил в тупик многих ученых. Так, Михаил Леонович Гаспаров, сравнивая латинский и древнегреческий языки, писал: «...Латинский язык мне давался легче, чем греческий, – как и всякому. Старый А. И. Доватур говорил: «Латинский язык выучить можно, а греческий нельзя, потому что это не один язык, а много, в разных жанрах, диалектах, эпохах и т. д.)». По-латыни я рано стал, сверх университетских заданий, читать неурочные тексты, а по-гречески это не получалось. По-латыни научился читать без словаря, по-гречески – только со словарем... потом я много переводил и с латинского, и с греческого, но с греческого всегда неуверенно и всегда сверяясь с английским или французским параллельным переводом. Когда кончал большой греческий перевод, то с удовольствием чувствовал: Ну, на этой работе я наконец-то выучил язык. Но проходило несколько месяцев, усвоенное выветривалось, и за новый перевод я опять брался как будто от нуля. С латинским языком этого не было» (Гаспаров 2001: 311).

Можно упомянуть и других исследователей и преподавателей древнегреческого языка. Но главные арбитры – студенты, которые постоянно недоумевают, почему в конце 2-го курса они свободно читают на латинском языке и тратят много времени на древнегреческий текст. Видимо, следует сделать вывод о какой-то объективной особенности древнегреческого языка, которую нужно осознать.

Одной из «скрытых» категорий языка является избыточность, которая в настоящее время обсуждается и на уровне текста (см.,

например, Груднева 2009) и особенно часто в работах, исследующих проблемы перевода.

Думается, что анализ древнегреческого языка под углом зрения категории избыточности, ее генезиса и конкретных особенностей может в какой-то степени объяснить специфику древнегреческого языка: априорно можно предположить, что примечательной чертой древнегреческого языка является его избыточная вариативность, которая сложилась исторически и прочно вошла в языковое сознание и самосознание (возможность выбора) эллинов.

I

Известно, что язык поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея», объединил в единое художественное целое множество гетерохронных и разнолокальных форм: «Гомеровский язык – обширное вместилище словоформ и словосочетаний, разнодиалектных и разновременных (не только по происхождению, но и по несовместимости, несинхронности их с точки зрения реальной истории живой греческой речи), в иных случаях даже возникших в самом эпосе по внутренним законам его лингвистического развития. И все это сопряжено в единую систему, упорядоченную в ее семантических и ритмико-просодических противопоставлениях» (Тронский 1973: 125). Но эта особенность в большей или меньшей степени присуща языку любого эпоса. И могла бы остаться маргинальной в истории языка, если бы не внешние обстоятельства. Одним из них было совпадение во времени творчества Гомера с началом греческой письменности: в какой-то степени гомеровский текст был зафиксирован сразу. Другим счастливым обстоятельством для гомеровского эпоса явилось появление на исторической арене афинского тиранна Писистрата (ок. 600 – 528 гг. до н.э.), который, помимо политической борьбы, оказался покровителем искусств. Именно при нем был восстановлен праздник Больших Панафиней. Он приказал записать отредактированный текст поэм Гомера (писистратовская редакция) и исполнять их на празднике.

С тех пор на протяжении тысячелетий (и в Византии, и в Новой Греции) текст Гомера стал школьным обязательным текстом.

Таким образом, знание многообразной вариативности греческого языка стало обязательным для эллинов даже тогда, когда в средние века (в Византии) изменилось греческое произношение, изменился тип ударения (музыкальное ударение сменилось динамическим), исчезла оппозиция долгих и кратких гласных и тем самым исчезла квантитативная метрика.

II

Общеизвестно, что «Древняя Греция» никогда не была единым государством, ее история есть история образования уникальных городов-государств, полисов. Дальнейший процесс формирования полисного коллектива был сложным и направленным как вовнутрь полиса (сплочение граждан, воспитание в них чувства «своего» полиса, «своего» языка), так и вовне его (поддержание необходимых контактов с другими, тоже обособлявшимися полисами, сохранение этнического единства в культуре, языке, религии). Полис же явился такой государственной формой, которая обособляла свою государственность через индивидуальности. Существование индивидуального полиса было возможно только при наличии «своих» стратегов, атлетов, поэтов, философов. Именно поэтому в античных биографиях всегда отмечается место рождения описываемого лица. Создание целого корпуса творческих индивидуальностей было необходимой задачей того исторического этапа.

Две противоположные тенденции в период формирования полиса (его внутренняя консолидация и одновременно постепенное расширение внешних связей, включая колонизацию) получили отражение в поэзии, включая особенности языка.

Таким образом, наряду с общеэллиническим гомеровским текстом развивалась и многополисная система греческого языка (с ее утверждением значимости своего диалекта), и объединения близких диалектов в наречия, получившие отражение в многожанровой поэзии (эолийское, ионийское, дорийское). Основные диалекты древнегреческого языка были равноправными «партнерами» (ср. свободное включение разноматерной речи в комедиях Аристофана). Эта полидиалектность, утвержденная в словесности как единое общеэллиническое языковое пространство,

еще более расширяло языковое сознание и самосознание эллинов, которые не стремились избавляться от возрастающей и притом обязательной вариативности своего языка.

III

Конец IV – III вв. до н. э. считают началом общегреческого койне. Казалось бы, должно сокращаться количество языковых идиомов, унифицированная грамматика и лексика. Однако при описании отдельных функциональных страт картина получается гораздо более сложная. Для прозаического литературного языка не только III в. до н. э., но и всего эллинизма исследователи единодушно называют в качестве основы аттический диалект. Известно, что литературный обычно архаичнее разговорного, поэтому даже если предположить наличие каких-то новых вариантов греческого языка как общегреческого средства общения, литературный язык, конечно же, еще долго должен был следовать литературной аттической норме (в ее вариантах), тем более, что Афины, вплоть до середины III в. до н. э., оставались культурным центром греческого мира. И для III, и даже для II в. до н. э. характерно стремление к сохранению всех примарных признаков аттического диалекта.

Лишь во второй половине III в. до н. э. с переносом центра греческой культуры в Александрию создаются условия для расшатывания аттической литературной нормы, поскольку в Александрии работают ученые, писатели и поэты из самых разных областей греческого мира, что приводит к проникновению в литературный язык форм из других диалектов. Примером этого может служить язык Архимеда, уроженца дорийской Сицилии. Его язык – это аттический литературный язык. Встречаются в языке Архимеда и те формы ионийского диалекта, которые давно вошли в аттический. Вместе с тем текст сохранил и наличие форм и родного Архимеду дорийского диалекта. Но наличие этих форм не нарушает аттической целостности языка Архимеда. Отражение в нем отдельных черт родного диалекта не

противоречило особенностям развития греческого литературного языка, находившегося всегда под большим воздействием разговорных форм, что отражало отсутствие строгих границ между письменным и устным языком в античном мире.

Естественно, что с течением времени отклонения от аттической нормы должны были все более увеличиваться и развитие литературного языка могло пойти по одному из двух путей: либо эти отклонения на определенном этапе были бы признаны нормой и произошла бы перестройка литературного языка (факт, известный из истории, вероятно, большинства литературных языков), либо в силу определенных исторических условий продолжала бы культивироваться консервативная форма литературного языка и его разрыв с разговорным все более и более увеличивался бы. Интересно, что греческий литературный язык стал развиваться одновременно по обоим путям. Начавшаяся уже во II в. до н. э. и продолжавшаяся в течение многих веков деятельность «аттикистов» воспрепятствовала сильному влиянию разговорного языка на аттический литературный язык. В то же время необходимость влиять на массы и управлять ими, насаждение новой религии, каковой явилось христианство, потребовало создания обработанной формы языка, приближенной к разговорной. Для III в. до н. э. мы можем констатировать пока еще употребление литературной формы аттического диалекта в качестве литературного языка восточной части греческого мира, но уже в его различных стилистических вариантах: более живом «ионизированном» и более консервативном «аттикизированном». Что касается делового и административного языка III в. до н. э., то априори можно предположить, что и тут мы должны столкнуться с двумя тенденциями: с одной стороны, официальный язык всегда опирается на традиционные стандартные нормы языка (лексику, морфологические и синтаксические формы), и потому официальный язык обычно в определенной степени архаичен, с другой – вовлечение в государственное управление и в войска громадного числа людей разного культурного уровня из разных областей Греции, естественно, должно было в эпоху Александра Македонского и позже порождать вариативность административного и делового языка. Исторические условия, сложившиеся

в конце IV – III вв. до н. э. в восточной части средиземноморского бассейна, способствовали сохранению именно консервативного варианта греческого языка. Деловой язык дает возможность наблюдать различные варианты (более консервативный и более новый), прочно базирующиеся на той же аттической основе, что и язык литературной прозы.

Памятники III в. до н. э. дают нам представление и о разговорно-обиходном языке (разумеется, в его письменной фиксации). В этом варианте греческого языка отразились нестабильность языковых отношений на территории эллинистических государств. В связи с совершенно новыми условиями существования греческих полисов и новой стадией развития рабовладельческого общества, в связи с большой ролью письменности, в связи с этническим смешением естественна большая вариативность разговорного греческого языка. Основные тенденции его развития складывались давно и не представляли какого-то нового явления.

В низших сферах коммуникации всегда существовали различные типы обиходной речи, являющейся результатом смешения территориальных и социальных диалектов. В рассматриваемый период количество вариантов этой функциональной страты еще более увеличилось в связи с конкретными социально-историческими условиями (усиление интерференции диалектов, влияние в данном регионе литературного языка, особенности и влияние речи социальных низов – рабов, разорившихся граждан и т. п.). Именно для этой страты представляется целесообразным употреблять термин «койне».

Несколько слов о позднем «койне» (по книге: Соболевский 2013: 132): «Лучшими стилистами среди отцов Церкви были: в IV в. – Афанасий Александрийский, Кирилл Иерусалимский, Григорий Богослов, Василий Великий, Иоанн Златоуст; в V в. Феодор Мопсуестийский, Синезий Птолемаидский, Исидор Пелусиот. VI век был поворотным пунктом в истории греческого языка вообще и церковного творчества в частности. С VII века уровень образования у греков очень понизился – ученых людей

было очень мало. Авторы того времени подражали Василию Великому, Григорию Богослову, Иоанну Златоусту, которые пользовались у них большим почетом. В своих сочинениях они старались избегать по возможности всего, что было свойственно обыденному языку. Но, конечно, и в эту эпоху были выдающиеся по образованию и по языку христианские авторы, например, Иоанн Дамаскин, который в своих песнопениях не только подражал аттическому языку, но даже употреблял и древние стихотворные размеры, основанные на долготе и краткости слогов, хотя в живом языке еще задолго до того времени исчезла разница между долгими и краткими слогами: примером может служить хотя бы канон Иоанна Дамаскина на Рождество Христово, написанный ямбическим триметром».

В заключение подчеркнем, что древнегреческий язык и античного времени, и в Византии, где до XII в. он был единственным литературным языком, являет собой тип языка избыточно-изобилующего (см. статью автора: Славятинская 2004). Первая половина этого нестандартного термина содержит сему «чрезмерность, излишек», а вторая – сему «изобилие, богатство, красочность».

Эту особенность древнегреческого языка следует учитывать даже в самом начале его изучения. Ведь избыточное языковое сознание и самосознание эллинов отразилось в византийском варианте греческой письменности: излишний знак тонкого придыхания, ударения у клитик, подчеркивание особенного произношения «ро» и т. д. Что к этому сказать о глаголах, которые за редким исключением аномальны?!

Литература

Гаспаров М. Л. Записи и выписки. «Новое литературное обозрение». М., 2001.

Груднева Е. В. Избыточность текста, редукция и эллипсис. Автореферат докт. дисс. СПб., 2009.

Славятинская М. Н. «Изобилующая грамматика гомеровского языка: значение и смысл // Сравнительно-историческое и общее языкознание. М., 2004.

Соболевский С. И. Греческий язык библейских текстов. Κοινή. М., 20132.

Тронский И. М. Вопросы языкового развития в античном обществе. Л., 1973.

ЗАКОН ЗИБСА И ПРОБЛЕМА СОЧЕТАЕМОСТИ СОГЛАСНЫХ В НАЧАЛЕ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО СЛОВА

А. А. ТРОФИМОВ

В своей статье «Исследования анлаута» Т. Зибс попытался доказать на основании ряда этимологий, что *s-mobile* в индоевропейских языках может встречаться не только перед глухими согласными, но и перед звонкими (придыхательными и непридыхательными). В качестве примера можно привести др.-греч. στήζω ‘колоть’ и лат. figō ‘втыкать’, для которых он восстанавливает праформы *steig^u- и *d^heig^u- соответственно (Siebs 1904: 312). Зибс думал, что *s-mobile* – древний индоевропейский префикс (Siebs 1904: 292).

Закон был сформулирован Зибсом следующим образом: «Если корень праязыка начинался индоевропейским звонким согласным, параллельная *s*-форма начиналась соответствующим глухим; если корень праязыка начинался индоевропейским звонким придыхательным, параллельная *s*-форма начиналась соответствующим глухим или глухим придыхательным. Твердо установить в последнем случае, был ли в праязыке глухой или глухой придыхательный, не всегда возможно, потому что в большинстве случаев только индоиранский или греческий языки могут предоставить свидетельство» (Siebs 1904: 294-295).

Зибс предполагал, таким образом, четыре ряда соответствий для праиндоевропейского состояния:

- $s + k >$ др.-инд., др.-греч., герм., балт., слав. *sk*-;
- $s + k^h >$ др.-инд., др.-греч. *sk^h-/sk-*, герм., балт., слав. *sk*-;
- $s + g >$ др.-инд., др.-греч., герм., балт., слав. *sk*-;
- $s + g^h >$ др.-инд., др.-греч. *sk^h-/sk-*, герм., балт., слав. *sk*-¹.

¹В. М. Иллич-Свитыч предположил, что $s + g$; $s + g^h >$ слав. *x* (Иллич-Свитыч 1962). Однако в дальнейшем материал, в частности, ЭССЯ показал,

Составители этимологических словарей по-разному отнеслись к закону Зибса. Ю. Покорный, например, в своем «Индоевропейском этимологическом словаре» не реконструирует ни одного корня, начинающегося последовательностью вида (s)D^(h)- (где D^(h) – любой звонкий смычный индоевропейского праязыка, в том числе придыхательный) (IEW 1959: 916-1047). Приводимые Зибсом случаи либо рассматриваются отдельно друг от друга, либо по-другому этимологизируются (например, др.-исл. *starfa* ‘напряженно работать’ связывается не с лит. *dirbu, dirbti* ‘работать’, а со ст.-слав. *трьпѣти* (IEW 1959: 1024-1025).

Напротив, в «Словаре индоевропейского глагола» («*Lexikon der indogermanischen Verben*») реконструируется три подобных корня:

1. ?*(s)b^heng- ‘светить, сиять’: др.-греч. *φέγγω* ‘светить’, лит. *spíngiu, spingėti* ‘блестеть, сверкать’ (LIV 2001: 512);
2. *(s)d^herb^h- ‘становиться твердым, жестким’: церк.-слав. *ustrъbe* ‘созрел’, др.-англ. *deorfan* ‘работать’, др.-греч. *στέρφος* ‘шкура’ (LIV 2001: 512);
3. *(s)g^{uh}₂el- ‘спотыкаться, оступаться’: вед. *skhalate*, арм. *sxalem, -im* ‘спотыкаться’, др.-греч. *ἐσφάλην* ‘упал’ (LIV 2001: 543-544).

Безусловно, из предложенных автором приблизительно 40 этимологий далеко не все могут считаться внушающими доверие. Однако, на наш взгляд, доказательство или опровержение закона Зибса стоит искать не методом критики этимологий, а путем исследования сочетаемости согласных в начале индоевропейского слова. Ведь предлагая такое правило для индоевропейского праязыка, Т. Зибс допускает возможность действия в нем правила прогрессивной ассимиляции $s + D^{(h)} > sT^{(h)}$.

Некоторые исследователи критиковали данный закон именно с точки зрения невероятности подобного ассимилятивного перехода. Р. Хирше утверждал, что последовательность $s + D^{(h)}$ должна реализовываться в начале слова как $zD^{(h)}$ -, а не как $sT^{(h)}$ -, как и середине слова (примеры Хирше: «др.-инд. *mīḍhā*

что славянское неэкспрессивное *х* восходит исключительно к *sk, *ks и *s при действии правила руки (Орел 1997: 5-6).

< *mizd^há < *mizd^hó, также гот. mizdō, ст.-слав. мьзда ‘плата’; др.-инд. pīḍá- < *ni-zd-o ‘гнездо’, к *ni + sed» (Hiersche 1964 : 15)). Хирше находит еще один контрпример: «кроме того, существует очевидный пример в начале слова, ср. авест. zdī (sic!) ‘будь!’ < *z-dhi < *s-d^hi» (Hiersche 1964: 15).

С точки зрения, в частности, Й. Расмуссена, «контрпример Хирше авест. zdī имп. ‘будь’ содержит морфемный шов: *H₁s-d^hi, поэтому он недостаточно убедителен» (Rasmussen 1999: 220).

Относительно авест. zdī надо отметить, что это образование в санскрите выглядит как ēdhí, в греческом – как ἴσθι. Древнеиндийская форма однозначно указывает на *es-d^hi (*ez-d^hi). Существует традиция связывать авест. zdī, напротив, с греч. ἴσθι ‘будь’ < *H₁s-d^hi (Rix 1976: 70). Но на самом деле все эти формы можно объединить. Авестийская может иметь внутрииранское объяснение: авест. zdī < *es-d^hi с отпадением начального безударного е- (ЭСИЯ (1) 2000: 92). Случай отпадения начального гласного в авестийском в сходных условиях: ир. *as-ti > авест. stī ‘бытие, естество, мир’, хс. ašti ‘бытие, существование’ (ЭСИЯ (1) 2000: 93). Греческая форма тоже может быть объяснена как рефлекс полной ступени *es-dhi, если учесть наличие в греческом языке случаев ассимиляции звука ε в ι звуком ι последующего слога: λικριφίς ‘в сторону, сбоку’ наряду с λέχριος ‘косой’, ион. ἰοτίη наряду с ἑοτία ‘очаг’ и т. п. (Petersen 1938: 56-57); более того, для ряда случаев предполагается воздействие следующего за изначальным ε сибиланта (ἴσθι, ἰοτίη), эол. гом. πίσυρες ‘четыре’ наряду с πέσσυρες, τέτταρες и т. д.) (Schwyzer 1939: 351). Можно заключить, что авестийское сочетание zd- изначально находилось не в начале авестийской словоформы zdī < (H₁)es-d^hi и не может служить аргументом против закона Зибса.

И все же примечателен тот факт, с каким трудом Хирше находит единственный контрпример. Какие же есть данные о поведении сочетаний T^(h) + D^(h) (в том числе и s + D^(h)) в начале слова?

Если говорить о сочетаниях, содержащих придыхательный смычный, их рефлексы хорошо известны. Самый показательный случай – индоевропейское слово $d^h\acute{e}g^h\text{-}\acute{o}m$ ‘земля’, в косвенных падежах имеющее нулевую ступень $*d^h\acute{e}g^h$ – (род. п. $*d^h\acute{e}g^h\text{-}m\acute{e}s$ – хет. $takn\acute{a}s$, др.-инд. $j\acute{m}\acute{a}s$) (Schindler 1967: 201; Герценберг 2010: 46). Продолжением подобного комплекса в греческом является сочетание $\chi\theta$ - (др.-греч. $\chi\theta\acute{o}v$), в древнеиндийском – $k\acute{s}$ ($k\acute{s}\acute{a}m$), а в тохарском – tk (тох. А $tkam$). В языках, которые теряют придыхательные согласные и при этом продолжают различать их по глухости-звонкости, подобный комплекс преобразуется путем потери начального $*d^h$ -.

В равной степени можно указать на случаи сочетаний типа $sD^{(h)}$ в начале индоевропейского слова, хотя не все из них надежны.

Наиболее бесспорный пример – некоторые формы древнегреческого глагола $\acute{\epsilon}\chi\omega$ ‘держатъ, иметъ’ ($< *se\acute{g}^h$ -, ср. скт. $s\acute{a}hate$ ‘подчинять’, авест. haz - ‘захватывать, завладевать’): императив $\sigma\chi\acute{\epsilon}s$, инфинитив $\sigma\chi\acute{\epsilon}iv$, оптатив $\sigma\chi\acute{o}i\eta\nu$, причем 1 pl. opt. $\sigma\chi\acute{o}i\mu\epsilon\nu$ соответствует авест. $za\acute{e}m\acute{a}$ $< *s\acute{g}^h\acute{o}i$ - (Boisacq 1916: 302). Надежно и др.-греч. $\sigma\phi\epsilon\acute{i}s$ ‘они, их’, которое родственно лат. si - $b\acute{i}$ ‘себе’, ст.-слав. se - $b\acute{e}$ с нулевой в данном случае ступенью индоевропейского возвратного $*se$ (др.-греч. $\sigma\phi\acute{i}$ - $< *s\text{-}b^hi$ -) (Beekes 2009: 1429). Возможно, что отдельно стоящее греческое $\theta\acute{e}n\acute{o}s$ ‘сила, могущество’ также связано с этим корнем, вернее, его вариантом $*se\acute{g}^h$ - и должно реконструироваться как $*sg^h\text{-}\acute{e}nos$ (Bolling 1900: 315-316; Beekes 2009: 1326).

Если говорить о сочетаниях двух звонких непридыхательных смычных в начале слова, то в данном случае на примере хорошо известных корней можно говорить о том, что оно в целом было недопустимо в праязыке. На это указывает, в частности, слово «нога» (корень $*ped$ -/ $*pod$ -). Л. Г. Герценберг относит его к амфикинетической парадигме (Герценберг 2010: 54). В таком случае в слабых падежах ожидается нулевая ступень корня, которая, тем не менее, не засвидетельствована в начале слова ни в одном индоевропейском языке. И хотя «существует мнение о том, что и.-е. ‘нога’ имеет «колумнальное» (акростатическое)

ударение – против этого говорят сохранившиеся формы со слабой ступенью аблаута $-bd-$ < $*-pd-$ в композитах: др.-инд. $ura-bd-\acute{a}$ ‘шум от шагов’, авест. $ura-bd-e$ ‘у подножия горы’, др.-греч. $\acute{\epsilon}\lambda\iota-\beta\delta\alpha$ ‘послепраздничный день» (Герценберг 2010: 55). То же справедливо и в отношении корня $*sed-$ ‘сидеть’, нулевая ступень которого $*zd-$ встречается только не в начале слова (др.-инд. $\pi\acute{d}\acute{a}-$, лат. $\pi\acute{d}us$ < $*\pi i-zd-o$ ‘гнездо’).

Соответственно, нулевая ступень подобных корней, anomальная с точки зрения фонетики праязыка, заменялась в начале слова на полную. Существует только греческие слова с анлаутом $\beta\delta$: $-\beta\delta\acute{\epsilon}\omega$ ‘выпускать ветры’ < $*bzd$ < и.-е. $*pezd-$, ср. рус. бздеть, лат. $p\acute{e}d\acute{o}$ (Frisk 1960: 230); $\beta\delta\acute{\epsilon}\lambda\lambda\omega$ ‘масло винной пальмы’, заимствованное из семитского языка, ср. ивр. $b^{\acute{e}}d\acute{o}lah$, акк. $budulhu$ (Frisk 1960: 229); этимологически неясное $\beta\delta\acute{\alpha}\lambda\lambda\omega$ ‘сосать, доить’. Кажется, можно объяснить появление подобного кластера в начале греческих слов звукоизобразительным характером слова $\beta\delta\acute{\epsilon}\omega$: сначала несвойственное греческому сочетание возникло в нем (как и в слав. бзд-), потом добавились заимствования ($\beta\delta\acute{\alpha}\lambda\lambda\omega$ с большой долей вероятности – неиндоевропейское слово).

Сочетание $zD-$ в начале слова тоже недопустимо: единственными возможными примерами кажутся др.-греч. $\sigma\beta\acute{\epsilon}\nu\nu\mu\iota$ ‘гасить’ < $*zg^ues-$ (Frisk 1970: 685-686), авест. $zga\acute{d}$ ‘уплывать’, авест. $zga\acute{r}\acute{e}сна-$ ‘круглый’ < $*zg^{(h)}\acute{r}tsna-$, соответствующее совр. перс. $gird$ ‘круглый’ (Bartholomae 1904: 1698). Относительно $\sigma\beta\acute{\epsilon}\nu\nu\mu\iota$ следует заметить, что наиболее правдоподобные объяснения ($\sigma\beta-$ путем метатезы из $\beta\sigma-$ < аор. $*g^use-$ (Schmidt 1976: 41); $\sigma\beta-$ под воздействием нулевой ступени корня $\sigma\beta\acute{\epsilon}$ (Siebs 1904: 298)) не предполагают изначального присутствия $*s-$ в анлауте этого слова. Иранские примеры не имеют надежной индоевропейской этимологии.

Подобные правила сочетаемости звонких смычных в начале слова напоминают правила сочетаемости согласных в пределах корня: в индоевропейском праязыке запрещены корни вида D_1eD_2 (вроде $*deg-$) и разрешены корни $D^{(h)}_1eD^{h}_2$ ($*d^heg^h-$ или $*deg^h-$) (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 18-21).

Из сделанных выше наблюдений можно заключить, что механизм, предложенный Зибсом, в принципе невозможен: сочетания $s + D^{(h)}$ должны были преобразовываться по описанным выше сценариям, но не по пути прогрессивной ассимиляции. Кроме того, внутри германских языков, на долю которых приходится большая часть этимологий Зибса, соответствия $sp-$: $p-$, $st-$: $t-$ и $sk-$: $k-$ могут объясняться тем фактом, что дублиеты с подобными чередованиями образовались после действия закона Гримма, то есть относятся к более позднему хронологическому слою (Макаев 1970: 236). Соответственно, закон Зибса в том виде, в каком его сформулировал автор, не может быть принят. Но являются ли неверными все этимологии Зибса?

Пойдем от обратного и предположим, что s -mobile – изначальный элемент индоевропейского корня, который затем отпал в отдельных случаях. Тогда, если учесть, что в праязыке не было глухих придыхательных смычных, логически возможны следующие типы корней с s -mobile: $(s)T_1e(R)T_2-$, $(s)T(R_1)eR_2-$, $(s)Te(R)D-$, $(s)TeRD^h-$ (где (s) – s -mobile, T – любой глухой непридыхательный смычный, D – любой звонкий непридыхательный, D^h – любой звонкий придыхательный, R – любой сонант).

При выпадении начального s - мы получим следующие структуры:

$(s)T_1e(R)T_2- > T_1e(R)T_2-$ (например, $*spek-$ $>$ $*pek-$);

$(s)T(R_1)eR_2- > T(R_1)eR_2-$ (например, $*sker-$ $>$ $*ker-$);

$(s)Te(R)D- > Te(R)D-$ (например, $*skerd-$ $>$ $*kerd-$);

$(s)TeRD^h- > TeRD^h-$ (например, $*sped^h-$ $>$ $*ped^h-$).

Можно отметить, что первые три структуры допустимы в индоевропейском праязыке и наши гипотетические корни напоминают реальные $*pek^u-$ ‘печь’, $*\acute{k}er-$ ‘пог’, $*\acute{k}erd-$ ‘сердце’. Напротив, корни вида $TeRD^h$ и TeD^h в индоевропейском языке запрещены. Первым подобное правило сформулировал Ф. де Соссюр, чье наблюдение было задокументировано А. Мейе в 1912 году: «Ф. де Соссюр заметил и рассказывал в своем курсе в l'École des Hautes Études, что для индоевропейского корня недопустимо присутствие одновременно глухого и звонкого придыхательного: возможны корни $*beud^h-$ или $*b^h eud^h-$, но

не **reud^h*-; **b^heuð^h*- или **b^heuð*-, но не **b^heut*» (Meillet 1912: 60). Единственное исключение из подобного правила – корни с начальным **s*-, например, др.-инд. *stighnóti* ‘шагать, подниматься’, греч. *στεῖχω* ‘ступать, идти’, гот. *steigan* ‘подниматься’ (Meillet 1912: 61).

Как может быть решена подобная проблема? Кажется, при отпадении начального *s*- первый смычный (глухой непридыхательный) мог подвергнуться дистантной ассимиляции с последующим звонким придыхательным. В таком случае мы получаем такое развитие:

(*s*)*TeRD^h*- > *TeRD^h*- > *D^(h)₂ eRD^h₂*-

Подобные случаи суть следующие:

и.-е. **b^hōd^h*-. лат. *fodiō* ‘копать’, лтш. *bedīt* ‘закапывать’, вал. *bedd* ‘могила’ // и.-е. **spōd^h*-. др.-греч. *σπάθη* ‘бёрдо’, др.-англ. *sradu* ‘лопата’. Думается, данное сближение возможно, хотя и несколько сомнительно, если убрать скорее всего не относящееся сюда *σπάθη* ‘бёрдо’;

и.-е. **b^hrojd^h*-. герм. **braida*- ‘широкий’, лит. *brýdau*, *brýdoti* ‘стоять в воде’, *braidau*, *braidýti* ‘идти вброд’ (Зибс толкует изначальное значение этого слова как ‘идти с широко расставленными ногами (под водой)’) // и.-е. **sprojd^h*-. др.-в.-нем. *spreiten* ‘расширяться’;

и.-е. **d^heuð^h*-. гот. *dáufts* ‘глухой’, др.-греч. *τυφλός* ‘слепой’ // и.-е. **steuð^h*-. ср.-в.-нем. *stump* ‘немой’, лит. *stùburas*, др.-сканд. *stúfr* ‘пень’, др.-инд. *stobhaḥ* ‘столбняк’;

и.-е. **d^herb^h*-. др.-англ. *deorfan* ‘работать’, лит. *dirbu*, *dirbti* ‘работать’ // и.-е. **sterb^h*-. др.-исл. *starfa* ‘напряженно работать’, гот. *stairban* ‘умирать’;

и.-е. **g^heuð^(h)*-. лит. *gaudžù*, *gaústi* ‘гудеть, звучать’ // и.-е. **skeuð^h*-. др.-греч. *σχυθρός* ‘гневный’, лтш. *skundu*, *skundēt* ‘ворчать’;

и.-е. **g^hleið^h*-. др.-в.-нем. *glītan* ‘скользить’, др.-греч. *χλιδάω* ‘быть роскошным’ // и.-е. **skleið^h*-. лит. *sklýdus* ‘гладкий’, ст.-слав. *slědъ* ‘след’;

и.-е. **g^hreið^h*-. гот. *grids* ‘шаг’, ст.-слав. *grędō*, лат. *gradior* ‘шагаю’ // и.-е. **skreið^h*-. др.-англ. *skríðan* ‘шагать, идти’;

и.-е. *g^hrend^h-. др.-в.-нем. grintil ‘балка, брус’, лит. griñdis ‘половая доска’, ст.-слав. gręda ‘балка, брус’, видимо, первоначально ‘то, что расколото, разрезано’// и.-е. *skrend^h- ‘раскалывать, трескаться’: др.-в.-нем. skrintan ‘трескаться’ (Siebs 1904: 306-322).

Реконструировать такие корни нужно в виде *spōd^h-, *steu^bh-, *sterb^h- и т. д.

Не все перечисленные сближения в одинаковой степени вызывают доверие, но по крайней мере этимологические пары *b^hōd^h-. : *spōd^h-, *d^herb^h-. : *sterb^h-, *g^hlejd^h-. : *sklejd^h-, *g^hrejd^h-. : *krejd^h- кажутся заслуживающими рассмотрения.

Для проверки правомерности нашей гипотезы нужно удостовериться, что не существует индоевропейских корней вида *(s)Te(R)D^h-. В словаре Ю. Покорного их всего четыре:

1. *(s)kerb^h-, *(s)kreb^h-, *(s)kremb^h- ‘поворачивать, гнуть’: др.-греч. κάρφος ‘сено, хворост’, лат. corbis ‘корзина’, др.-исл. skorpa ‘сжиматься, сокращаться’, лит. skuĩbti ‘горевать’ и т. д. (IEW 1959: 948-949);

2. *(s)ker-d^h-, *(s)ko_r-d^h- ‘жалкий, маленький, ничтожный’: др.-инд. á-skṛdhōyu ‘не сокращенный, не скудный’, др.-инд. kṛdhú- ‘сокращенный, недостаточный’, др.-греч. σκυρθάλιος νεανίσκος Hes. ‘юноша’, лит. skurstù, skurdaũ, skuĩsti ‘чахнуть, бедствовать’ (IEW 1959: 949);

3. *(s)pleiğ^h- ‘расставлять ноги’: др.-ирл. sliassait (*spleiğ^h-s-ontī ‘бедро’, др.-инд. pléhatē ‘идет, двигается’, греч. πλίσσομαι ‘шагать’ (IEW 1959: 1000);

4. *(s)teiğ^{uh}- ‘терпеливо дожидаться’: гот. stiwiti ‘терпение’, лтш. stigt ‘вязнуть’, др.-инд. títikṣatē ‘выдерживает, терпит’, др.-инд. titikṣá ‘терпение’ (IEW 1959: 1018).

В первых двух корнях придыхательный смычный является расширителем, на что указывает сам Покорный, поэтому они не противоречат нашей гипотезе. В третьем случае сомнительна кельтская форма со странной морфологией и семантикой (‘бедро’ < ‘идушее’?). Четвертая этимология ошибочна, поскольку др.-инд. títikṣatē следует считать дезидеративным образованием от téjate ‘быть острым’ или от tyájati ‘оставлять,

пренебрегать' (KEWA (I) 1956: 500), а гот. *stiwiti* стоит отделять от лтш. *stigt* (Lehmann 1986: 326).

В «Словаре индоевропейского глагола» предлагается еще три сближения:

1. **(s)preng^h*- 'прыгать': др.-англ. *springan* 'прыгать', ст.-слав. *prǫžiti* 'напрягать' (LIV 2001: 583);

2. **(s)teg^h*- 'украшать': др.-греч. *στεφω* 'увенчивать, украшать', ир. **tāga-* 'венки, корона, диадема' (совр. перс. *tāj* 'корона') (LIV 2001: 589);

3. **(s)terg^h*- '(раз)бить': хет. *ištar(ak)zi* 'причиняет боль', вед. *tṛṇédhu* 'должен раздробить', *tatarha* 'раздробил' (LIV 2001: 598).

Первый корень не должен реконструироваться с *s-mobile*, потому что Р. Траутманн установил (в том числе и на примере слав. *prǫžiti*), что и.-е. *spr-* > слав. *pr-* (Trautmann 1922: 66-68). Греческое *στεφω* может сближаться с др.-инд. *stabhnāti* 'заделывать, задерживать' (Frisk 1970: 794-795). Хеттское слово *ištar(ak)zi* А. Клюкхорст относит к лат. *stercus* 'навоз' (Kloekhorst 2008: 418).

Итак, существование индоевропейских корней вида **(s)Te(R)D^h*- не может быть доказано, и наше предположение не противоречит данным. В таком случае закон Зибса можно переформулировать следующим образом:

Если индоевропейский корень начинался сочетанием начального *s-* и глухого смычного, а второй смычный корня был звонким придыхательным, первый смычный ассимилировался вторым при отпадении этимологического корневого *s-*.

Литература

Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси, 1984

Герценберг Л. Г. Краткое введение в индоевропеистику. СПб., 2010

Иллич-Свитыч В. М. Один из источников начального *x-* в праславянском (Поправка к «закону Зибса») // Вопросы языкознания, 1961. №4

Макаев Э. А. Структура слова в индоевропейских и германских языках. М., 1970

Орел В. Двадцатилетие «Этимологического словаря славянских языков» (вып. 1–21, 1974–1994) // *Этимология* 1994–1996. М.: Наука, 1997

ЭСИЯ (1) 2001 – *Этимологический словарь иранских языков*. Т. 1. М., 2000

Bartholomae Chr. *Altiranisches Wörterbuch*. Strassburg, 1904

Beekes R. S. P. *Etymological Dictionary of Greek*. Boston-Leiden, 2009

Boisacq É. *Dictionnaire étymologique de la langue grecque*. Heidelberg-Paris, 1916

Bolling G. M. The etymology of ΣΘΕΝΟΣ // *The American Journal of Philology*. Vol. 21, No. 3, 1900

Frisk H. *Griechisches Etymologisches Wörterbuch*. Bd. 1–2. Heidelberg, 1960, 1970

Hiersche R. *Untersuchungen zur Frage der Tenues Aspiratae im Indogermanischen*. Wiesbaden, 1964

IEW 1959 – *Indogermanisches etymologisches Wörterbuch*. Bde. 1–3. Bern-München, 1959

KEWA (I) 1956 – Mayrhofer M. *Kurzgefaßtes Etymologisches Wörterbuch des Altindischen*. 4 Bde. Bd. I. Heidelberg, 1956

Kloekhorst A. *Etymological dictionary of the Hittite inherited lexicon*. Leiden-Boston, 2008

Lehmann W. P. *A Gothic etymological dictionary*. Leiden, 1986

LIV 2001 – Rix H. et al. *Lexicon der Indogermanischen Verben*. Wiesbaden, 2001

Meillet A. À propos de avestique zrazdā // *MSL* 18. 1912

Petersen W. The evidence for schwa secundum in Latin and Greek // *Language*. Vol. 14, No. 1, 1938

Rix H. *Historische Grammatik des Griechischen*. Laut- und Formenlehre. Darmstadt, 1976

Schindler J. Das idg. Wort für «Erde» und die dentalen Spiranten // *Die Sprache* 13. 1967

Schmidt V. Griechisch οἶνον // *Die Sprache* 22. 1976

Schwyzer E. *Griechische grammatik*. Allgemeiner Teil. Lautbildung. Wortlehre. Flexion. Bd. 1. München, 1939

Siebs T. Anlautstudien // KZ. 37. 1901

Trautmann R. Über die Behandlung der Anlautsgruppe spr- im
Urslavischen // KZ. 50. 1922

PANNONO-ILLYRICA

А. И. ФАЛИЛЕЕВ

Более десяти лет тому назад П. Анрайтер комплексно проанализировал паннонскую топонимику и пришел к выводу, что паннонский язык имеет тесные родственные связи с т.н. “восточно-альпийским” (индоевропейским) языком, известным также только по ономастике (Anreiter 2001). Он также высказал предположение о том, что паннонский следует генетически рассматривать вместе с другими языками, распространенными в древности на территории западных и центральных Балкан (Либурния, Далмация, Мёзия и т.д.). Это положение вызвало ожидаемую критику Б. Адамика (Adamik 2003: 263-4). Впрочем, претензии, высказанные Адамиком с позиции индоевропеиста, не могут вызвать сочувствия, и вряд ли на сегодняшний день можно с какой-либо долей уверенности говорить о рефлексах и.-е. слоговых сонантов в либурнском или иллирийском. Претензии рецензента сугубо ономастического порядка более уместны, и ссылки на работы по поводу “далмато-паннонского антропонимического комплекса” (Р. Катичич и др.), естественно, знакомые Анрайтеру, заставляют взглянуть на топонимический материал Паннонии и с этой точки зрения.

Следует сразу отметить, что ни один из рассмотренных Анрейтером топонимов не известен за пределами рассматриваемого им ареала. Сопоставления на корневом уровне также затруднительны, тем более что, как давно показали исследователи, таких топонимов в Иллирии (в широком смысле этого термина) крайне мало в принципе. Конечно, *Ulcissia* в Паннонии напоминает ороним *Ulcirus* в Далмации, и оба, кстати, традиционно рассматриваются как производные от и.-е. названия волка. К этому же и.-е. слову возводили и уже находящийся за пределами далмато-паннонской территории топоним *Ulcinium* (Улцинь

на юге совр. Монтенегро), однако при этом следует помнить о том, что согласно Плинию (HN III, 144), который, как и Тит Ливий (43, 26), фиксирует его как *Olcinium*, раннее название населенного пункта - *Colchinium*. Сходно выглядящий и обычно здесь рассматриваемый антропоним *Ulcidius* обнаружен единожды в надписи из Дакии. Имя отца его носителя (*Baedarus*) также является гапаксом, и *Ulcidius* традиционно рассматриваются как в широком смысле “иллирийский” (см. Falileyev 2007: 50-51 и 155-156), без привязки к известным антропонимическим комплексам. Вторая часть топонима *Scara(a)bantia* в Паннонии сопоставлялась с географическими названиями *Bantia* (вблизи совр. Орхидского озера) и *Arri-bantion* в Дардании, которые не принадлежат далмато-паннонскому региону. Однако то, что топоним из Паннонии предельно сложен и может быть теоретически кельтским (Falileyev, в печати), и существование Бантии в Лукании, которое, впрочем, можно посчитать случайным совпадением, делают эти выводы ареального порядка ненадежными.

Анрайтер выделяет несколько суффиксов, которые мы обнаруживаем и в географических названиях северных и центральных Балкан и Подунавья. Примечательно, что эти параллели мы находим не только в Далмации, но и в Южной Иллирии, где локализируются собственно иллирийцы (*Illyrii proprie dicti*) – носители иллирийского языка (ср. недавно Eichner 2004) – и соответствующий антропонимический комплекс. Впрочем, к примеру, суффикс *-nt-* встречается не только в топонимах всех регионов этой обширной территории, но и в “восточноальпийском”, однако ценность этого наблюдения для установления места паннонского в кругу территориально близких ему языков или диалектов несущественна на более широком индоевропейском фоне. Понятно, впрочем, что территории топонимических и антропонимических комплексов в принципе могут и не совпадать, и крайне ограниченное количество собственно паннонских данных не позволяет, увы, делать каких-либо выводов.

В этой связи хотелось бы уделить внимание топониму, не рассмотренному Анрайтером. Находящееся на периферии Паннонии *Gerulata* (совр. Русовце в Словакии) имеет точную параллель в географическом названии из Верхней Мёзии (с. Мироч

в Сербии). Эти два населенных пункта находятся на территории различных римских провинций, однако, как представляется, их возможно рассматривать в рамках единого топонимического пространства. В этом отношении следует обратить внимание на тот факт, что Герулате в Мёзии соседствует населенный пункт *Taliata* (совр. Доњи Милановац). Хотя оба топонима локализируются на территории скордисков, кельтская их этимология хотя и возможна, но совсем не обязательна (см. Falileyev 2013: 72 и 133-4, Falileyev, в печати), что касается и античного названия населенного пункта в Словакии. Как представляется, эти географические названия целесообразно рассматривать как докельтские вместе с другими топонимами на *-Vta*. Значительное количество из них также находится на территории скордисков (*Egeta, Malata, Lederata, Setlota*: Falileyev 2013, s. vv.), и часть этих топонимов также допускает кельтскую интерпретацию, однако подобная модель для кельтской топонимики за пределами Балкан неизвестна, и другая часть из них кельтскими быть не может. Более того, географические названия на *-Vta* известны на территориях, где кельтское присутствие не известно (напр. *Gurbita / Cubita* в совр. Македонии). Важно, что их распределение на Балканах не совпадает с установленными границами известных антропонимических комплексов.

При морфологическом анализе топонимов фрагментарно засвидетельствованных языков существует резонное опасение принять за общий суффикс гетерогенные образования, что было изящно продемонстрировано Ю. В. Откупщиковым (1988: 95) на примере *Дубл-ин, Пек-ин, Салам-ин, Пушк-ин и Берл-ин*. Понятно, что это напрямую относится и к топонимам на *-Vta*, которые распространены на всех территориях, ассоциируемых с “иллирийцами” в широком смысле этого пара-термина. Однако в том, что модель распространена на Балканах, сомневаться не приходится, и, главное, в нашем распоряжении оказываются два идентичных топонима. Обе *Gerulatae* связаны в первую очередь с римским присутствием, и, несомненно, можно предположить и возможность перенесения географического названия вместе с римлянами. Если это все-таки не так, то неизбежен вопрос: является ли *Gerulata* из Паннонии собственно паннонским

топонимом, или в связи с наличием полного совпадения в Мёзии становится необходимым использовать иные принципы систематики. На эти вопросы, как представляется, дать ответ невозможно, тем более, что автохтонный антропонимический материал из паннонской Герулаты, в котором мы находим, между прочим, и имена выходцев из современного Трира (CIL III, 4391), существенно ограничен. Следует, однако, отметить одну из надписей (Hošek 1984: 73-76), в которой содержатся имена *Bersolus* и *Brincas*, и эти гапаксы находят соответствия только в Далмации (*Planus Verzu[l]us*, Ридер, ILJug 172) и Паннонии (*C(aius) Atilius Brincaius*, дважды в Ecség, что к востоку от совр. Будапешта).

Гипотеза о существовании далмато-паннонского антропонимического комплекса находит известную параллель в часто цитируемом фрагменте из Св. Иеронима, в котором сообщается о том, что варвары Паннонии и Далмации называют пиво словом *sabaia*. Известно, что этот Учитель Церкви был уроженцем Далмации, хотя, как полагают, местных языков он не знал. Производное *Sabaiarius* засвидетельствовано Аммианом Марцеллином как оскорбление императора Валента, родившегося в Паннонии. Впрочем, Приск сообщает о напитке из ячменя с названием *camum* у паннонцев (см. подробно Dzino 2005). При отсутствии каких либо памятников кроме ономастических (Adamik 2001: 264 также видит собственно паннонское заимствование в лат. *spelta*) и имея дело с “культурными словами”, свидетельство Св. Иеронима явно не может играть ту роль, которую ему отводят многие исследователи (ср. Colombo 2010: 201). Более раннее сообщение Тацита (Germ. 43) о *lingua Pannonica* (о чем см. основополагающую работу Mócsy 1967) относится напрямую только к осам, и, опосредованно, к эравискам, и не имеет никакого отношения к обитателям Далмации. Следует в скобках заметить, что история и даже точная локализация осов остаются загадками (см. удачный обзор проблематики в RGA 22 (2003), 311- 314), как и предыстория эрависков, о привнесенном кельтском компоненте см. Jerem 2007. Этимология же Паннонии, о которой сообщает Дион Кассий (49.36.5), не может вызвать сочувствия, однако отрицаемую в этом фрагменте идентификацию паннонцев

с восточнобалканскими пеонами следует отметить (об этом см. Grassl 1990).

Понятно, что термины “Паннония” и “паннонский” применялись в античности к разным объектам, см. в этой связи обширную работу Dzino, Domić-Kunić 2012, направленную на установление их меняющихся содержаний и анализ различных дискурсов. Также понятно, что их наличие в латинских надписях (*natione Pannonius vel sim.*) не имеет этнического / языкового содержания. В этом отношении хотелось бы вернуться к одной надписи III века из Сульмоны (Италия), которую обычно привлекают при обсуждении проблемы “паннонской идентификации”. Действительно, некий Murganus называет в ней себя не только выходцем из Паннонии, но и варваром, однако для наших рассуждений важно то, что он жалуется на свой “плохой” латинский язык. При этом следует обратить внимание, что его имя, скорее всего, является латинским, а его супруга, с которой он прижил шесть оплакиваемых детей, является местной (о надписи см. важнейшее исследование Linderski 2007: 374-5 с библиографией). Идентификация родного языка Муррануса в рамках дихотомии паннонский / далматско-паннонский по понятным причинам остается, к сожалению, невозможной.

Попытки отказать паннонской / далматско-паннонской общности в принципе в праве на существование также известны, и даже в римское время (см. Milin 2003). Хронологический фактор играет в этой дискуссии важнейшую роль в связи с различным наполнением термина паннонский и т. д. (Dzino, Domić-Kunić 2012), а динамика передвижения населения и личных имен в регионе во времена римского владычества (ср. в связи с этим вопрос об “иллирийцах” в Дакии, рассматриваемый Милин, в связи с чем важны более поздние работы Р. Ардевана и И. Пизо по этой проблематике) должна всецело учитываться. Впрочем, М. Милин использует и аргумент мифологического плана, ссылаясь на известный пассаж Аппиана (III в. н. э.) об Иллирии предке Паннонии, и полагает, что он свидетельствует о соответствующих таксономических отношениях. Однако этот же фрагмент сообщает нам о двух братьях Иллирия – Кельте и Гале, правящих

соответственно кельтами и галатами, что при этом подходе позволяет говорить о несуществующей “кельто-иллирийской” общности и пугать кельтологов такой версией соотношения двух понятий, и, как известно, “братство народов” не предполагает автоматически их лингвистической или этнической общности. Великолепное исследование этого пассажа в работе Šašel Kos 2004: 501-504 снимает необходимость дословного следования тексту Аппиана.

Итак, “паннонский язык” Тацита и Анрайтиера не сопоставимы. Паннонская антропонимика является общей для Паннонии и Далмации, а топонимика региона имеет косвенные параллели по всей территории западных и центральных Балкан и Подунавья, причем часть из них явно случайны. Связанных текстов на паннонском (как и на далматском) нет, а косвенные свидетельства о лексике этого языка проблематичны. Археологическое выделение до-римской “Паннонии” невозможно (Dzino, Domić-Kunić 2012: 96-7), и хотя этот аргумент нельзя считать весомым, совокупность всех данных вновь заставляет вернуться к вопросу не только о реальности существования *lingua Pannonica*, но и о т.н. “иллирийском языке” в широком смысле этого термина. В этой связи можно напомнить о том, что исследователи XX века (А. Мочи, Р. Катичич и др.) с неизменным скепсисом высказывали свои мнения по поводу статуса паннонского в кругу т. н. “иллирийских” языков / диалектов. Однако с точки зрения М. Коломбо, паннонский – это диалект “иллирийского” (Colombo 2010: 202), а В. Майд говорит о “паннонском языке / диалекте северобалканского-далматийского языкового ландшафта” (Meid 2005: 11 и 25). Впрочем, австрийский индоевропеист не рассматривает этот вопрос в каких-либо деталях, тем более что его работа посвящена все-таки кельтской проблематике, а итальянский исследователь уделяет, как кажется, излишнее в этом случае внимание кельтскому влиянию.

Этот вопрос, впрочем, можно поставить и по-другому: есть ли в действительности необходимость использовать термин “иллирийский” как общее название ономастических языков обширного региона, тем более, что собственно иллирийский, по выражению Х. Айхнера (Eichner 2004), остается “неизвестным языком”?

Вопрос, впрочем, неоднократно задавался, и я планирую вернуться к нему вновь в ближайшем будущем с учетом теории Анрайтера о включении в этот континуум и “восточноальпийского” индоевропейского языка, в этой связи ср. также дискуссии экстралингвистического порядка об особой норико-паннонской кухне и одежде в рамках поиска идентификации этой группы населения (Dzino, Domić-Kunić 2012: 105). Континуум Анрайтера напоминает “древнеевропейские” построения (ср. Meid 2005: 12), и претензии, обычно предъявляемые к последним, а priori уместны и для этой теории. Говоря же о собственно “далмато-паннонском антропонимическом комплексе”, уместно вспомнить о работах Д. Дана (напр. Dana 2011) по фракийской антропонимике. Исследователь выделяет четыре ономастические провинции – фракийскую, дако-мизийскую, западно-фракийскую и вифинскую, и не вдается в вопросы собственно лингвистической систематики. Сходный подход был использован названными выше исследователями и при изучении антропонимических комплексов рассматриваемых территорий. При этом следует, однако, отметить две особенности этого антропонимического материала. Во-первых, для рассматриваемых ареалов не существует собственных имен, зафиксированных во всех антропонимических комплексах (с минимальными исключениями, напр. *Bato*). Во-вторых, нередко случаи, когда антропонимы невозможно причислить ни к одному из них, что весьма часто в случае гапаксов, зафиксированных, к примеру, в Дакии (ср. Falileyev 2007: 39-41). Важно здесь не забывать и о том, что исследователи неоднократно указывали на следующий факт: “иллирийские” личные имена не всегда четко распределяются по выделенным антропонимическим комплексам, что вновь теоретически допускает обобщения более высокого уровня, и, естественно, общим знаменателем вновь становится достаточно неудобный термин “иллирийский”. Понятно, что ограниченный корпус личных имен играет в этом значительную роль, однако эти проблемы, как представляется, нельзя игнорировать.

Литература

- Откупщиков, Ю. В. Догреческий субстрат. Ленинград 1988.
- Adamik, B. Рец. Anreiter 2001 // *Acta Antiqua Hungarica* 2003. V. 43. P. 262-268.
- Anreiter, P. Die vorrömischen Namen Pannoniens. Budapest 2001.
- Colombo, M. Pannonica // *Acta Antiqua Hungarica* 2010. T. 50. P. 171-202.
- Dana, D. Onomasticon Thracicum (Onom Thrac). Répertoire des noms indigènes de Thrace, Macédoine Orientale, Mésies, Dacie et Bithynie // *Ancient Civilizations from Scythia to Siberia* 2011. V. 17. P. 25-45.
- Dzino, D. Sabaiarius: Beer, wine and Ammianus Marcellinus // *Feast, Fast and Famine*. Brisbane 2005. P. 58-68.
- Dzino, D., Domić-Kunić, A. Pannonians: Identity-perceptions from the late Iron Age to later antiquity // *Archaeology of Roman Southern Pannonia*. Oxford 2012. P. 93-115.
- Eichner, H. Illyrisch – die unbekannte Sprache // *Die Illyrer. Archäologische Funde des 1. Vorchristlichen Jahrtausends aus Albanien*. Asparn / Zaya 2004. S. 92-117.
- Falileyev, A. Celtic Dacia. Personal names, place-names and ethnic names of Celtic origin in Dacia and Scythia Minor. Aberystwyth 2007.
- Falileyev, A. The Celtic Balkans. Aberystwyth 2013.
- Falileyev, A. In Search of the Eastern Celts. Studies in geographical names, their distribution and morphology. (в печати).
- Grassl, H. Pannonii – Pannonioi – Paiones: Zur Frage der Identifikation antiker Völkernamen // *Akten des 14. Internationalen Limeskongresses*. Vienna 1990. S. 539-544.
- Hošek, R. Tituli latini Pannoniae Superioris annis 1967-1982 in Slovacia reperti. Praha 1984.
- Jerem, E. Applying interdisciplinarity in research on Celtic religion: the case of the Eravisci // *Continuity and innovation in religion in the Roman West*. Portsmouth 2007. P. 117-134.
- Linderski, J. Roman questions II (= Habes 44). Stuttgart 2007.
- Meid, W. Keltische Personennamen in Pannonien. Budapest 2005.

Milin, M. Pitanje ilirske komponente stanovništva jugoistočnog dela Donje Panonije u savremenim istraživanjima // *Balcanica* 2003. V. 32-33. S. 49-60.

Mócsy, A. Die Lingua Pannonica // Symposium o Iliruma u antičko doba. Sarajevo 1967. P. 195-200.

Šašel Kos, M. Mythological stories concerning Illyria and its name // *L'Illyrie méridionale et l'Épire dans l'Antiquité IV*. Paris 2004. P. 493-504.

ФУНКЦИИ НАРЕЧИЙ ВРЕМЕНИ В САНСКРИТЕ И ДРЕВНЕИРЛАНДСКОМ ЯЗЫКЕ

К. В. ХАРИТОНОВА

Лексико-грамматический разряд наречий сложился в индоевропейских языках поздно. Достаточно пёстрый по своему составу, он генетически связан с существительными, прилагательными, местоимениями, предлогами и частицами. Изучению наречий в индоевропейских языках посвящено немало трудов российских и зарубежных лингвистов, при этом возникает большое количество спорных вопросов. Многие исследователи говорят о размытости границ категории наречия. Так, О. Есперсен объединяет наречия, предлоги, союзы и междометия в один разряд – «частицы», поскольку «с точки зрения формы все они неизменяемы» (Есперсен 2006: 98-99). Это можно признать верным для современного английского языка, где нет склонения имён и падежное управление выражается только с помощью предлогов. Есперсен считает способность некоторых наречий образовывать сравнительную и превосходную степень недостаточной для выделения этой группы слов в отдельную часть речи.

Однако наречие можно признать знаменательной частью речи, поскольку оно имеет общеграмматическое значение «признак признака», может характеризовать предикат в предложении, способно сочетаться с другими знаменательными словами по способу примыкания. Разработаны некоторые формальные критерии, позволяющие отличать наречия от устойчивых сочетаний *существительное + предлог* (Панков 2005).

- (1) Лексико-семантический. При переходе в разряд наречий словоформа частично теряет свойственные ей изначально смыслы / приобретает новые.

- (2) Морфологический. Словоформа изолируется от парадигмы словоизменения. Утрата падежных форм, числовой противопоставленности, перенос ударения.
- (3) Синтаксический. Разрушаются синтагматические связи.
- (4) Словообразовательный. Изменяются словообразовательные возможности слова.

Указанные Панковым отличительные черты наречий и способы разграничения сочетаний *существительное + предлог* и наречий представляются универсальными и могут быть использованы при описании класса наречий в любом индоевропейском языке.

Сомнение в правомерности сравнения санскрита и древнеирландского языка может появиться по двум причинам:

- (1) языки не являются близкородственными;
- (2) временной промежуток между созданием санскритских и древнеирландских текстов довольно велик.

Вместе с тем исследования, основанные на сравнении кельтского материала с индоиранским, предпринимались ранее. М. Диллон и В.П. Калыгин доказали, что в языках, распространённых на крайних точках индоевропейского ареала, могут сохраняться архаизмы, исчезнувшие в остальной части ареала. Э. Хамп рассмотрел типы пространственной ориентации в индийской и ирландской культуре и обнаружил множество соответствий. Представляется вероятным, что сравнение словообразования, этимологии и функций наречий в санскрите и древнеирландском языке может быть полезно как для сравнительно-исторической реконструкции, так и для построения прогнозов о дальнейшем развитии этой части речи. Важно опираться не на абсолютную датировку текстов, а на относительную датировку, учитывая степень консервативности культур, а также намеренную архаизацию, допускаемую создателями и переписчиками ирландских текстов.

В зависимости от своей семантики и происхождения наречия могут обозначать положение предмета в пространстве, направление движения, время, способ действия и пр. Представляется важным подробно рассмотреть наречия со значением времени, чтобы выяснить, какие функции они способны выполнять в текстах.

1. Основная функция — указание на время действия: *сегодня* (санскр. *adya*, др.-ирл. *indiu*).

2. Наречия времени могут указывать на продолжительность протекания события: *долго* (санскр. *dīrgham*, др.-ирл. *co cien*).

3. Последовательность событий: *вначале* (санскр. *ādau*, др.-ирл. *in chétu*).

4. Особую группу составляют временные маркеры, как правило, безударные. На их наличие в древнеирландском языке внимание обратила Т. А. Михайлова (Михайлова 2010). Они представляют собой своего рода вводные слова, направленные к адресату текста. Это слова со значением ‘потом’, ‘далее’ (др.-ирл. *íarum*), ‘едва’ (скр. *eva*).

Слова-коммуникаторы, как правило, привлекают внимание собеседника, облегчают запоминание и воспроизведение, а в стихотворных текстах помогают соблюдать размер и ритм. Они представляются довольно ранним, возможно, праиндоевропейским явлением, т.к. вышеуказанные функции важны при устной передаче обширного материала. Необходимо выяснить, являются ли эти слова дискурсивными маркерами в чистом виде или их можно отнести к разряду наречий, поскольку они не потеряли своего лексического значения и, как правило, учитываются при переводе.

Литература

Есперсен О. Философия грамматики. Перевод с английского В.В. Пассека и С.П. Сафроновой. М., 2006.

Михайлова Т.А. Древнеирландский язык (краткий очерк). М., 2010.

Панков Ф.И. К проблеме создания реестра русских наречий. Статья 2: Фрагмент на букву «Б». // Язык, сознание, коммуникация. Выпуск 31. М., 2005, С. 64-94.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИСЕМИЯ В ДРЕВНЕАРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ (ОПЫТ ДИАХРОНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)

Л. М. ХАЧАТРЯН

В диахроническом срезе языка содержательная сторона языкового знака претерпевает различные изменения. Подобные изменения в содержательном плане слов могут повлиять на их частеречную значимость, иногда приводя к семантико-значимым сдвигам (полным или частичным).

В процессе семантико-значимых изменений новое морфологическое значение существует наряду с первичным как производное; функцией, которую данное значение выполняет в диахроническом срезе языка, оно может приравняться к основному значению или даже стать доминирующим частеречным значением, постепенно вытесняя первичное значение, которое становится пассивным.

Расщепление частеречного значения может привести к морфологической полисемии, явлению, при котором в плане выражения формы не различаются, а в плане содержания налицо оппозиция разных единиц¹.

Прямым следствием расширения значения слова является полисемия, которая синкретически выражается в одной словоформе.

¹ Еще Дионисий Фракийский и его армянские толкователи отмечали, что некоторые слова совмещают несколько частеречных значений, например, *լիւլ* (по), *զկիլ* (после), *յիւլ* (вместе) (наречие и предлог), *լիւլի* (про), *լիւլիս* (за) (союз и предлог), *ոչ* (не) (наречие и союз), хотя в древнеармянском языке большая часть синонимов данных слов отличается формообразованием (Н. Адонц. Дионисий Фракийский и армянские толкователи. Петроград, 1915, стр. 30-37, 275).

В диахроническом срезе языка, однако, расщепленные значения лексемы своими дифференциальными лексико-грамматическими признаками могут получить грамматическое (морфологическое) выражение – частеречные значения. Фактически одна и та же лексема по своей семантической структуре многозначна, по своему частеречному значению – полисемична. Подобные единицы известны как слова с морфологической полисемией, а грамматическое явление – морфологическая полисемия.

Слова с морфологической полисемией – однородные структуры, причиной возникновения которых является изменение значения. Влияние изменения значения на частеречную значимость слов зависит от грамматического строя данного языка.

Слова с морфологической полисемией выступают с более чем одним морфологическим значением по той причине, что слова в армянском языке в основном не имеют специально оформленного для различных частеречных значений, следовательно они на синтаксическом уровне выполняют различную функцию без формообразующих морфем. Подобные слова, как словарные единицы, вне контекста совмещают различные частеречные значения, однако их расщепленные лексико-грамматические и частеречные значения четко выражаются в отдельном контексте: разграничение значения происходит в определенном синтаксическом употреблении, иначе говоря, дистрибуция морфологического значения происходит на синтаксическом уровне, поскольку другие смыслоразличительные факторы в данном случае нейтрализуются.

Слова с морфологической полисемией в армянском языке можно объединить в группы, исходя из частотности употребления морфологических значений данной лексемы.

Соответственно получаем морфологически двух-, трех- и четырехвалентные слова².

²Грамматики древнеармянского языка называли подобные слова “средними” и обращались главным образом к двухвалентным словам, объясняя их функционирование семантическим фактором (см.: Г. Аветикян. Грамматика армянская. Венеция, 1815, стр. 194, 228, 535; А. Багратуни. Армянская грамматика

Слова с морфологической полисемией в древнеармянском языке можно исследовать в двух аспектах — синхроническом и диахроническом.

В синхроническом плане можно выделить тот пласт слов с морфологической полисемией, который сформировался в дописьменный период развития армянского языка и был унаследован древнеармянским. Остановившись в частности на трехвалентных словах, отметим, что в языке существует большое количество слов, которые уже проявляют морфологическую полисемию. Данные слова проявляют полисемию в начальной форме, без формообразующих морфем и в статичной форме существуют в словарном составе древнеармянского языка с расщепленными значениями и частеречной значимостью.

Так, например, слово “*դիւր*” в V веке встречается с тремя частеречными значениями – прил.// нареч.// сущ. Ср., 1. “легкий, простой; спокойный; приятный” (прил.). *Բանիւք դիւր է առաքինեաց (ՆՀԲ)* - “будут приятными” (прил.). 2. “легко, просто” (нареч.). *Ոչ ըմբռնիցիս դիւր յայնպիսի ախտ (ՆՀԲ)* - “легко не постичь” (нареч.). 3. “покой, спокойствие, равнина” (сущ.). *Երգեսցէ քնարաւ, և դիւր լիցի քեզ (ԱԺ., Ա Թադ. ԺԶ 16)* - “будет спокойствие” (сущ.).

Морфологическая полисемия слова “*դիւր*” в древнеармянском языке является синхроническим фактом.

При диахроническом подходе, принимая за основу словарный состав Библии и письменных памятников классического армянского языка, прослеживая дальнейшие семантико-значимые изменения, которым они подверглись, можно выде-

для нужд образованных. Венеция, 1852, стр. 37-38, 223-224, 580; М. Чамчян. Грамматика гайканского языка. Шуша, 1859, стр. 165-166, 288-289).

В редких случаях упоминаются слова, совмещающие три частеречных значения (см.: Г. Аветикян. указ.соч., стр.129; Мхитар Себастиаци (Севастийский). Грамматика древнеармянского языка Гайканского рода. Венеция, 1730, стр. 366).

лить другой пласт слов с морфологической полисемией, который хронологически сформировался в древнеармянский период развития языка (V-XII вв.)³.

В древнеармянском языке морфологически трехвалентные слова образовались путем семантико-значимых сдвигов по схеме: одновалентность > двухвалентность > трехвалентность и двухвалентность > трехвалентность.

Только исследуя путь изменения значения подобных слов, можно выяснить, когда именно произошло расщепление семантического поля слова или расширение объема морфологической полисемии – данное обстоятельство усложняет описание семантико-значимых изменений в дописьменный период развития армянского языка.

Изменение значения и частеречной принадлежности слова в один и тот же период или в разные этапы развития языка всегда носит диахронический характер: значение и частеречная значимость слова расщепляются не сразу и слова не сразу избавляются от расщепленного значения (значений).

В данном случае нас интересуют те трехвалентные слова, семантико-значимые изменения которых происходили в древнеармянском языке.

Данные слова в исходной форме в V веке встречались с частеречными значениями прилагательное | существительное и прилагательное | наречие.

Морфологически трехвалентные слова, образованные в древнеармянском языке, можно исследовать, исходя из начальной функции морфологических значений.

³Вообще задача исторических словарей – объяснить значение слов и те семантико-значимые изменения, которым подверглись слова на данном этапе развития языка или в последующие периоды. Исходя из того, что в армянской действительности таких словарей нет, попытаемся дать научное описание диахронического процесса образования морфологически трехвалентных слов в основном по данным НГС (хотя вполне возможно, что в НГС не учтены некоторые примеры из оригинальных текстов, выявление которых может внести изменения в хронологию семантико-значимых сдвигов данных слов – для устранения возможных пробелов в некоторых случаях будут приводиться примеры из других источников).

А. Семантико-значимые сдвиги существительное || прилагательное > наречие.

В ходе исторического развития языка у морфологически двухвалентных слов сущ. || прил. может развиваться новое значение. Так, например, в постклассический и последующие периоды древнеармянского языка произошло расширение объема полисемии лексемы по схеме двухвалентность > трехвалентность: в рамках частеречной полисемии сущ./прил. сформировались адвербиальное значение и значимость.

Первоначальное значение и значимость подобных слов возможно выяснить, обратившись к их этимологии. При таком подходе можно выделить две группы трехвалентных слов, принимая за основу первоначальное частеречное значение и значимость данного слова:

- (1) Трехвалентные слова, которые имели первоначальное субстантивное значение.

В процессе семантико-значимых изменений название предмета может приобрести также значение признака предмета, на синтаксическом уровне выполняя роль определения, а на морфологическом - проявляя частеречную полисемию.

Обратимся к исследованию слов, совмещающих значения сущ./прил., которые в древнеармянском языке расширили объем морфологической полисемии, включая также частеречное значение наречия.

Это слова *դաշն*, *խրոխտ*, *ողորմ*, *զուգամասն*, *չափազանց* и др.

Историческое исследование значения и частеречной значимости слов показывает, что данные слова на одной стадии развития языка в семантико-значимом поле проявляют морфологическую двух- /трехвалентность.

Сравним: *դաշն* – 1. “союз, обет, клятва” (сущ.). *Ատուկթիւն ինչ մտցէ ի դաշինս (ԱԾ., Բ. Մակ. ԺԴ 28)* – “вступить в союз” (сущ.). 2. “регулярный, умеренный, гармоничный, дружный, согласный” (прил.). *Եղիցի դաշն ընդ միմեանս (ԱԾ., Բ. Ծնն. ԻԶ 28)* – “быть дружным” (прил.).

В постклассический период развития армянского языка, например, в сборнике “Житие святых отцов” это слово уже встречается с адвербиальным значением “мягко, нежно, тихо, мирно”. *Նուազ խօսել և դաչն նայել* – “нежно смотреть” (нареч.).

- (2) Трехвалентные слова, которые первоначально имели значение прилагательного. Мы выделяем данный путь перехода, исходя из соотносительного анализа словарного состава и частеречных значений древнеармянского языка. Рассмотрим слова *անբաւ*, *ալազոյն*, *նախապատիւ*, *ամօթալի*, *անինչ*, *կրկնակ* и др.

Ալազոյն – 1. “бледный, бесцветный; различный, разноцветный” (прил.). *Եւ են նոյն ի նորին բնութենէ, որ ալազոյնք են* (Ագաթ., 330) – “разноцветные цветы” (прил.). 2. “другой цвет, многоцветность” (сущ.). *Յալազոյն չիցէ փոխեալ ի մորթն* (ԱԾ., ՂԼա. ԺԳ 6) – “многоцветность не меняется” (сущ.).

В XII веке у Нерсеса Шнорали (Благодатного) встречаем в чисто наречном значении “по-другому, по-язычески”. *Ալազոյն մեկնեն* – “уйти по-язычески” (нареч.)⁴.

В. Схема сдвига прилагательное//наречие > существительное обусловлена некоторыми морфологическими и синтаксическими связями данных частей речи. Соотношение прилагательное//наречие обусловлено общим лексическим значением – выражением общего значения признака. Прилагательное и наречие на синтаксическом уровне могут заменять друг друга, выполняя роль как определения, так и обстоятельств⁵.

⁴ В V веке слово *ալազոյն* с плеоназмами *իմն*, *ինչ* употреблялось с адвербиальным значением “по-другому, иначе” (см.: М.Саллантян. Грамматика древнеармянского языка. т.1, Москва, 1827, стр. 245).

⁵ См.: А.Багратуни. Указ.соч., стр. 223, 580.

На основе семантической и функциональной общности в дописменный период развития армянского языка многие прилагательные приобрели также частеречное значение и значимость наречия, подвергаясь частичному частеречному переходу от одновалентности в двухвалентность. Некоторые двухвалентные слова, совмещающие значение прилагательно-го//наречия, перейдя в словарный состав древнеармянского языка, в диахроническом срезе развития языка расширили рамки морфологической полисемии, функционируя как морфологически трехвалентные слова.

Это слова *անառաջնորդ, դեռ, յորդոր, անհուն, խոտորնակ, քաղցր* и др.

Приняв за основу морфологическую двухвалентность данных слов в V веке, попытаемся исследовать в диахроническом аспекте изменения, которым они подверглись в древнеармянском языке. Итак,

Անհուն – 1. “бескрайний, бездонный, безграничный; бесчисленный” (прил.). *Արդարութիւն իբրև գհեղեղ անհուն* (ՆՀԲ) – “бескрайний поток” (прил.). 2. “безмерно, беспредельно” (нареч.). *Թագաւորն Արտաշիւր անհուն սկսաւ ողողանիլ յանառակ զանկութիւնս* (Խոր., 346) – “безмерно увлекаться” (нареч.).

Затем, перейдя через адъективные значения к выражению опредмеченного понятия “глубина, пропасть”, данное слово приобрело также частеречное значение существительного. *Զիա՞րդը ընդ անհուն յայնկոյս անցանէին* (Վրք. Հց.) – “идти над пропастью” (сущ.).

Դեռ – 1. “еще, до сих пор, сейчас” (нареч.)⁶. *Զուր դեռ ունէր զամենայն երեսս երկրի* (ԱԾ., Բ. ԾՆՆ. Ը 9) – “еще распространяться” (нареч.) 2. “новый, обновленный” (прил.). *Այն ինչ դեռ տէգ մուրրաքն ի վերայ ծնունդն բուսանէր* (Փարս.) – “новые грядки земляники” (прил.).

В XII веке, в трудах Нерсеса Ламбронского, данное слово встречается уже в роли существительного со значениями “возраст, время”. *Մարմնոյդ հասակդ առողջ, մինչև է ի դեռ ծերութեան հասնալ* – “достичь преклонного возраста” (сущ.).

⁶Слово первоначально имело значение наречия.

С. Сдвиги по схеме наречие // предлог > прилагательное также обусловлены некоторыми морфологическими и синтаксическими связями данных частей речи.

Некоторые слова, совмещающие значимость наречия//предлога, перешли в древнеармянский язык из дописьменного периода и употреблялись в письменных памятниках древнеармянского языка с расщепленным лексико-грамматическим значением и значимостью. Морфологические и синтаксические связи наречия и предлога обусловлены обстоятельством, при котором возникли предлоги. Предлоги, будучи образованными от частей речи, имеющих конкретное значение, в том числе и от наречий, в семантическом и функциональном плане сохраняют связь с источником возникновения. Данные слова, примыкая к глаголу, рассматриваются в качестве наречий (“как сказал”), а как предлоги в конструкциях вместе с дополнением выступают в роли второстепенных членов предложений (“до города”) ⁷.

От адвербиальной значимости лексемы может возникнуть адъективная значимость, что обусловлено общим значением и функцией обстоятельства данных частей речи: “Непроизводные наречия, функция которых – примыкать только к личным глаголам, у наших предков в качестве прилагательных могли относиться к существительным, инфинитиву, прилагательным” ⁸.

Подобные семантико-значимые изменения претерпели слова *սոսընթեր* и *մերձ*, которые в древнеармянском языке проявляют трехвалентность, в отличие от двухвалентности, которую они проявляли в дописьменный период.

Так, например, *Մերձ* – 1. “близко, рядом; пока” (нареч.). *Եւ իմացեալ իմ զմերձ լինելն նորա ի սոսն իմ՝ փախեալ (Խոր., 34)* – “находиться рядом” (нареч.). 2. “около, при” (предл.). *Գալ Հասանէ ի Հիւսիսի ... մերձ ի սոսնն Կաղմեայ (Խոր., 34)* – “около дома” (предл.).

⁷См.: Мхитар Себастици. Указ. соч., стр. 190; В.Чалхян. Указ. соч., стр. 167.

⁸М.Саллантян. Указ.соч., стр. 244.

Затем через адвербиальное значение слово приобрело значение “близкий, ближний, предстоящий” и в VIII-IX вв. начало употребляться с частеречной значимостью прилагательно-го. *Ու յերձդ ի հեղուկ հասկանալի երազութեամբ (ՆՀԲ)* – “самый близкий (человек)”.

Как видно из диахронического исследования значений данных слов, адъективная значимость возникла в рамках тех двухвалентных слов, которые, во-первых, имеют конкретное значение (наречие) и, во-вторых, выполняют служебную роль (предлог).

Путь изменения значения данных слов характеризуется тем, что семантико-значимым изменениям подвергались в основном знаменательные слова (переход в имя или в служебные части речи), между тем служебные слова редко могут становиться знаменательными.

Обобщим:

- (1) Морфологическая полисемия - это такое грамматическое явление, при котором в плане выражения формы не различаются, а в плане содержания налицо оппозиция разных единиц.
- (2) Морфологически полисемичные (трехвалентные) слова как дописменного, так и древнеармянского периодов являются следствием диахронического процесса.
- (3) Морфологически трехвалентные слова в древнеармянском языке образовались вследствие расширения объема морфологической полисемии двухвалентных слов, перешедших в древнеармянский из дописменного периода.
- (4) Морфологически трехвалентные слова в древнеармянском языке образовались путем перехода от двухвалентности к трехвалентности по следующим схемам сдвигов: а) существительное//прилагательное > наречие,
 б) прилагательное// наречие > существительное,
 в) наречие// предлог > прилагательное.

Литература

Адонц, Н. Дионисий Фракийский и армянские толкователи. Петроград, 1915.

Аветикян, Г. Грамматика армянская. Венеция, 1815.

Ачарян, Г. Корневой словарь армянского языка. Т.2. Ереван, 1971.

Багратуни, А. Армянская грамматика для нужд образованных. Венеция, 1852.

Саллантян, М. Грамматика древнеармянского языка. т.1, Москва, 1827.

Себастиац, М. Грамматика древнеармянского языка Гайканского рода. Венеция, 1730.

Чамчян, М. Грамматика гайканского языка. Шуша, 1859.

Аббревиатуры

ՍԾ. – Библия: Ветхий и Новый Завет, Е., 1997.

Խոր. – М. Хоренский, История Армении, Тбилиси, 1913.

ՆՀԲ – Новый гайканский словарь, т.т. 1-2, Венеция, 1836-37.

Չրբ. Հգ. – Житие святых отцов (по НГС).

Փարս. – Л. Парпеци, История Армении, Тбилиси, 1904.

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА ‘ВЛАСТЬ’ В ГОТСКОМ И ДРЕВНЕИСЛАНДСКОМ ЯЗЫКАХ (НА ПРИМЕРЕ СЛОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ ‘ПРАВИТЕЛЬ’)

М. В. ФЕДЬКО

В. фон Гумбольдт писал, что одной из задач сравнительно-исторического языкознания является попытка показать, «каким различным образом человек создал язык и какую часть мира мыслей ему удалось перенести в него...» (Гумбольдт 1820/1984). В современной науке такая постановка проблемы является основной для теории номинации, которой посвящены многие труды как современных авторов (Торопцев 1970; Кубрякова 2007), так и лингвистов прошлых лет (Потебня 1862/1999; Маслов 2005). Опираясь на исследования указанных авторов в области теории номинации, мы проведем анализ ряда слов, входящих в ЛСГ ”власть” в готском и древнеисландском языках, с целью выявления представлений о власти, заложенных в основу номинации, т.е. попытаемся проследить «сохраняющийся в слове отпечаток того движения мысли, которое имело место в момент возникновения слова» (Маслов 2005: 123). Подобный анализ особенно интересен в контексте древних языков (готского и древнеисландского), поскольку на примере выбранных языков мы можем проследить становление лексико-семантической группы в разных древнегерманских языках.

Рассмотрим некоторые слова со значением ‘правитель’ в указанных языках.

Готское существительное *þiudans* (‘правитель’) имеет параллели в ди. *þjóðann* (‘правитель’ поэт.) и в да. *þeōden* (‘правитель’, ‘Бог’). Образовано от слова *þiuda* (‘народ’) (и.е. *theu-t-* – ‘племя’) с помощью –e/-оно-. Суффикс *-no- имеет значение ‘глава социальной группы’. Например, лат. *domus* – ‘дом’, *dominus* –

‘хозяин’. Рассмотрим на примерах, как реализуется заложенная в слове идея правителя народа:

aifþau hvas þiudans gaggands stiggan wipra anþarana þiudan du wigan <i>na, niu gasitands faurþis þankeiþ, siaiu mahteigs miþ taihun þusundjom gamotjan þamma miþ twaim tigung þusundjo gaggandin ana sik? (‘Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами противостать идущему на него с двадцатью тысячами?’) (Лк 14:31)

iþ ist biuhti izwis ei ainana izwis fraletau in pasxa; wileidu nu ei fraletau izwis þana þiudan Iudaie? (‘Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху; хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского?’) (Ин 18:39).

Итак, данное слово обозначает исключительно земного царя и никогда не используется для обозначения Царя Небесного, т.е. реализует заложенную в него идею ‘главы небольшого объединения людей’. В готском языке данное слово являлось основным для обозначения земного правителя.

Другое готское существительное *frauja* (‘Бог’, ‘господин’) восходит к и.-е. **pro-*: скт. *pūrvyās*, авест. *paourvya-* (‘первый’, ‘тот, кто впереди’, ‘древний’), ст.сл. *prǣw* ‘первый’. Слово *frauja*, таким образом, содержит идею первенства: правитель как первый среди других. Рассматриваемое слово используется в основном как именование Бога, т.е. Царя Небесного:

jah qifands: frauja, þiunagus meins ligiþ in garda usliþa, harduba balwiþs. (‘Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает’) (Мф 8:6).

Древнеисландское существительное *konungr* (‘конунг’) чаще всего возводится к *kunī* ‘род, племя’ с патронимическим суффиксом *-*ung-* в нулевой огласовке. Таким образом, мы видим ту же внутреннюю форму, что у готского *þiudans*, то есть *konungr* содержит идею правителя как главы небольшой группы людей. Однако можно говорить о том, что в древнеисландском языке слово обозначало верховного правителя, власть которого передавалась по наследству и которому подчинялись все ярлы и хевдинги, т.е. рассматриваемое слово *konungr*, в отличие от готского *þiudans*,

утрачивает связь с идеей главенства над небольшой социальной группы.

Древнеисландское существительное *stjórnari* образовано от глагола *stjórna* (‘управлять кораблем’, ‘править’), который связан со словом *stórn* (‘руль’). Мы можем предположить, что рассматриваемое существительное связано с идеей ‘правителя как того, кто направляет вверенных ему людей’ (подобно тому, как человек правит кораблем):

Af þvílíkum hlutum grunaði þá, at nökkurr myndi vera stjórnari himintunglanna, sá er stilla myndi gang þeira at vilja sínum, ok myndi sá vera ríkr mjök ok máttigr (‘И многое в этом роде заронило в них подозрение, что есть некто, управляющий небесными светилами, соразмеряя по своей воле их пути.’ — *Младшая Эдда*, Пролог).

Мы можем говорить о том, что рассматриваемое *stjórnari* обозначает носителя власти, который направляет все, подвластное ему.

Слово *stjórnari* обозначает не земного, реального правителя, а богов, некие высшие силы, которые управляют всем на земле и на небе и которые направляют подвластные им объекты.

Таким образом, рассмотрев слова со значением ‘правитель’ в готском и древнеисландском языках, мы можем сделать ряд заключений относительно представлений, заложенных в основу номинации, и их реализации. В обоих языках можно выделить схожие идеи – идея первенства, идея главы небольшой социальной группы, однако в древнеисландском мы находим ряд специфических представлений, например, представление о правителе как о том, кто правит людьми подобно кораблю. Стоит также отметить, что в древнеисландском языке степень терминологизации обозначений правителя выше, чем в готском языке.

Анализируя ЛСГ ‘власть’ в готском и древнеисландском языках (в которую входят различные подгруппы, в том числе и подгруппа ‘правитель’), мы можем не только выявить представления, заложенные в основу номинации, но и проследить становление данной ЛСГ и изменения, происходящие в ней.

Литература

Гумбольдт, В. фон. О сравнительном изучении языков применительно к различным эпохам их развития // Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М., 1984. // http://www.classes.ru/grammar/171.Gumboldt/source/worddocuments/_47.htm.

Кубрякова, Е. С. Части речи в ономаσιологическом освещении. М., 2007.

Маслов, Ю. С. Введение в языкознание. СПб, 2005.

Потебня, А. А. Собрание трудов М., 1999.

Сравнительная грамматика германских языков в пяти томах [СГГЯ]. М., 1963, том 3.

Торопцев, И. С. Очерк русской ономаσιологии (возникновение знаменательных лексических единиц). Автореф. дис. канд. филол. наук. Л., 1970.

Старославянский словарь (по рукописям X – XI веков) под ред. Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. М., 1999.

Тексты древнеисландской литературы: <http://norse.ulver.com/>.
Lehmann, W. A Gothic Etymological Dictionary, Leiden 1986.

Pokorny, J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. 2 Bde. Bern-München, 1959 .

Snædal, Magnús. A Concordance to Biblical Gothic. By Magnús Snædal. Vol. I. Introduction, Texts. Reykjavík, 1998.

Vries, J. de. Altnordisches Etymologisches Wörterbuch, (2nd ed.) Leiden, 1963.

ПРЕДИКАТИВНЫЕ КАТЕГОРИИ ВРЕМЕНИ И НАКЛОНЕНИЯ В ГОТСКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАРКА)

М. В. ШЕРШАКОВА

Предметом настоящего исследования является готский перевод Евангелия от Марка в сравнении с греческим оригиналом и параллельным латинским текстом. Материалом для работы послужил текст Евангелия от Марка из Codex Argenteus, "Серебряного Кодекса" - списка готского перевода Четвероевангелия VI в. Метод *verbum de verbo*, положенный в основу перевода, характеризуется четким следованием языку оригинала и даже нарушениями норм языка в угоду большей точности перевода. В связи с тем, что через перевод Священного Писания варварские народы приобщались к культуре христианского мира, на сам язык перевода огромное влияние оказывали языки, с которых делался перевод Евангелия: греческий и латинский. Однако, несмотря на общий лексический и семантический параллелизм между готским и греческим текстами Библии, в некоторых случаях готский переводчик позволил себе выйти за рамки буквального следования оригиналу.

Одной из наиболее актуальных и часто исследуемых проблем германистики является глагольная система в сравнении с языками других групп индоевропейской языковой семьи. Именно в сфере глагольных категорий наиболее полно проявляются характерные черты языка, поскольку выражение предикативных категорий не терпит насилия – в противном случае искажается сам смысл переводимого текста, а это в отношении Библии недопустимо. В настоящем докладе рассматриваются предикативные категории времени и наклонения в готском языке в сравнении с греческим и латинским материалом.

При анализе материала, полученного путем сплошной выборки форм, передающих будущее время в готском языке, выявляется интересная тенденция. Все формы, которые готский переводчик употребил для передачи будущего времени в тексте оригинала, а также в латинском тексте, обусловлены не грамматически, а семантически.

Ситуацию можно проиллюстрировать следующими примерами. В первом случае наблюдается типичное соответствие готского индикатива презенса греческому и латинскому индикативу футурума:

1:2. *swe gameliþ ist in Esaïin praufetau: sai, ik insandja aggilu meinana faura þus, saei gamanweiþ wig þeinana faura þus.*

ὡς γέγραπται ἐν τῷ Ἠσαΐα τῷ προφῆτῃ, ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου:

sicut scriptum est in Esaia propheta ecce mitto angelum meum ante faciem tuam qui praeparabit viam tuam

как написано у пророков: вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою.

Этот стих посвящен Св. Предтече Иоанну, исполнению древних пророчеств о нем, то есть исполнению Божиего слова. Во всем тексте Евангелия от Марка прослеживается тенденция оформлять части текста, содержащие пророчества и рассуждения о Царстве Божием, человеческом спасении и деятельности Христа, только изъяснительным наклонением (см., например, 2:20, 4:27, 9:37, 10:15, 13:29).

Во втором же случае готский переводчик выбирает форму оптатива презенса вопреки готскому и латинскому индикативу футурума:

10:21. *ip Iesus insaihvands du imma frijoda ina jah qap du imma: ainis þus wan ist; gagg, swa filu swe habais frabugei jah gif þarbam, jah habais huzd in himinam; jah hiri laistjan mik nimands galgan.*

ὁ δὲ ἰησοῦς ἐμβλέψας αὐτῷ ἠγάπησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ, ἔν σε ὑστερεῖ: ὅπαγε ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ δὸς [τοῖς] πτωχοῖς, καὶ ἔξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι.

Iesus autem intuitus eum dilexit eum et dixit illi unum tibi deest vade quaecumque habes vende et da pauperibus et habebis thesaurum in caelo et veni sequere me

Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: одного тебе недостает: пойди, всё, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест.

Данный отрывок взят из знаменитого сюжета о возможности богатых людей войти в рай. Из контекста следует, что описываемое действие носит обусловленный характер, для отражения которого готский переводчик, очевидно, и выбирает форму оптатива, отнюдь не являющуюся необходимой в данном контексте с точки зрения грамматики.

Что касается собственно желательного наклонения, в готском языке наблюдается четкая дифференцированность глагольной системы по признаку волеизъявления, что проявляется в соответствии употребления форм различных наклонений выражаемому смыслу.

Общей закономерностью является соответствие оптативных и императивных форм в готском языке конъюнктивным и императивным формам в греческом и латинском. Любопытный пример отступления от этой закономерности содержится в следующем стихе:

6:11. *jah swa managai swe ni andnimaina izwis nih hausjaina izwis, usgaggandans jainpro ushrisjaiþ mulda þo undaro fotum izwaraim du weitwodipai im. amen, qipa izwis: sutizo ist Saudaumjam aiþþau Gaumaurjam in daga stauos þau þizai baurg jainai.*

καὶ ὅς ἄν τόπος μὴ δέξῃται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσωσιν ὑμῶν, ἐκπορεύομενοι ἐκεῖθεν ἐκτινάξατε τὸν χοῦν τὸν ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

et quicumque non receperint vos nec audierint vos exeuntes inde excutite pulverem de pedibus vestris in testimonium illis

И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших, во свидетельство на них.

Употребленный в данном случае оптатив со значением менее категоричного повеления, нежели в императиве, мог показаться готскому переводчику более подходящим в данном контексте, поскольку Христос дает общее руководство, как поступать при

той или иной встрече, как же себя вести в каждом конкретном случае, апостолы должны решать по мере необходимости.

Таким образом, анализ способов оформления готских предикативных категорий и их связи с семантикой переводимого текста приводит к выводу о наличии четкой закономерности, которой готский переводчик следовал в своей работе. Зачастую он позволял себе нарушать принцип пословного перевода, *verbum de verbo*, но исключительно строго придерживался второго принципа – как можно точнее отражать в переводе смысл написанного. Таким образом, восприняв идею о доминате содержания над формой, готский переводчик сумел правильно расставить акценты в тексте и продемонстрировать своеобразие родного языка.

Литература

Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета канонические в русском переводе с параллельными местами. – М., 1988.

Biblia Sacra Vulgata, Citty del Vaticano, 1969.

Streitberg, W. Die gotische Bibel. Erster Teil: Der gotische Text und seine griechische Vorlage. Mit Einleitung, Lesarten und Quellennachweisen sowie den kleineren Denkmälern als Anhang. Herausgegeben von Wilhelm Streitberg. Zweite, verbesserte Auflage. Carl Winter, Heidelberg, 1919.

Гухман, М. М. Происхождение строя готского глагола. М.-Л., 1940. (АН СССР. Труды Ин-та языка и мышления им. Н. Я. Марра, 14. Серия *Romano-Germanica*. Материалы и исследования по романск. и герм. языкам, № 4).

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

**Материалы
VIII Международной научно-практической конференции
по сравнительно-историческому языкознанию**

**Филологический факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова,
Москва, 25–27 сентября 2013 г.**

Напечатано с готового оригинал-макета

**Подписано в печать 17.09.2013 г.
Формат 60х90 1/16. Усл.печ.л. 21,25. Тираж 150 экз. Изд. № 283.**

**Издательство ООО “МАКС Пресс”
Лицензия ИД N 00510 от 01.12.99 г.**

**119992, ГСП-2, Москва, Ленинские горы,
МГУ им. М.В. Ломоносова, 2-й учебный корпус, 527 к.
Тел. 8(495)939-3890/91. Тел./Факс 8(495)939-3891.**